

ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО

История героического труда нефтяников
на полуострове сокровищ Мангышлак

Р 2005

175 143

**Ильяс
Есенберлин**
Мангыстауский фронт

Ильяс Есенберлин

Черное золото

Роман

Издательский Дом «Кочевники»

Алматы 2002

ББК 84 (5 Каз)

Е 82

Есенберлин И.

Е 82 Черное золото (Мангистаусский фронт)
Алматы: ИД «Кочевники», 2002, - 326 с.

ISBN 9965-609-01-2

ББК 84 (5 Каз)

Е 4702250201
471(05)-02

ISBN 9965-609-01-2

© Есенберлин И., 2002

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На зимовку Майкудук, откуда отец из-за болезни последнее время почти не выезжал, Халелбек добрался ранним утром — стекла кибитки, вмазанные в глину, едва засинели. Триста с лишним километров от Жетыбая до зимовки они отмахали за какие-то девять часов и по мангышлакским меркам, где у каждого шофера своя дорога, доехали довольно быстро.

Шофер Саша — рязанский парень, недавно демобилизовавшийся из армии и приехавший, как он считал, покорять полуостров сокровищ, заглушил мотор, посмотрел на спутника. Тот сидел, немного наклонившись вперед, бережно растирая ногу, и не спешил выходить.

— Приехали? — недоверчиво спросил Саша. Или дальше двинем?

— Дальше? Нет. Вот он, дом, — не сразу отозвался Халелбек, разминая левую ногу, изуродованную на фронте и всегда затекавшую, когда долго была без движения.

Саша взглянул на зимовку, лежавшую за лобовым стеклом. Несколько саманных кибиток. Выбитая овечьими копытами серая земля. В стороне белел обложенный ракушечником колодец. Тишь. Безлюдье.

“Ну и место, — думал Саша. — Даже собака не гавкнет”.

Халелбек тоже прислушался, ожидая привычного заливистого дая, но по-прежнему глухая тишина стояла вокруг. Опустел Майкудук за последние годы: молодежь разлетелась, кто куда, за нею потянулись и старики. Отцовский дом стоял на отшибе. Кибитка вросла в землю, заметно подалась: одна стена пузырем выпирала наружу, другая — запала, как стариковская щека.

“Да и ты не молодеешь”, — усмехнулся Халелбек, выбираясь из кабины. Он все ждал, что какой-нибудь пес выметнется навстречу, захлебываясь от ненависти к чужим, но все как вымерло: видно, и впрямь ни одной собаки не осталось на зимовке. Халелбек шел медленно, чтобы Саша, замешкавшийся у машины, догнал его, и совершенно отчетливо, словно это было не двадцать лет назад, а, по крайней мере, вчера, увидел летнее утро, наполненное сборами,

движением, суетой и той бесконечной тревогой, которую принесла с собой война.

Тускло желтела выгоревшая от зноя земля, а небо — гладкое, ровное, выкованное на гигантской наковальне из одного цельного голубого слитка — мягко загибалось к горизонту. Отец, мать, братишка Жалел стояли поодаль от кибитки, а он вместе с другими мобилизованными сидел в широкой, как ящик, арбе, колеса которой были выше человеческого роста. Никто из родных не приближался к несуразной повозке: толи не решались, потому что лейтенант, прибывший за джигитами, стоял рядом с арбой и, положив полевую сумку на колено, строго листал бумаги; толи какая-то невидимая черта уже отсекала новобранцев от близких. Даже Жалел, бойкий, живой непоседа, притих, цепляясь за материнское платье. Халелбек встретился с ним глазами, зацокал языком, а рукой изобразил скачущего коня, как обычно, когда они играли в перекочевку, но Жалел вдруг заревел, мать испуганно прижала его к себе, глядя по курчавым волосам. Плач резанул Халелбека, и он уже ждал только одного: быстрее бы двинуться в путь.

Но лейтенант, на которого поглядывали и джигиты, и их родные, хмуро разговаривал с председателем аулсовета, негромко задавая какие-то вопросы, от которых председатель весь взмок, а команды “Трогай!” все не давал.

Последние минуты прощания — самые тягостные. Халелбек растерянно смотрел на близких, не зная, что сказать. Из арбы высывалась его голова да еще корджун, в который мать натолкала самое вкусное, что только нашлось в доме: толстые лепешки — нан и тонкие — шорек; вяленое конское мясо, копченую баранью лопатку, сушеную дыню, хивинский изюм... Были в корджуне, конечно, масло, сухой творог — курт, баурсаки... Снеди столько, что хватило бы накормить не одного Халелбека. Мать сумела втиснуть и торсучок с чалом¹, хотя казалось, что в корджун не влезет даже иголка. Лежали в дорожном ковровом мешке чистые рубахи: одна новая и две старенькие, аккуратно зашитые матерью; три пары носков — двойной вязки, из шерсти овечьей, и одинарной

¹ Напиток из верблюжьего молока

— из шерсти молоденькой верблюдицы; были в корджуне нож, кружка, соль, ложка, на самом дне лежал треугольный мешочек на красном витом шнурке. В мешочке была заговоренная знахарем — баксы — травка и еще что-то, о чем знала только мать, наглухо зашивавшая тумар — амулет. Тумар, защищавший их род, казаховадаевцев, в бою, теперь должен был сберечь его, Халелбека, от гитлеровских танков, самолетов и пушек. Мать просила обязательно повесить тумар на грудь, и сын, чтобы не огорчать ее, пообещал. Тумар хранился в корджуне, дожидаясь своего часа, но проверить его чудесные свойства так и не удалось: пропал на формировке в Сызрани вместе с рубашками, носками и самим ковровым корджуном. И все-таки было, было что-то в той зеленой тряпице, потому что запах травки, лежавшей в корджуне, помнился Халелбеку в полях под Москвой, где остро пахло созревшей картофельной ботвой, вымокшим неубранным сеном и чисто, свежо, как арбузом, — первым зернистым снегом. Помнился и на волжском откосе в Сталинграде, где клочок сожженного берега дышал гарью, трупным смрадом и протухшей водой. И лишь в бакинском госпитале, куда его привезли без памяти, тот волнующий, милый аромат травы пропал: смерть ли,дохнувшая Халелбеку в лицо, уволокла его с собой, или просто стойкий госпитальный дух — смесь лекарств, хлорки, окровавленных бинтов, больной нечистоты, гниющей плоти и еще чего-то неведомого, нечеловеческого — перебил запах степной травки.

После госпиталя Халелбек был списан вчистую и стал пробираться к дому. Как назло, Каспий бушевал, через море шли только мощные суда, связанные регулярными рейсами с Астраханью и Красноводском, а в Форт-Шевченко оказии не было. Скоро Халелбек проел продаттестат и подкармливался у рыбаков, помогая выбирать из сетей рыбу: больше он по слабости ни на что не был годен.

Наконец судно, идущее в Форт, отыскалось. Это был латаный перелатаный тихоход “Надежда”, который и перевез Халелбека на мангышлакский берег. Проковыляв вдоль потемневших лабазов, пахучих штабелей невыделанной кожи, железных ящиков, укрытых сверху брезентом, рогожных кулей с воблой, бочек с тюленьим жиром, цистерн с нефтью, Халелбек выбрался по рваному

ракушечнику наверх. Ровный и сильный ветер, несущийся из бесконечной степи, дохнул на него. Ветер был крепок, словно вино. Или крепче вина. Голова закружилась, и Халелбек, чтобы не упасть, сел на землю. Все было в том ветре — и запах травы, положенной матерью в корджун, и впитавшийся сызмала парной дух верблюжьего молока, со звоном падающего в ведро, и дым очага...

Халелбек вспомнил, как мальчишкой слушал столетнего аксакала Косана-агу, возившего письмо самому “белому царю”, в котором старики просили, чтобы их сыновей не брали на тыловые работы. Косан-ага, поглаживая реденькую бородку, торчащую как пучок ковыля, говорил: “Был в Хиве, Оренборе, Бухаре. Добирался и до Петербора...¹ Далеко до него. Едешь-едешь, идешь-идешь, а земля не кончается. Хорошая земля. Трава жирная. Много скота можно пасти. Но нет лучше места на свете, чем наш Мангыстау². Петербор — и то сказать — красивый город, большой город. Кибитки каменные. Дороги каменные. Ночью светло как днем. Что из того? Нет покоя от холодного камня, дождей и сырого ветра. Задышался там и чуть не помер. Вернулся домой, подышал сухим, крепким, как шубат³, нашим воздухом — поживу теперь, сколько аллах даст”.

Как же давно Халелбек слышал эти слова! Был он тогда вот таким же беззаботным мальчишкой, что, не отрываясь, смотрит на него. Война, смерть, боль так же далеки, как тот таинственный Петербор, по которому ходил Косан-ага.

— Страшно там? — вдруг спросил мальчик и рукой, в которой были зажаты две сушеные рыбки, махнул в сторону моря.

— Что? — скорее удивился, чем не понял Халелбек. — Где “там”?

— На войне, — сумрачно пояснил подросток.

Халелбек взгляделся в него: худ, малоросл, личико пухлое, будто налитое водой. Мальчик ждал ответа, переминаясь с ноги на ногу:

¹Оренбург, Петербург (*искаж.*).

²Мангышлак.

³Верблюжье молоко.

одна обута в калошу, другая — в солдатский ботинок с проволокой вместо шнурка.

— Страшно,— прямо и тяжело сказал Халелбек.

— Отец там пропал. Есетов. Не встречали? Халелбек покачал головой.

— Кого ни спрошу — никто не встречал,— вздохнул мальчик.

Халелбек молча развязал мешок, достал кусок сахара, который вез домой, ножом расколол на две части, протянул пацану. Мальчик спрятал руки за спину, и Халелбек сунул белый комочек в карман его рубахи.

Две рыбки, оставленные мальчишкой, серебряно светились у ног. Халелбек поднял их и пошел к дому.

...Но все это еще далеко — заснеженные подмосковные поля, горящая вода у волжского берега, бакинский госпиталь... Далеко-далеко и будет потом. Пока едет он в арбе вместе с такими же парнями-адаевцами, которые, как и положено джигитам, храбрятся, поплеывают на дорогу, покрикивают на ленивую верблюдицу, тянущую шею к лакомой колючке, или, положив под голову руки, глядят в бескрайнее, как родная степь, небо.

“Я — адай, коль узнать меня смог,— напевает кто-то из парней, бренча на домбре.— Не узнал — так и знай: я твой бог!” Скрипит, плывет, покачивается арба. Как сама судьба, вращаются громадные колеса. Безразлично вышагивает верблюдица, волокущая повозку по тонкому мангышлакскому песку, по острому, ножевому щебню, по глине — ровной и блестящей, словно стекло. Сейчас дорога уйдет за плоскую сопку, прикрывающую Майкудук от северного ледяного ветра, и пропадет зимовка, исчезнет, растворится, будто и нет ее на свете.

“Я — адай, коль узнать меня смог..” — тянется паутинкой прозрачный мотив. Но обрывается и он. Головы в тельпеках поворачиваются к Майкудуку. Жадно смотрит и Халелбек. Отец, мать, брат всё так же стоят у кибитки. Только стали они хрупкими, тонкими, точно былинки, иссушенные жарким ветром. Кто защитит их? Кто поможет?

Скрипит арба, тоскливый звук рвет сердце, вращаются колеса, оставляя позади все те же желто-серые бугры, бегущие друг за

другом: И только ветер, что столбом завивает тощий песок, свободно уносится обратно к зимовке: он один здесь хозяин — сеет, молотит и собирает прах.

Как давно и как недавно все было... Умерла верблюдица, что везла их на фронт, и подросла новая. Покосился дом. Состарились отец и мать... Но по-прежнему горячо и влажно становится глазам, когда берется за щеколду, которой столько раз касались его руки. Он помнит ее тяжесть, выбоины, трещины так же, как тепло и свет родного дома...

Отец торопливо шел навстречу в чапане, накинутом на плечи: поздоровался с Сашей — гостю первый привет и особое уважение, — а уж потом молча, крепко обнял сына. Халелбек прижался щекой к костлявому плечу, в глубине души надеясь на чудо: вот сейчас болезнь отца или хоть часть ее перейдет к нему и не будет нужды ехать в больницу. Но отец быстро, резко отклонился от него — как отшатнулся: может, угадал тайное желание сына или застеснялся минутной слабости — не часто он обнимал Халелбека, даже когда тот был мальчишкой.

— Какие новости, сынок? Давно не был...

— Новости? Грызём железом землю. Одна забота.

— А нас земля грызет... Басикару в больницу увезли.

— Да не может быть... Когда?

— Две недели прошло...

Друг отца — Басикара — был, насколько себя помнил Халелбек, одним из самых прочных и непоколебимых столпов в жизни. Неутомимый и ловкий табунщик, острослов, который меткой фразой или шуткой мог выбить из седла, как куруком¹, любого гордеца, пристыдить бездельника, срезать нахала, высмеять глупца...

И вот Басикара попал в больницу. Плотно скроенный, крепкий, как ствол саксаула, табунщик не устоял перед временем. Это известие поразило Халелбека настолько, что он и сам на мгновение почувствовал себя старым, усталым, немощным... Будто сама природа в чем-то крепко ошиблась.

— Какое несчастье! — сказал Халелбек. — Он же к дочери в

¹ Длинный шест с петлей, которым ловят лошадей.

Гурьев собирался... Прошлый раз все шутил... Поеду, говорит, в город. Погощу там. Может, и правда, как сказывали, течет в Урале-реке не вода, а кумыс с шербетом...

— Так вот, сынок. Сегодня в гости торопишься, а завтра...

— Что с ним случилось?

— Что? У дохтуров один ответ — старость.

Халелбек отвел взгляд — синеватая нездоровая кожа отца, заострившийся нос, темные пятна под глазами... Неделю назад вырвался в Форт-Шевченко к врачу, чтобы договориться обо всем. Врач сказал: “Вашему отцу восьмой десяток... Что вы хотите?”

— А какой Басикара в молодости был,— продолжал отец.— Барс! С земли в седло прыгал. В аламан-байге всех позади оставлял...— Горькая гримаса тронула губы.— Высушила его болезнь.

“Понял, что приехал за ним,— думал Халелбек.— Вот и не спрашивает... Все сам понимает”.

— Сынок! Родной! Вернулся! — мать, взмахивая руками, торопливо вышла из-за ситцевой занавески, перегораживающей кибитку на две части.— Как скучаю, сынок. Ни тебя, ни Жалела, ни внуков. Никого под старость...— Сухими, тонкими руками гладила сына, целуя его одежду.— Такие дни длинные... Ходишь, ходишь. Все о вас думаешь, думаешь...

Она заплакала, уткнувшись в грубую брезентовую куртку сына.

— Ну что ты, что ты,— пытался успокоить ее Халелбек, хотя у самого в горле стоял ком.— Потерпи немного. Переберусь в Узек и вас перевезу. Будем снова вместе. Еще немного...— Ему казалось, что он держит в руках птицу.

— Похудел, сынок. Отдохнуть бы тебе, попить шубата от нашей верблюдицы... Отец... — Она не договорила. Бестибай оборвал ее:

— Оплакивать собралась или гостей принимаешь?

— Сейчас, сейчас. Совсем голова как дырчатый казан: ничего не помню. Где же чайник? Жалел, не пишет... Дети здоровы? А невестка? Может, приедет? Погостит? Ах, ты, лепешек свежих нет. Подождешь? Сейчас испеку.— Мать робко заглядывала в глаза, стараясь угадать, сколько же времени пробудет сын.

— Не беспокойся, апа,— ласково сказал сын.— В другой раз. В Форт тороплюсь. Тлепов машину дал, чтобы я все дела успел...— Он не закончил, виновато посмотрел на мать.— Турбобур еще надо получить,— словно оправдываясь, что везет отца в больницу, сказал Халелбек.— Новый!

Мать заморгала глазами:

— Знаю. Дела, сынок...

Сжавшись в комок, она быстро шла к занавеске. Там был ее угол, убежище, спасение, где невидимо и бесшумно выплакивалось горе.

Сели за дастархан. На скатерти стояли пиалы, тарелка с маслом, бокастый чайник с надбитым носиком, лежали колотый сахар, лепешки, большой кусок копченого мяса.

— Говоришь, Тлепов машину дал? — спросил отец.— Кто такой?

— Начальник экспедиции. На Бузачи раньше бурил. Теперь у нас. Жалела, знает...

— Ну?

— В министерстве встречал.

— Вон оно как... В министерстве...— Бестибай хмыкнул.— Чего в чужом доме искать, коли в своем скот не поен...

— Ты же сам всегда говорил: “Пока молодые — поглядите мир”. Вот Жалел и смотрит.

Халелбек и сам удивился, что вырвались слова, уколотившие отца.

Он резко поставил, пустую пиалу, в которую мать, следившая за каждым его движением, сразу же подлила чай, разбавив густыми — ложка стоит — сливками.

Отец незаметно кивнул на Сашу:

— Откуда джигит?

— Рязанский. В армии только отслужил.

— Вон откуда приезжают...— Отщипнул крохотный кусочек лепешки, долго жевал, налил чаю шоферу, потом себе. Обращаясь к Саше, спросил по-русски: — Хорошая машина попалась, сынок?

Саша, не понимавший казахского языка, все это время внимательно разглядывал простое убранство кибитки — кошмы с

белым узором бараньего рога, сундуки, обитые крашеной жестью, потертое седло с высокой лукой, батарейный приемник “Родина”, над которым висела картинка из журнала: смеющиеся дети бегут по зеленой траве — удивленно посмотрел на Бестибая:

— Что вы сказали? Машина?

— Да,— подтвердил старик.— Хорошо бегаешь?

— Обкатана была плохо. Не в те руки попала.

— До Форта доедем?

— Должны.— Замялся Саша.— Кое-что подделал, но...

Бестибай прищурился:

— Может, на верблюдице лучше?

Саша сообразил, куда клонит старик.

— Для подстраховки можно взять...

— Ехать долго,— вздохнул Бестибай.— Старая верблюдица.

— Старый конь борозды не испортит,— вмешался Халелбек.— Так ведь говорят...

— Но и вспашет неглубоко,— оживился Саша.— Вот у меня было... Только-только корочки выдали... Узнаю: новые машины получает колхоз. Я к механику: “Прошу учесть: автошколу с отличием закончил...” Он и учел — такой гроб дал. Час езжу, сутки под машиной лежу. Дома смеются: “Ты на машине ездешь или она на тебе?” А я уж и сам не пойму...

Парень свел редкие белесые брови, под которыми просвечивала розовая кожа.

— В одном, конечно, помогала. Едешь с какой-нибудь чудачкой... Заглох мотор — и все. Железно! — Он захохотал, будто вспомнил что-то удивительно смешное. И такое у него было простодушное лицо, на котором читались, как в открытой книге, жизнерадостность, добросердечие и, главное, непробиваемая уверенность, что его рассказ, в самом деле, интересен и смешон, что Бестибай тоже засмеялся. Негромко, осторожно, с оглядкой.

Почти сразу же смех перешел в надсадный кашель. Ходуном заходила грудь. В ней что-то бурлило, свистело. Бестибай отвернулся, достал цветастый платок, вытер испарину, выступившую на лбу.

— Верблюжья колючка залетела,— через силу сказал он.— Караганда называется.

— Караганда? — переспросил Саша.— Это же далеко.

— Далекo,— согласился Бестибай, пряча платок.— Из шахты вылезешь, — кашляешь-кашляешь. Ничего, утром снова здоровый. Давай, стахановец, норму!..

— Вы в шахте работали?

— Пришлось. В войну в трудовой армии был.

— В Караганде?

— Угу.

— У меня двоюродный брат в тех местах служил. Рассказывал... Шахтерский город.

Халелбек слушал разговор, стараясь не смотреть на отца — на его худую мальчишечью шею, на выпирающие из-под бязевой рубахи когда-то мощные, а теперь истончившиеся ключицы.

...Гложет болезнь. Сдаёт отец. И почему в тот свой приезд не настоял на больнице... Только время потеряли. А теперь? Помогут врачи или нет?! Ах, ты, раньше, раньше надо было приехать за отцом! И как нарочно: не отпускала буровая. Жетыбай — не Эмба... Там структуры известные. Снабжение налажено. А здесь за каждой гайкой скачи в Форт. Хорошо, если найдешь: не одна его бригада просит — другие тоже... Да и масштабы не сравнишь с эмбинскими. Масштабы, масштабы...

В газетах о них пишут. По радио говорят. А большой нефти пока и не нюхали. Где только не бурили за эти годы. И в Кызানে, и в Тюбеджике, и в Таспасе пробовали... Теперь вот в Жетыбае. Нефть-то есть. Но где? Сколько? Какая? Еще пахать и пахать надо, пока прояснится...

Может, зря он из Кульсаров сорвался? Разбуривал бы старую площадь, и старики с ним жили бы. Глядишь, и Жалел не подался бы из дому. Все вместе. Как пальцы одной руки. А теперь... Мангышлак большой. Жизни не хватит, чтобы его освоить. Вон американцы... С самой войны на Аляске нефть ищут. Землю скважинами, как гвоздями, утыкали, а толку нет. Может, и здесь то же самое? Что делать? В Майкудук переезжать? Бурение бросить? Ходить за старой верблюдицей и двумя десятками баранов?

Нет, только не это. Столько лет в нефтеразведке. Все с ней связано. Хорошее. Плохое. Вся жизнь. Да и кто перепрыгает лошадь, переезжая брод? Сколько осталось жить? Пять... Десять лет...

Халелбек так ушел в свои мысли, что обеспокоенная мать склонилась над ним:

— Нездоровится, сынок? Может, приляжешь? Всю ночь в дороге...

— Нет, апа. Не устал. Так, разное приходит в голову...

...Можно, конечно, и в Жетыбае обосноваться. Тогда прощай Узек. Второй раз с места уже не сдвинуться — дети подрастают, да и годы не те. Узек, Узек... Вот-вот начнутся там работы. И все с нуля. С колышка. Новое месторождение. И какое! Брат, Глепов о нем столько говорили. Большую нефть ждут... Такой в его жизни еще не было. Узек освоить — можно и умирать спокойно. Свое сделал в жизни. Как это брат рассказывал про геолога Жихарева?.. Верно: остается то, что остается. Жихареву повезло: открыл Жетыбай. Осталась о нем память...

Халелбек взглянул на часы: “Пора!” — перевернул пиалу, кивнул Саше:

— Поехали?

— Сейчас. Доскажу только. Батя спрашивает, почему я на Мангышлак приехал.

— И почему? — тоже спросил Халелбек. Он с интересом смотрел на паренька, ожидая, что тот ответит. Саша решительно сжал губы:

— Что такое Мангышлак? Передовой край. Если хотите — фронт! Нужно добыть нефть, несмотря ни на что... — Саша волновался. Видимо, какие-то отцовские слова зацепили парня. — Вырвать ее. А места гиблые. Зимой — бураны, морозы. Летом — жара, пыльные бури. Барса кельмес. Так ведь по-казахски?

Отец внимательно слушал, легонько постукивая костяшками пальцев по пустой пиале.

— Еще одно: вода! Плохо с ней. Значит, ни кустика, ни деревца...

— Говоришь, воды нет? — перебил отец. — Как так? Всю жизнь живу. Мой отец, дед жили, — вода была.

— Ученые пишут... Вот специально... Из энциклопедии...— Саша достал тощую, замусоленную записную книжку, перелистал.— Где же? Ага, нашел: “Мангышлак — самый западный выступ восточного берега Каспийского моря. Омывается заливами...” Дальше... “Климат резко континентальный. Осадков около 150 миллиметров в год. Развито главным образом пастбищное животноводство. Постоянных рек нет”.

Саша торжествующе глядел на Бестибая. Отец согласился:

— Правильно пишут: рек нет. На земле нет. А под землей — другое...

— Какая разница,— вспыхнул Саша.— На земле. Под землей. Нет и нет.

Бестибай как не слышал, продолжал говорить:

— Наш род много лет мангышлакскую воду пьет. У Келимберды был сын Мукал. У Мукала — Беимбет. У Беимбета — Сатыбай. У Сатыбая родился Жандай. У Жандая — Бокара. А у того Жанбоз. Сколько колен?

— Шесть.

— Верно, шесть. У Жанбоза было пятеро сыновей. Самые младшие — Айым и Шана. Мой дед Кул — сын Шаны. Теперь подумай: как же без воды столько людей жило?

— И все на Мангышлаке? — недоверчиво спросил Саша.

— Родина.

— Да-а-а... Все равно воды мало. Вон в наш Жетыбай, откуда возят? Пока доедут, не вода — тухлятина.

— В Жетыбае вода есть. Найти надо. Колодцы вырыть.

— Колодцы?! — засмеялся Саша.— Колодцами, батя, скважины не напоишь. Они знаете, сколько воды требуют? Только давай! Вся работа на воде...

— Колодца мало — скважину ставь,— не уступал Бестибай.

“А ведь прав отец,— думал Халелбек, с интересом слушая разговор.— На каждой оперативке только и слышно: “Вода... Вода”, а гидрогеологов в экспедиции — раз-два и обчелся. Да и денег мало отпускают. Все средства на нефтеразведку. Будто вода сама собой найдется...”

— Ищи не ищи,— Саша запальчиво махнул рукой,— пустыня, она и есть пустыня.

— Что такое Мангышлак? Знаешь? — спросил отец.

Халелбек заметил, что он тоже разволновался: несколько раз дотрагивался до горла, словно что-то мешало дышать.

— Не принимай к сердцу, коке¹,— сказал сын по-казахски.

— Как не принимай?! Парень говорит, что уходят адаевцы с Мангыстау.

Он опять повернулся к шоферу:

— Так что такое Мангышлак?

— Название.

— Если по-русски: “тысячи кочевий”, “тысячи зимовок”.

Тысячи!

Бестибай отогнул край кошмы, на которой они сидели.

— Гляди: вот кошма. Видишь? Вся в мелких дырах. Почему? На кочевках угли прожгли. Теперь наш Мангыстау. Он тоже как кошма после кочевки — весь в дырах. Только не угли прожгли — руки сделали. Тысячи колодцев. Тысячи кочевий. Занесет песком — снова рой. Вода есть. Только надо знать — где.

— Всё, сдаюсь,— поднял руки Саша.— Значит, тысяча зимовок?

— Больше.

— Теперь еще одна будет.— Саша ткнул себя в грудь: — Товарищ Новиков Александр Лукич остается зимовать на Мангышлаке. А кто его уговорил? Вы, аксакал!

Он поднялся, протянул старику крупную ладонь:

— Так домой и напишу: раньше следующего лета не ждите. Покорять Мангышлак так покорять! — И рассмеялся первый.

¹Ласковое обращение к отцу.

ГЛАВА ВТОРАЯ

...Ну зачем ты, старик, едешь в Форт? Зачем другим людям знать про твои болезни? И разве это хорошо — цепляться за жизнь? Сколько отпустил аллах — столько и проживешь. Ни больше, ни меньше. И никто — ни врачи, ни баксы, ни ты сам не прибавят и не убавят тебе жизни ни на волос. Один аллах вечен. Единственный он в своем роде, и нет при нем ничего: он существует вне пространства, и он создал все посредством своей силы... Так написано в священной книге. Аллах вечен...

Но о созидателе надо судить по миру, который он сотворил. Да, шесть полных кругов¹ прошла твоя жизнь, и все равно ты смотришь на этот мир, как в первый день, когда открыл глаза. Все связано с твоей жизнью: ковыль у обочины, струящийся под ветром; мышка, спешащая в нору; камень, изъеденный ветром, и пыль, которая когда-то была камнем,— все в тебе и с тобой. Но как же тогда смерть? В чем тайна? Мир во мне и со мной, пока я жив. Но все знают, что после смерти никто не воскресает. Зачем жизнь, смерть? Для чего? Родился человек, живет — плохо ли, хорошо ли, счастливо или несчастливо, богато или бедно, в любви или в ненависти — живет, радуется солнцу, снегу или дождю, тучным травам, жиреющим баранам, быстрым коням, приходит время — влюбляется, рождает детей, кормит, оберегает и наставляет их. И так день за днем, год за годом катится жизнь, проносится, словно степь под копытами крылатого скакуна, и ты летишь, небрежно покачиваясь в седле, весь захваченный неотвратимым движением. Вечной кажется жизнь. Как земля, на которой ты родился. Солнце, что с первой секунды согревало тебя. Небо, под которым ты любил. Но нет-нет и напомним о себе смерть, что бьет неожиданно и крепче любого батыра. Вышибла из седла одного, другого твоего сверстника.

Вот и Басикара...

Помнишь, как мальчишками соперничали с ним в байге? Той самой, первой в жизни байге, когда ты на иноходце из косяка

¹ До революции летосчисление у казахов производилось по циклам в 12 лет. Годы каждого цикла обозначались именем животных: мышь, корова, барс, заяц и т. д.

Туйебая пришел вторым. Где теперь тот конь? Где сам Туйебай, одно имя которого приводило тебя — и одного ли тебя? — в трепет? А сам счастливый победитель? Ты так ему завидовал, что все бы отдал, чтобы только быть на его месте. Басикара опередил тебя и здесь, на последней дороге. Лежит в больнице, а ты, задыхаясь, кашляя, спотыкаясь, все еще бежишь... Куда? К чему? К черной яме, что разинула беззубый рот, сжевавший столько победителей и побежденных? И то, что вчера еще имело имя, называясь человеком, отцом, мужем, другом,— застывшее, одеревенелое, трижды запеленатое в последнюю свою одежду — в белую мату — скоро поплывет над головами родственников, друзей, знакомых.

Неужели такое будет и с тобой? Тогда для чего все? Твои труды, радости, печали, борьба с недругами и помощь друзьям, недостойные ссоры, горячие клятвы, сама любовь, наконец? Разве еще не вчера ты шептал единственные слова любимой, той, чьи ореховые глаза светили тебе ярче звезд? Разве не ты, словно пьяный, молол невесть что, едва ли сам, понимая смысл своих слов? И ради чего? Сладостного мига?! Теперь и от него осталась одна горечь.

А как билось сердце, когда она в саукеле¹, покачивая перьями филина, в малиновом камзоле с серебряными пуговицами плыла на празднично украшенном верблюде к твоей кибитке! Скажи она тогда лишь слово, разве не бросил бы всю свою жизнь к ее ногам ради предстоящей ночи? Куда уходит любовь? Нежность? Безумие прошедших ночей? Да с тобой ли это было? Когда? В какой жизни? Кого тебе подсунули вместо звонкоголосой птицы? Эту каргу с потухшим лицом, выцветшими глазами и грудями, словно пустые корджуны? Воистину, если аллах хочет наказать человека, он лишает его разума.

Ну, а сам ты тот же, что с нетерпением неистового буры² дожидался первой ночи, а потом молил, чтобы белый петух, живущий на девятом небе, хоть раз прозевал рассвет? Можешь ли ты сесть в седло без чужой помощи? И не ты ли кряхтишь: “Ох, мои колени. Моя поясница. Мои ноги... И когда им будет покой?!”

¹ Женский головной убор.

² Верблюд-самец.

Но если бы указали срок кончины, разве стало бы тебе легче? Или забыл, как расстающиеся с этим светом вымаливают у аллаха день, час, мгновенье... Только б жить, дольше жить, вечно жить! Но для чего? Ушли силы, ушла любовь, ушли дети. Скот, за которым ты ходил, оберегая его пуще глаза, давно превратился в пыль. Да, все прах и прах праха!

Постой, постой... Пока было мясо, — ты его ел, а когда стало костью, ты его бросил? Зачем возводить напраслину на всех, если пыль легла на твое собственное сердце? Разве не знаешь, как принимал смерть Шабдун Ералиев, которого ублюдки, всю жизнь лизавшие байские зады, связали и бросили в море? Разве забыл, как на твоих руках умирал Петровский? Что ж ты — взгромоздился на невзнузданного скакуна, огрел его камчой и вот-вот сломишь шею, а сам кричишь, что порвал чапан? Разве унижение от собственного бессилия не будет тебя грызть до последнего мгновения?

“О аллах, ты видишь, что со мной... Я болен, и разум мой помутился. Помоги мне! Я наедине с тобой, и если поминаю тебя, то не из страха перед адом; а если поминаю в надежде на рай, то изгони меня оттуда! Если же поминаю тебя ради тебя самого, то не скрой от меня своей вечной истины: что такое жизнь? В чем ее смысл? О аллах!” — творил молитву Бестибай или то, что казалось ему молитвой.

Он сидел рядом с Сашей, прикрыв глаза, весь, уйдя в себя, и со стороны казалось, что старик дремлет. Саша нет-нет и косился на него: ему чудилось какое-то шелестенье, шепот, неясные слова. Но по-прежнему каменно неподвижно было скуластое лицо Бестибая с хвостиком седенькой бородки, которая мягко спала на грудь. Тяжело лежали на коленях длинные ладони с набрякшими венами. И только веки, если приглядеться, иногда вздрагивали, словно что-то живое билось под ними.

“Нездоровится старику. Придремал. А дед, видать, толковый,— думал Саша.— И по-русски складно говорит. С кошмой этой... Надо бы с ним еще потолковать. Тогда и дорога повеселее будет. А то едешь-едешь — песок, глина, камень. Опять песок, глина... С тоски можно загнуться. С Халелбеком не разговоришься.

В Майкудук ехали — тоже молчал. Ребята говорят, что и на буровой все молчком. Зыркнет глазами, пару слов скажет, как кипятком плеснет,— и все. Дескать, давай сам мозгами шевели. Уважают его. Лучший буровой мастер считается..”

Саша поправил зеркальце, в котором отразилось хмурое лицо Халелбека, как-то неловко, боком, сидевшего на заднем сиденье.

...Нога, наверное, ноет. На войне ранило... Везет же людям: войну повидали. А он двадцать лет прожил и ничего толком не сделал. Школа. Колхоз. Армия. Теперь вот Мангышлак... Как про него в райкоме сказали, где путевку получал: “Первопроходец!” И руку жали. Он и сам так думал, пока на полуостров не приехал. А приглядеться — вроде все то же, что и дома. Ну, жара. Пыль эта еще донимает. С водой хреново. А в остальном... Вот у таких мужиков, как этот Халелбек, у них — другое. Фронт! И все ясно. Значит, повидали люди кое-что... А у него? Первопроходец... Саша прищурился, взглянул на себя в зеркало. Круглое лицо с облупленным носом. Выгоревшие брови. Глаза какие-то маленькие. Нет, не похож на тех, о которых в книгах пишут или в газетах. Халелбек — другой. Поглядишь на него — сразу уловишь: человек на многих колеях битый. Вон глаза, какие! Бурава!..

Саша размышлял, а руки и ступни делали свое дело. Он вел машину расчетливо, осторожно, стараясь не ловить рытвины и ухабы. Но все равно на каждой выбоине или кочке машина гроыхала так, что казалось, вот-вот развалится.

“Рессоры ни к черту! Да по таким дорогам ни одна сталь не выдержит,— расстраивался Саша, прислушиваясь, то к сухим щелчкам, то к глухому стуку.— Хоть бы из Форта вернуться да на ремонт встать...”

“И куда гонит,— кривился Халелбек, переживая за отца.— Не кизяк везет! Не понимает, что ли?”

Он тронул шофера за плечо:

— Слушай, полегче... А то запчасти не соберем...

Саша не ответил, круто вывернул баранку, чтобы объехать ноздреватый булыжник, лежащий на пути, и, как нарочно, впоролся в узкую, с крутыми бортами расщелину, прорытую то

ли ветром, то ли вешней водой. Газик тряхануло так, что пыль, таившаяся в складках брезента, потекла по стеклам, а в кабине повисло облако, будто кто-то вытряс мешок из-под муки.

— Просишь как человека,— в сердцах укорил Халелбек, изменив своему правилу не делать замечаний. Он беспокойно взглянул на отца, но тот, как ни в чем не бывало сидел впереди и даже глаз не приоткрыл.

— Кто ж под руку говорит,— прохрипел Саша, откашливаясь, и, приоткрыв дверцу, плюнул на дорогу.— Вот и врубилась... Мангышлак...

Он выругался. Длинно, неуклюже. Спыхватился, взглянул на старика, но тот, похоже, не слышал. А Мангышлак встречал их во всей своей силе и славе. Утренним солнцем, ветром, золотистой тончайшей пылью катился им навстречу прекрасный и яростный мир.

“Те, кто считает, что пустыня мертва, не знают, что такое жизнь,— писал один из исследователей полуострова.— В этой стране, как в заповедной шкатулке, собран весь арсенал разнообразнейших проявлений природы. Если вы захотите увидеть все формы рельефов и все типы солончаков, увидеть классические примеры чинков¹, посетить сухие котловины, опускающиеся на десятки метров ниже уровня океана, ощутить великую работу ветра в пустыне и познать сотни других ее чудес — лучшего места, чем Мангышлак, вы не сыщете”.

Но Саше не было дела ни до этих желтых песков, ни до столовых гор, что под лучами солнца сверкали, как куски рафинада, ни до прочих пустынных красот, в которые не успел взглянуться внимательным взглядом.

“Вот люди! — кипятился Саша.— И зачем не в свое дело лезут? Разве прихожу к нему на буровую и указываю: “Раствор утяжели! Смени долото! Скважину промой!” А шоферу, выходит, любой может ткнуть: “Жми на всю железку! Поворачивай! Куда глядишь? Не кизяк везешь!” Почему думают, что разбираются в шоферском деле? Может, потому, что и представить себя не могут

¹Обрыв.

без машины?! Посадить бы их снова на лошадей — тогда бы по-другому запели...”

Ему хотелось порассуждать об этом с кем-нибудь, кто смог бы понять его душу, но с кем? Старик по-прежнему сидел, закрыв глаза, отделившись от всего мира, а с Халелбеком на эту тему Саша заводиться, понятно, не стал. Чувствовал — себе дороже выйдет. Он с тоской смотрел на дорогу или на то, что называлось дорогой, — выжженное солнцем плато, по которому — попробуй, отыщи ее! — бежала букашка — его газик. Ни одной машины не попало навстречу, словно и не было их никогда. Что машины?! Ни птиц, ни верблюдов... Одни лишь высохшие, как стружка, травы хрустели под колесами.

“Занесло на край света. И за каким чертом? Не сиделось дома. Не пилося, не елось у матери. Романтики захотел. “Держись, геолог, крепись, геолог. Ты ветру и солнцу брат!” — и так далее, как в песне поется. Ну и вкалывай, брат...”

Почему-то вспомнилась полянка в лесу: он ее обкашивал каждый год. Небольшое блюдце, заросшее травой-муравой да цветами — иван-чаем, кашкой, кукушкиными слезами. Жужжат пчелы, тяжелые шмели качаются на тонких гибких стеблях, сеткой толчется мошкара. Сухмень! Но все одно не такая жара, как здесь, на полуострове. Не в машине — на раскаленной сковородке крутишься.

А по краю той лесной полянки бежит, светится ручей. Словно серебряная тропинка вьется. Журчит, сверкает прозрачная вода, моет-полирует камешки на дне, убегая дальше, дальше в глубь леса, к сумрачным елям, кривым осинам, душистым малинникам — туда, к светлой Оке. До чего ж, оказывается, радостные места у него дома: подумаешь только — и на душе легче. А здесь?

Другой, чуждый мир глядел на него. Безжалостной сталью отливали пятна солончаков. Грозно сверкали обрывистые уступы. Песчаные и глинистые холмы уверенно стремились к равнодушному горизонту.

Как же жили здесь люди? — думал Саша. — А ведь жили. И давно. Старик сказал: тысячи зимовок! Так оно и есть. Куда ни поедешь — обязательно наткнешься на старую крепость, кладбище, оплывшую глиняную кибитку. И деревья есть. Он видел у родни-

ков. У одного такой здоровенный тутовник растет, что не верится даже — рядом пустыня, где одна былинка другой через километр привет передает.

А кладбища — чудные. Издали смотришь — город. Башни, дома высокие, какие-то замки древние. Подъедешь ближе — обман: стоят каменные ящики с разными загогулинами. Чего только не встретишь на могильных камнях! Всадники с копьями наперевес. Клубком сплелись хищные звери. Крылатое существо — тигр не тигр, но морда кошачья — приготовилось к прыжку или полету. Охотники затаились в засаде. Ружья диковинные — на подставках, вроде сошек. Встречаются и лодки, плывущие по морю. А уж коней, верблюдов, сайги — несчетно изображено. Видно, охота в древние времена была знатная...

Кто, когда и зачем оставил рисунки, непонятные надписи, фигуры животных, вырубленные из камня? Спрашивал у ребят, у тех, кто раньше его на полуостров приехал, — плечами пожимают: “Кто знает? И охота ерундой голову забивать?” Ерунда? Еще как посмотреть! Вот в школе... Ходил он с учителем истории по селам. Записывали про то, как люди в старину жили, чем занимались да какие из случаев кто из стариков помнит. Тоже судачили: “Кому это надо — в старье копать?! Дурака валяют...” А как разузнал он про своего предка-каменщика, да из музея бумага пришла, другому запели: “Сашка-то что раскопал... Будто Петр Первый нашего родича к себе во дворец затребовал. Церковь ставить велел. И бумага на то есть. Старинная...” Вот как ерунда обернулась! Может, церковь, что его предок строил, до сих пор стоит? А что? Свободно даже. Раньше, говорят, известь на яйце да на молоке замешивали. И кирпичи особые. Так что покрепче каменных сундуков, что на здешних погостах понатыкали...

Ах ты, голова садовая — не сообразил! Надо же было старику этому, Бестибаю, что про своих дедов-прадедов толковал, рассказать... Дескать, тоже род древний: в самой столице предки работали. По каменному делу хлопотали. Для Медного Всадника! Прямо так и вмазать, — дескать, с самим царем за руку здоровались. Не лыком шиты!

Саша повернулся к Бестибаю: может, проснулся? Так он ему

сейчас объяснит... Но старик по-прежнему дремал или делал вид, что дремлет. Ни тряска, ни пыль, ни зной, от которого плавилась земля, а все вокруг струилось, переливалось, как живое, не трогали Бестибая. В своем островерхом — воинский шлем, да и только! — колпаке, закованный в негнувшийся панцирь дорожного чапана, старик напоминал те мощные, загадочные камни-великаны, что разбросаны по всему полуострову. Саша не раз их встречал, когда колесил с нефтеразведчиками. Одинокая немота камней была непонятна, как и сама суровая земля, породившая их. Но то ведь камни... А почему старик молчит? Вот у них в деревне народ словоохотливый: что молодые, что деды, греющие кости на печи или на солнышке. А этот? Может, совсем плох — потому и не до разговоров? Быстрее бы до больницы доехать... Но Бестибаю в дороге было лучше: меньше болела грудь, не донимал кашель, а главное — он снова в пути. Что из того, коли, не качаешься в седле, склоняясь к теплой верблюжьей шее, а втиснут в гремящую железную коробку, воняющую бензином? Все равно в движении. Тот, кто всю жизнь провел в седле, понимает, что это такое. Уходят по капле силы, будто вода из дырявого ведра; одно за другим угасают желания, и все больше думаешь о прошлом, которое, как дым от очага, обволакивает тебя... Все проходит, — но дороги не кончаются.

Полтора столетия назад Вамбери — венгерский ученый — шел в Хиву через Мангышлак. Он остановился на ночлег в одном из адаевских аулов и спросил у женщины, угощавшей его кумысом: “Почему вы все время кочуете?” Она удивленно посмотрела на человека в одежде дервиша, не понимающего очевидных вещей: “Разве не знаешь? Все движется в мире. Солнце, луна, звезды... Звери бегут, птицы летят, плывут рыбы...”

Прикрыв рот ладонью, женщина лукаво засмеялась: “Только покойники лежат на одном месте. Или ты неживой?”

“Я был поражен простотой и мудростью ее слов,— вспоминал знаменитый путешественник.— Жизнь — бесконечное движение. Неподвижность — гибель, мертвечина, небытие...”

Привычная дорога успокаивала и Бестибая. Что сетовать: судьбу не перехитришь, не изменишь. Но пока ноги твои не

заскользили к пропасти, через которую перекинут мост тонкий, как волос, и острый, словно бритва,— ты жив, своими глазами видишь небо, солнце, землю. А сегодня и сын с тобой. Даст аллах, вернется и Жалел. Не может быть, чтобы не вспомнил о родной земле. Хотя кто знает.. Сыновья не ходят за скотом. Они — нефтяники. Своя у них жизнь, своя дорога, на которой свои радости и печали. И разве не ты сам помог им сойти с пути предков?

Не напрасно ли? Держали бы в руках курук — не остался бы под старость один в Майкудуке. Что теперь переливать из пустого в порожнее. Иной доли не хотел ты своим детям. Или забыл Туйебая? А потом Форт-Александровский¹, где не знал, что будешь, есть завтра?

Нет, нет и нет. В Кара-Бугазе открылись твои глаза, так зачем же закрывать их через столько лет. И разве на мельнице поседела твоя борода? Так о чем жалеть...

У каждого дела — свое начало. Так и в жизни. Для Бестибая другая жизнь началась в Кара-Бугазе, на берега, которого он перекочевал перед революцией. До Кара-Бугаза Бестибай, как и все, у кого не было своего скота, пас чужих верблюдов. Принадлежали они богатому родичу Туйебаю. Двенадцать лет, как один день, прошли по кругу: рассветы, кочевья, весны, зимовки — и вот первая седина уже заблестела в бороде, а кажется, что ты еще и не жил.

Только через двенадцать лет Туйебай позвал его к себе в кибитку.

— Говорят, у пепельной верблюдицы приплод будет,— лениво сказал Туйебай.— Бери верблюжонка. Теперь ты хозяин.

Бестибай прижал руку к сердцу, поклонился, сказал слова благодарности.

“Теперь ты хозяин!” Если бы так. Пока бай рядом — не бывать этому. Двенадцать лет не только пылью прокатились для кроткого сердцем Бестибая. Видел он, как джигиты Туйебая с родовым кличем “Жанбоз! Байбоз!” жгли юрты непокорных, в кровь из-

¹ Форт-Шевченко.

бивали таких же бедняков, как и он. Вел их Сары — правая рука Туйебая.

Его камча гуляла и по спине Бестибая, когда однажды недоглядел он и волки перерезали горло двум верблюжатам.

“Стереги добро! — хрипел Сары, стараясь ударить побольнее.— Или забыл, чей хлеб ешь?”

“Теперь ты хозяин!” Нет. Хозяин прежний — Туйебай. В любой момент может отобрать и верблюжонка, и жену, а захочет — и саму жизнь. Как бы ни ползла змея криво, в свою нору все равно вползает прямо.

Подрос верблюжонок, превратившись в пепельно-желтую верблюдицу аруану, и Бестибай в одну прекрасную ночь погрузил на нее пожитки, посадил Халелбека и, никому ни слова не говоря, откочевал из коша Туйебая. Сначала подался он к Форту-Александровскому, где жила родная сестра. Надеялся, — поможет вначале, потому что кто не знает: пока ты в своем коше — худо ли, бедно ли, но с голоду не умрешь, — родичи выручат. А коли ушел — помощи не жди, живи, как знаешь. Сестре, как сразу понял Бестибай, и самой кусок черствой лепешки поперек горла вставал: умер муж, и она перешла в кибитку его старшего брата. Тут еще Бестибай с семьей свалился на голову. Кому нужны голодранцы?! Слезами да вздохами не проживешь: нанялся Бестибай в городе пилить камень-ракушечник, лить саман, возить воду — ни от какой работы не отказывался.

Но мысль о собственных баранах не давала покоя: “Есть скот — ты человек. Нет, его — хуже шелудивого пса...”

От таких же, как он, бедняков услышал Бестибай про Кара-Бугаз: большие работы начались на берегу — соль добывают. И платят деньги... Перебрался Бестибай к “черной пасти”, вырыл землянку, начал осматриваться.

Кого только не было в те годы в Кара-Бугазе. где царское правительство еще перед первой мировой войной пробовало разрабатывать месторождение сульфата натрия — сырья для металлургической, стекольной, бумажной промышленности. Казахи, русские, туркмены, персы, татары, армяне, калмыки с раннего утра выламывали ломанн да кайлами сульфат, на тачках вывозили, а

потом, когда соль подсыхала, грузили или на верблюдов, которые шли к Амударье, или на пароходы, чтобы отправить за море.

Пестрый народ толкся на пустынных берегах: бродяги, давно позабывшие и дом и, кажется, свое имя; ловцы счастья, случаем заброшенные в это гиблое место; сорвиголовы, не признающие никаких законов — ни божеских, ни царских, ни человеческих; такие же горемыки, как Бестибай, надеющиеся выбиться из нужды, да попавшие в западню...

Самой сплоченной, хотя и небольшой группой держались сосланные царем “политические”. Бестибай сначала принимал их за разбойников — аламанов, которые не щадят ни женщин, ни детей, ни стариков. Но когда узнал поближе — мнение переменял: люди как люди. Еще и поумнее других. Рабочий Василий Петровский, которого Бестибай однажды в жару угостил чалом — его как никто умела готовить жена, — начал заходить к нему. Василий — человек грамотный. В самом Петербурге жил. Работал на фабрике. А главное, по-казахски говорил.

Петровский и подсказал Бестибаю:

— Чего хребет ломаешь — подрядись в караван с верблюдицей, вози соль на Амударью. А я за тебя перед начальством похлопочу, чтобы отказа не вышло.

Получилось все хорошо — совсем иная жизнь началась для Бестибая, который, работая на промысле, тосковал по вольной степи. Пусть жил он в землянке, редко ел досыта, а на шароварах и чапане столько заплат, сколько звезд на небе, но зато по-прежнему видел Бестибай новые дороги, людей, незнакомые города, шумные караван-сарай и базары. Удалось и немного денег скопить. Купил Бестибай дюжину баранов и коз, поручил их Халелбеку, который подрос, превратившись в крепенького, хотя и ростом не вышел, джигита. А сам Бестибай кочевал по родной земле: с караванами побывал в Ходжейли, Астрахани и даже до Оренбурга доходил. А уж Мангышлак и Устюрт знал так же хорошо, как собственную кибитку.

Война все не кончалась. Видно, совсем рассердился Иса на белого царя. Соли и хлопка нужно было больше и больше. Бестибай подумывал уже о второй дюжине баранов, но тут началась ре-

волюция. Все пошло в степи вверх тормашками: закрылась добыча сульфата, перестали ходить караваны, а люди,— кто из них прав, а кто не прав — Бестибай определить не мог,— стали резать друг друга как мясники.

Растолковал бы, что к чему, Петровский, но Василий еще весной семнадцатого года подался на родину. Бестибай переждал смутное время в Кара-Бугазе, потерял с таким трудом нажитых коз и баранов — их реквизировали рыскавшие в песках белые солдаты — и опять остался с той же верблюдицей, которая постарела так, что бока ее из желтых стали серыми, как соль, но пока еще служила верой и правдой.

Все войны когда-нибудь кончаются, — отгремела и гражданская...

Вернулся в Кара-Бугаз Петровский, и Бестибай первым делом пошел к нему. Василий встретил его как старого друга. Рассказал, что воевал за советскую власть на Волге, потерял в бою руку, а теперь по поручению Ленина — главного большевика — будет восстанавливать промысел. И правда: новая власть быстро начала разработки. Бестибай, как прежде, стал ходить с караванами, хоть и небезопасно было: в песках бродили бандиты, и пропасть человеку было проще простого. Случалось Бестибаю показывать дорогу красным отрядам, добывавшим остатки белых банд и шайки аламанов, особенно расплодившихся после гражданской войны. Красноармейцы подарили Бестибаю алую звездочку, и он носил ее на чапане.

Петровский создал в Кара-Бугазе первый рабочий Совет, председателем которого его и избрали. Бестибай, помня надменных и неприступных волостных, думал про себя, что Василий теперь и здороваться с ним не будет — большой начальник! — но Петровский, который жил одиноко (жена у него умерла от тифа, а сын учился в Москве), по вечерам запросто заходил в землянку Бестибая. Они толковали о том, о сем, но больше всего о новой власти, смысл которой Бестибай пока не мог уразуметь.

— Ничего... Наступит время — поймешь,—говорил Василий.—Подведут узел под задницу — сразу определишь, кто враг, а кто друг пролетариата.

Бестибай не спорил. Он вообще говорил мало, думая свое. И думы эти были нехитрые: не околела бы верблюдица; где взять чаю и спичек; а главное — что делать с Халелбеком? По какой дороге пускать джигита?

В тот день Василий Петровский пришел неожиданно, — когда Бестибай пил утренний чай.

— Садись, тамыр¹! — обрадовался Бестибай гостю, наливая чай.

Но Василий не сел. Меряя шагами крошечную землянку, он и внимания не обратил на пиалу с чаем, которую протягивал ему хозяин.

— Ты не заболел? — озаботился Бестибай. — Совсем плохое лицо.

— Лучше бы заболел, — горько сказал Василий. — Ленин умер!

— Ленин?!

— Да, наш учитель и друг.

— Какое несчастье! Редкий человек. Хорошо относился и к казахам, и к русским. Настоящий мудрец. Эх, до чего жалко. Почему хорошие люди долго не живут? Я видел его портрет с красным бантом на груди. Он не такой уж старый человек...

— Болел сильно. В него стреляли отравленными пулями.

— Кто стрелял?

— Женщина, — нахмурился Петровский. — Член партии эсеров.

— Женщина стреляла? Что творится в мире! Неужели эсеры² собрались вместе? Чего теперь нам ждать? Песок на Мангышлаке и Кара-Бугазе поднимется вверх, и высохнут колодцы... Такое уже было в год коровы. Шесть адаевских родов стали совершать барымту³ друг против друга, бросили пасти скот...

— Эх, Бестибай... Как тебе объяснить? Эсеры — не родовая партия. Партия классовая, вставшая против большевиков.

¹Товарищ, друг.

²Безумец, сорвиголова. Игра слов.

³Феодальный обычай, заключающийся в самовольном угоне скота или в грабеже имущества за нанесенную обиду. Феодально-байская знать широко использовала этот старинный родовой институт для сведения счетов и личного обогащения.

Бестибай хоть и не совсем понимал, о чем шла речь, все-же кивнул:

— Вот они и потушили свет народа.

— Да. Ленин — свет! Наши враги теперь думают, что, потеряв вождя, мы растеряемся... Но пролетариат ответил по-другому. Чтобы дать отпор врагу, нужна твоя помощь, Бестибай.

— Моя? С какой стороны наступает враг? Я готов. Только верблюдицу надо привести... Конечно, конь бы лучше. Но где его взять?

Петровский покачал головой, не зная, сердиться на Бестибая или попытаться растолковать азы классовой борьбы.

— Трудящиеся должны сейчас помогать друг другу, чтобы укрепить государство,— начал он.— Государство — это ты, я, твой сын... Такие же рабочие, крестьяне... Пролетариат! Нас миллионы в стране...

— Откуда мне знать про это? — оправдывался Бестибай.— У меня один дом — Мангышлак. Я и подумал, что налетел враг... Аламаны-туркмены или хивинцы... Выходит, враг в Москве?

— Погоди-погоди... Скоро увидишь врагов и здесь,— чужим, металлическим голосом сказал Петровский.— На кого ты батрачил? На Туйебая? А сколько богачей на Мангышлаке? Думаешь, они легко смирятся с тем, что советская власть не дает им жиреть за счет таких бедняков, как ты?

— Но что я могу сделать? Чем помочь? Молока от верблюдицы — ты знаешь — еле хватает нам самим. Бараны пропали... Но если молоко...

— При чем тут молоко...— рассердился Петровский.— Надо, чтобы в нашем Кара-Бугазе стало больше коммунистов и комсомольцев. Так завещал Ленин!

— Ленин завещал? Хорошо. Кого же ты из меня хочешь сделать? Жомсомол? Но там джигиты, а я уже старый. В коменеза мне нельзя. Сам говорил, что им может стать грамотный человек. А для меня что палка, что буква...

— Сколько твоему сыну лет?

Бестибай внимательно посмотрел на Петровского:

— Родился в год зайца.

— Значит, тринадцать. Казахи говорят: если парню тринадцать — он уже хозяин в доме. Так?

— Да. Халелбек у меня толковый,— с гордостью сказал Бестибай.

— Вот и хорошо. Дети — наше будущее. Так говорил Ленин. — Петровский впервые за время разговора улыбнулся.— Пусть твой Халелбек идет в наше промышленное хозяйство. Днем будет ухаживать за верблюдами и лошадьми, вечером — учиться. На днях школу откроем для таких джигитов, как он. И в комсомол вступит...

Бестибай ответил не сразу:

— Думаешь, рабочий — хорошо для моего ягненка?

— Конечно. Он встанет в ряды передового класса! И когда? В год смерти Ленина — нашего вождя. Укрепит ряды пролетариата. Вот о чем я тебе толкую...

— Ладно,— подумав, наконец согласился Бестибай.— Только не завтра... Пусть еще немного побудет дома, а?

Так зимним днем тысяча девятьсот двадцать четвертого года неожиданно решила судьба Халелбека.

А дороге в Форт-Шевченко, казалось, не будет конца. Она разматывалась бесконечной серой лентой, и вокруг ничего не менялось: словно не ехали. Наконец впереди замаячили пыльные султаны, а потом показалась вереница машин, двигавшаяся по степи.

— На трассу выходим,— хрипло сказал Саша, разлепляя запекшиеся губы.— Теперь, считай, в Форту.

Он уже веселее вглядывался в темные силуэты машин, представляя, как такие же парни-шофера катят, согнувшись над баранками, впившись взглядом в дорогу; красновато тлеют огоньки сигарет в углах рта, и ребята чертыхаются, кляня бездорожье, жару и пыль.

— Близо,— согласился Бестибай, с интересом поглядывая по сторонам. Мощная техника, которой он еще не видел в здешних местах, поразила его. Одна за другой шли навстречу машины: вездеходы с плотно затянутыми брезентом кузовами; трубовозы, на которых, как артиллерийские стволы, были уложены трубы; по

обочине, не спеша, шествовала колонна новеньких тракторов С-80, на одном из которых трепетал плакат: “Нефть Мангышлака— Родине!” Попыхивая сизым дымком, промчались голубые автобусы, за ними проплыла тяжелая пожарная машина с колоколом у кабины, в котором перекатывалось медное солнце.

“Видно, пароходы с техникой подошли,— определил Халелбек.— В Узек гонят. Там основные работы... Прямо как на фронте. Когда к наступлению готовились”.

Он по-хозяйски вглядывался в машины, словно все это богатство уже было в его распоряжении. Первым делом отметил трубовозы: “Хорошо, если челябинские трубы... Качество высокое...” Потом цементирувочные агрегаты: “Как их всегда не хватало в Жетыбае. Ждешь-ждешь, когда приедут, а дело стоит...” Грузовики с деталями сборно-щитовых домов, передвижная автомастерская, кинопередвижка, автолавка, компрессоры — ничто не ускользнуло от Халелбека. “Можно работать! Все новое — только бури”, — азартно думалось ему, будто согласие на переезд в Узек, как того хотел Тлепов, было уже им дано.

— Земля дрожит? Слышишь? — обернулся к нему отец. В его глазах читалось и любопытство, и какая-то неясная для Халелбека печаль.

— Ничего, земля выдержит... Вот техника — та не всегда. Надо бы для Мангышлака специальную выпускать...

— Раньше в этих местах не то, что машину — кибитку не встретишь. Помнишь, Петровского искали? Неделю ходили — хоть бы верблюд попался...

— Как же? Помню! В двадцать шестом или двадцать восьмом году случилось. Я уже солеломщиком на промысле работал.

— Позже. Перед первыми колхозами,—уверенно сказал Бестибай.

— Тогда Петровский...

— А кто он такой? — поинтересовался Саша.

— Василий Петровский?! Большевик! Советскую власть в наших местах устанавливал. Честный. Справедливый. Кто знал его —до сих пор вспоминают...

— Так это он пропал?

— Нет. Его сын — Михаил. Геолог. Заблудился. Пятеро их было.

— Как же нашли? С самолета?

— С самолета! О них тогда в нашей степи и не слышали,— усмехнулся Халелбек.— Отец отыскал. По следам.

— А-а-а, понятно. На машинах были...

— Какие машины? — удивился Бестибай.— Верблюды грузы таскал. Люди ногами шли.

— Пешком? А говорите — следы... На глине да камне? — засомневался Саша.

— Э-э-э, Петровский тоже не верил: “Как найдем? Куда идти?” Говорю: “Не торопись. Смотреть надо. Думать...” А он: “Как не торопись? Неделя прошла. Пропадут ребята”. Беспокоится. Сын. Один у него. “Зачем пропадут? — отвечаю.— Два верблюда есть. Одного можно зарезать. Вода под землей. Копни на пять — десять локтей — и пей...”

Не верит: “Ты, Бестибай, со своего бугра глядишь. Они же не адаевцы. Пустыню не понимают”.

— Ну, а дальше? — нетерпеливо перебил Саша.— Как все-таки нашли?

— Умелый и снег разожжет,— напомнил поговорку Халелбек.— Отец Устюрт, Мангышлак весь исходил. Всю жизнь с караванами...

— Хожу, гляжу... Верхушки у верблюжьей колочки и биюргуна оборваны,— продолжал Бестибай, словно не слыша Сашиного вопроса.— Шагов через сорок — снова. Верблюд шел! Рядом — второй!

— Почему именно верблюд? Может, лошадь или другое животное...

— У верблюда такая привычка: щипнул траву — идет. На ходу ест. Говорю Петровскому: “К Устюрту следы. Там ребята...” Нашли через два перехода. Лежат на такыре. Живые. Только не понимают ничего. Потом рассказывали: ветер подул сильный. Пыль. Солнце закрыло. Верблюды убежали. Пошли их искать — заблудились. Кружили-кружили. Ночь. Утром снова к такыру вышли, откуда плутать начали. Сначала один от солнца упал. Второй...

— Приключение... — восторженно протянул Саша. — В книгах о таких читал.

— Люди едва не погибли, — хмуро отозвался Халелбек. — Опоздай на несколько часов — и все.

Бестибай смотрел на дорогу, словно что-то очень важное вспоминал, о чем позабыл сказать.

— Петровский потом уговаривал: “Давай к нам проводником”. Отказался: “Вы — молодые, быстрые, как сайгаки, я — старый. Был конь, да изъездился. Пусть сын к вам идет. Тоже пустыню знает...”

Халелбек посмотрел на отца:

— А я-то все думал: почему отказываешься? С Алексейчиком ходил. Он потом первую карту Мангышлака составил. Геологическую... А с Петровским не хочет? Что такое?

— Старики к старикам тянутся, а молодежь... — Бестибай не закончил, хитро посмотрел на сына. Халелбек покачал головой:

— Потом догадался. Хотел, чтобы я с геологами поработал. Так?

— Не помню... Давно было, — вздернул острое плечо Бестибай. — Ходили люди. Землю нашу нюхали, щупали... Нефть, нефть... А все равно керосин с Эмбы возим.

— Выходит, не первый год нефть здесь ищут, — сказал Саша.

— Еще до войны начали.

— Долго.

— Война сильно помешала, — вздохнул Бестибай. — Люди, что здесь ходили, — не вернулись обратно.

— Да, война... И у нас полдеревни мужиков выбило.

Они замолчали. Впереди вырастал город. Словно чья-то невидимая рука выписывала на серо-голубом холсте белые, розовые, коричневые и разных других цветов и оттенков дома. Между ними проступали робкие пятна зелени. В стороне воздушно просвечивала линия электропередачи.

Желтая дорога втекала в город. Сначала шли дома саманные, за ними — каменные, в два-три этажа. Ветер с моря полоскал на балконах белье, рвал из окон углы пестрых штор. Прохладные тени лежали на асфальте. Из переулка выехала поливальная машина.

За ней, в радужных брызгах, как горох сыпались дети. Одного роста. Словно и впрямь из одного стручка. У овощного ларька хозяйки выбирали арбузы и дыни. Прошла старушка, ведя на поводке дрожащую, на тонких ножках собачку. Сверкая лаком, проехала черная “Волга”. У столовой, на которую Саша выразительно покосился, стояли запыленные грузовики.

— Сначала в больницу, — подсказал Халелбек. — Квартала три прямо. Потом направо.

— Понял, — отозвался Саша.

У тележки с газированной водой Саша всетаки притормозил.

— Попьем?! — и, не дожидаясь согласия, выпрыгнул из машины.

Халелбек открыл дверцу, тоже вышел из газика. Бестибай остался в машине.

Саша уже брэнчал мелочью, нетерпеливо переминался, допытывался:

— Холодная? — Округлил голубые, чуть навекате глаза. — Тогда шесть! С двойным сиропом — три! — и подмигнул молоденькой, с тугими щеками, продавщице.

Первый стакан Саша протянул Бестибаю. Потом — Халелбеку и только третий взял себе. Пил быстро, жадно, захлебываясь. Халелбек сосредоточенно, со смаком выпил один стакан, взялся за другой. Бестибай едва пригубил, держа руку на отлете, разглядывал серебряные пузырьки, собравшиеся на стенках.

— Не понравилось? — огорчился Саша.

— Шербет. Только не пью днем, — объяснил Бестибай. — Жарко. Начнешь пить — до вечера к воде тянуться будешь...

Они подъехали к белоснежному — так блестел на солнце ракушечник — новому зданию больницы.

— Пока съезди, поешь, — тихо сказал Халелбек, будто был не в машине, а в больничной палате, где разговаривать громко не положено.

Бестибай уже стоял на асфальте, отчужденно смотрел перед собой. Саша кивнул, проводил взглядом спутников: Бестибай шел прямо, шагал твердо, высоко вздернув голову в черном колпаке.

Халелбек, ссутулившись, втянув голову в широкие плечи, плелся рядом.

“Переживает мужик,—определил Саша, и прежняя досада на Халелбека, которая, как заноза, еще сидела в нем, прошла.—И чего люди друг на друге зло срывають? Прикипелся в машине... Ни с того ни с сего: “Кизяк везешь?” Ладно. Переживем”.

Когда Халелбек вышел из больницы, газик стоял на прежнем месте.

— Ты чего же... В столовую съездить хотел...

— Потом,—махнул рукой Саша.—Батя как? Что врачи ска-
зали?

— Посмотрят. Подлечат...

— Там, значит, оставили?

— Да.

— Ух, ты... Я и не попрощался. Нехорошо-то как.

В какой он палате?

— В третьей. Легочное отделение.

— Ясно! Я сейчас,— и заспешил к больнице.

Через мгновение вернулся, достал из шоферского ящичка кулек:

— Вспомнил: конфеты же есть. Леденцы! Чаю попьет.— И снова убежал.

Ко всему привыкает человек — потихоньку привык и Бестибай к своему новому положению. В больнице был заведен строгий порядок. Утром будила сестра, совала градусник. Потом давала лекарство, а то и два-три: порошки, таблетки, горькую воду. Называется — мистур¹. Из кухни, что размещалась в деревянной пристройке, доносился запах пищи: уже была готова еда. Затем палаты обходил главный врач — пожилой человек, ненамного моложе Бестибая. Он не спеша, листал бумаги в тонкой картонной папке, потом осматривал больных, задавал короткие вопросы: “Здесь болит? Нет? А здесь? Ага... Дышите... Та-а-ак, не дышите!” С Бестибаем беседовал о детях, которые у врача уже давно имели своих детей, и еще о погоде. “Жарко сегодня, — говорил он, морща

¹ Микстура (искаж.).

белый, незагорелый лоб.— Дышать нечем. Кашель меньше стал? Нет? А вчера? Тоже нет. Угу... Попробуем еще одно средство”.

Он что-то писал на узкой полоске бумаги, строго внушал сестре: “Пять раз в день. Натощак. Проследите”. Уходил, шурша тугим, накрахмаленным халатом. После обхода начинались процедуры, и только перед обедом Бестибай, облегченно вздохнув, шел в другой корпус, где после операции — ему удалили часть желудка, — лежал его друг и сверстник Басикара.

В молодости они оба работали на Туйебая, а во время войны, мобилизованные в трудовую армию,— на одной карагандинской шахте.

Басикара, которого Бестибай помнил рослым табунщиком, сплетенным из одних узловатых мышц и жил, превратился в ниточку — так высосала, изглодала его болезнь. Но язык у Басикары ничуть не затупился, — резал как бритва.

— Совсем, видно, разленился на дармовых харчах,— встречал его Басикара,— Спишь до обеда... Не берешь в голову, что товарищ лежит камнем, ни руки, ни ноги поднять не может. Верно, говорят: друг — это тень: взошло солнце — он рядом; наступила ночь — его не дозовешься.

— Не мог раньше,— оправдывался Бестибай.— Прямо как на шахте — минуты свободной нет. Насилу вырвался. Сходить на кухню за чаем? Не хочешь. Ну хорошо. Давай в шашки сразимся. Тоже не хочешь...

Бестибай замолкал, не зная, чем развлечь товарища.

— Молчишь? — упрекал Басикара.— Язык проглотил? Пришел к другу и слово боишься сказать. А-а-а, в молодости такой же был. Вот и ездили на тебе Туйебай да Сары.

— Что старое вспоминать? Давно ушло.

— Ушло? — вскипел Басикара.— Забыл, как встретились с Сары в Караганде? Он и там тобой командовал!

— В Караганде? Там все одинаковы были. Рубай уголь — давай норму...

— Ну, нет,— наседали Басикара.— У кого ты в гостях сидел? Кто сладким куском угощал, когда и хлеб был недосыта? Разве не Сары?

— Какой сладкий кусок? О чем говоришь? — миролюбиво произнес Бестибай.— Чай с лепешками — это ты вспомнил?

Басикара не отставал:

— Видно, до сих пор не можешь забыть, что Сары тебе новую рубаху дал,— вот и защищаешь его...

Они начинали спорить, пока сосед — старик с узким лисьим лицом — не вмешивался: “Гудите, как мухи. Не языки у вас — жернова...”

Бестибай смущался: “И, правда, вчерашний день искать? Зачем? Только себя растравлять”. Виновато говорил: “Пойду. На обед опоздаю, — медсестра заругает...”

Басикара с трудом отрывал от подушки сухую костистую голову:

— Иди-иди... Каша прокиснет.— Откидывался, махал прозрачной — каждая жилка видна — рукой: “Возвращайся быстрее. Помру, и сосед закроет мне глаза... Чужой рукой...”

Бестибай торопился в свою палату, словно хотел убежать от воспоминаний, которые только что ворошил с Басикарой. Но прошлое цепко сидело в нем, как те патроны в обойме, которые когда-то, обучая стрельбе, подавал однорукий Петровский.

“Пролетарий должен уметь защищать революцию. Нет правой руки — учись стрелять левой!” — и навскидку бил из тяжелого маузера точно в цель. Верблюжий череп, поставленный шагах в тридцати, подрагивая, катился по песку.

Правой рукой Бестибай стрелял хуже, чем Василий левой.

“Опять промазал,— огорчился Петровский.— Говорил: бери под обрез! А ты куда садишь?”

“Попал, — промазал... Зачем это? В кого стрелять? На Мангышлаке даже волк боится человека...”

“Эх, Бестибай, Бестибай... Бойся волков двуногих. Начнем конфисковывать байский скот, колодцы, пастбища — покажут зубы. Не надейся — они-то уж не промахнутся!”

Бестибай верил и не верил. Но не зря говорят: “Богатство дороже отца и матери — собьет с пути и ангела”. Через несколько месяцев, когда Петровского назначили уполномоченным ОПТУ, а Бестибай стал помогать другу, события быстро показали, кто прав.

У колодца Карашикского, где они поджидали кош Туйебая, уходившего от конфискации в Туркмению, ночью напали бандиты. Они, выкрикивая знакомый родовой клич: “Жанбоз! Байбоз!”, крутились на конях как дьяволы, стреляя по силуэтам.

“Уж не Сары ли?” — успел подумать Бестибай, прилаживаясь к стрельбе.

В короткой перестрелке шальная пуля угодила в Петровского. К утру, он скончался, Бестибай завернул тело Василия в свой чапан. Выкопал штыком могилу. Он был ошеломлен: жил человек — и нет. Зачем погиб? Почему?

“Это дело рук Сары,—ожесточенно думал Бестибай.— Попался бы он сейчас...” Но Сары и его сын исчезли, будто стали песком, а Туйебай, когда его прижали, на Коране поклялся, что ничего не знал о ночной схватке у колодца. Кош вернули на зимовку, Туйебая выслали, но еще немало крови впитал мангышлякский песок.

После смерти Петровского Бестибай вернулся в Майкудук. Счастливое время переживала степь: скот, земля, водопой, отобранные у богачей, стали общими, а от работы ни Бестибай, ни такие, как он, бедняки никогда не отвыкали.

Бестибай первым привел на общественный двор единственную свою драгоценность — старую верблюдицу, а потом, удивляясь собственной храбрости, ходил из кибитки в кибитку, уговаривал майкудукцев вступать в колхоз. Ему задавали разные вопросы: “Что будет с детьми? Сколько жен может жить в одной кибитке? Не будут ли запрещать молиться?” Бестибай не знал, как на них ответить: он больше чувствовал, чем знал. Но уверенно говорил, что большевики и рабочий народ исполнят то, о чем не раз толковал Петровский. У всех будет хлеб. Дети научатся грамоте. А камча Сары больше не будет гулять по спинам бедняков.

Майкудукцы кивали головами, но в колхоз вступать не торопились. От зимовки к зимовке ползли слухи: “Большевики против того, чтобы адаевцев объединять в колхозы. Это придумали местные начальники. Надо резать скот. Начальников убивать, пока они не отобрали женщин и детей”. Словно вернулись старые времена — люди оказались опутанными липкой паутиной, а вражда,

недоверие и зависть снова пришли в аулы. Убийцы подкараулили секретаря райкома Шабдуна Ералиева и утопили его в море. В Форту-Александровском, Бейнеу, Шетпе все чаще находили изуродованные трупы коммунистов и комсомольцев...

К весне аулы, перерезавшие скот, стали голодать. “Новая власть хочет уморить адаевцев,— говорили в юртах те, кто еще вчера ловил кости, которые бросали баи.— Надо показать, что мы живы. Или у нас заячьи сердца?”

Аулы вооружились, сели на коней, грозой нависли над степными поселками... Собирались идти на Гурьев.

“Если ты адай — пошли с нами!” — убеждали Бестибая родичи. Но он не колебался: уроки Петровского не пропали даром. Однако и его голод гнал из родного аула. А тут пришло еще одно несчастье: неожиданно умерла сестра, и ее годовалый Жалел остался круглым сиротой. Бестибай съездил, забрал мальчика. Но как прокормить? Второй раз покинул аул Бестибай: нагрузив на верблюдицу пожитки, откочевал с семьей к Каспию. Ставил сети, ловил рыбу, кое-как пережил тяжелую годину, но мальчика выходил.

Тем временем государство помогло голодающим, укрепило колхозы, люди стали возвращаться в родные места, постепенно разбираясь, за что они сражались, кому это было на руку и кто остался внакладе. Вернулся с семьей и Бестибай. Снова привел на колхозный двор верблюдицу. Ему доверили организацию фермы, и он съездил в Туркмению, купил скот и, не потеряв ни одной головы, пригнал в Майкудук. Верблюдоводческое хозяйство крепло. Уже подумывали о создании еще одной фермы, строительстве новых домов, колодцев, электростанции, но началась война...

“Чего только не выпадает на долю мужчины, пока он ходит по земле”, — вздыхал Бестибай. Воспоминания и ночью не отпускали его. Прошедшие годы он видел ясно, словно дорогу в Майкудук: каждый изгиб, поворот, петелька — родные. Только взглянешь — сразу выплывает все, что с ними связано. Твоя радость, боль, друзья, недруги. Пока жив — ничто бесследно не исчезает. Все в тебе, в твоём сердце. Куда бы ни поехал или ни

пошел. Возьми Караганду?! Далеко от Мангышлака, но и там прошлое цеплялось словно репей.

Путь от Майкудука до Караганды зимой тысяча девятьсот сорок второго года даже адаевцам, привыкшим к перекочевкам, немереным степным просторам, показался длинным и трудным. Тряслись на арбах и телегах, плыли морем, ползли в товарных вагонах, шли пешком и только через месяц, студеной зимней ночью, добрались до бараков, построенных рядом с шахтой,— здесь отныне был их дом. Усталые, промерзшие люди, едва войдя в тепло, повалились на голые нары, и многих тут же сморил сон.

— Эй! Вставай! — разбудил громкий голос. В дверях барака, закрыв собой проем, стоял бородач.— Разлеглись! Вы что, в гости приехали или работать? — он язвительно засмеялся.— А ну, поднимайтесь! Каждая группа пусть оставит у вещмешков по человеку. Остальные — марш из казармы! У входа матрасные мешки. Набьете соломой. Одеяло, подушку...— Бородач, видя, что никто и не шевельнулся, замолчал. Потом заорал: — Вы что? Оглохли? Или неживые? Кому я говорю?

Десятки глаз равнодушно смотрели на него.

— Да вы откуда такие? — бородач едва не захлебнулся от злости.

— С Мангышлака и с Бузачи,— отозвался старческий голос.— Слыхал об адаях?

Бородач всмотрелся в говорящего: на нарах лежал худой старик.

— Адай? — в голосе бородача просквозило удивление.

— Да. О нас говорят: “Я адай, коль узнать меня смог. Не узнал — так и знай: я твой бог!” — горделиво проговорил старик, поднимаясь с нар. Он был одет в широченную купу¹, в которую можно было свободно завернуть трех таких, как он.

— Посмотрите на него: адай! — ухмыльнулся бородач.— Шахта проверит, кто ты. Она и не таких видела. Это тебе не пески. Так и знай!

— Не пугай своей шахтой,— в тон ему ответил старик.— Нас и Майликудук не взял!

¹ Вид зимней одежды.

Адаевцы, прислушивавшиеся к разговору, засмеялись. Майликудук знал каждый: это был один из самых глубоких колодцев на Мангышлаке.

Чернобородый неожиданно сбавил тон. Ткнул пальцем в лозунг, висевший на стене барака: “Шахтер, помни! Каждая тонна угля, добытая тобой, приближает день победы!”

— Понятно?! Марш из казармы — баня ждет! Одежду сдадите на дезенпек¹, чтобы заразу вывести. После бани — выдам новую. Потом к врачу, — и добавил складную фразу: — “Чистота — залог здоровья!”

— Погодите, погодите, уважаемый, — врезался в разговор проснувшийся Басикара. — Не крутите языком, словно кобыла хвостом, когда ее жалят оводы. Или наши головы — пустые казаны: что ни скажешь — все туда влезет?!

— Ишь ты, только приехал, — бородач недовольно затряс головой, — а уж указывает. Слушай, что тебе говорят, и делай!

Бестибай наклонился к Басикаре: “Скажи ему: чаю бы попить. Промерзли все”.

Бородач услышал, сверкнул глазами:

— Нашли время! В бане согреться.

Самый старший из всех — Нурлан-ага, не выезжавший с Мангышлака дальше Бейнеу, переспросил: “Где согреемся?”

Сосед его, тоже не поняв хорошенько, о чем шла речь, объяснил по-своему: “Горячий источник... Соленая грязь как рукой все боли снимет”.

Бородач заколыхался от смеха:

— Ну и знатоки! “Так и знай: я — твой бог!” — передразнил он того старика, что первый заговорил с ним. — Баня — жаркий дом. В нем совершите омовение горячей водой. Дошло? Чаю попьете после. Титан с горячей водой в соседней комнате.

— Хорошо! — обрадовался Нурлан-ага. — Всю дорогу щепоток² брали из крана, а здесь он в кисане³.

— Нам все равно: кисан, кран — был бы чай, — кивнул сосед.

¹Дезинфекция (искаж.).

²Кипяток (искаж.).

³Титан (искаж.).

— Шевелитесь! — скомандовал бородач.— Потом поговорите.

С самого начала пути майкудукцы держались вместе. Спали рядом, еду сложили в общий котел, помогали друг другу, чем могли: возраст у многих почтенный, хотя по документам почти все ровесники.

“Документ” — сказано, конечно, громко. Вместо паспортов, которые не успели выправить перед войной на Мангышлаке,— бумажка с печатью аулсовета, где указаны имя, фамилия, год рождения. Впрочем, и эту бумагу сопровождающий забрал еще в Форту-Шевченко.

Возраст каждого определяли секретарь и председатель аулсовета. Бестибай, одним из первых пришедший записываться в трудармию, сначала получил отказ:

— Еще чего? А кто за тебя верблюдов пасти будет? — отрезал председатель аулсовета.— Знаешь, какой большой план по шерсти и мясу?!

— Можешь и ты пасти,— спокойно возразил Бестибай.— Или печать в кармане стала такой тяжелой, что на лошадь не залезешь?

— Я сяду. А вот ты после трудармии, может, и лежать не сможешь, — обозлился председатель и внес Бестибая в список.

В комнату вошел Нурлан-ага, поздоровался, кряхтя и охая, сел на скамью.

— Почему меня обидели? — начал он.— Все идут в армию — а я? Что скажу детям, когда вернутся с войны?

— Нурлан-ага, если вас не будет, кто поддержит огонь в вашей кибитке? — сказал председатель, покусывая, жидкий ус.

— А моя байбише?¹ Она тогда на что годна?

— Так она же слепая.

— Полглаза видит. Воду варить — больше не нужно,— рассудительно заметил Нурлан-ага.— Пиши меня, если не хочешь прогневить аллаха.

Председатель колхоза Такежан — толстый, бритоголовый, в

¹Старшая жена.

зеленом френче — долго изучал список, составленный секретарем. У одной фамилии сделал отметку твердым ногтем:

— У Кангеря девять детей. Его внесли, а бездетного Тыная — нет. Почему?

Секретарь аулсовета, мальчик, еще ходивший в школу, тихо пояснил:

— Тынай инвалид. Одна нога короче другой.

— Язык бы ему укоротить. Надоел своими придирами. Пишите! Пусть в трудармии жалуется.

— Закон нарушаешь,— сказал председатель аулсовета, доставая из ящика стола захватанную бумагу.— Написано: больных, инвалидов не брать!

— Инвалид! Для токал¹ годится — значит и для трудармии сойдет.

— Нехорошие мысли, Такежан. Уж не хочешь ли погреться в чужой кибитке? — тонко заметил председатель аулсовета.

Распахнулась дверь, и вошел сам Тынай. Не поздоровавшись, крикнул с порога:

— Давай пиши меня! А то найду на вас управу!

Председатель аулсовета развел руками:

— Дорогой Тынаке, ты, как всегда, легок на помине. Только о тебе говорили. С радостью бы записал, да председатель колхоза возражает: как хозяйство останется без тебя? Твой язык чище метлы навоз метет!

Все засмеялись, а Тынай пулей вылетел за дверь.

Бестибай слушал, постепенно догадываясь о самом главном: никто из тех, кто приходил в аулсовет, не сказал: “Не могу ехать!” Адаевцы, чьи предки не зря слыли мужественными, гордыми людьми, в тот момент, когда родине угрожал враг, не думали о своих недугах и заботах. Удивительное родство со всеми, кто сидел с ним в аулсовете, чувствовал Бестибай. Это были близкие люди, которых не изменит и не разлучит с ним никакая беда. Бестибаю было просто и хорошо, словно забытая молодость возвратилась к нему, и уже навсегда.

¹Младшая жена.

Еще, по пути в баню Бестибай шепнул Басикаре:

— Где-то я видел этого бородача? И голос знакомый.

— Глотка медная,— прошипел Басикара.— До сих пор в ушах звенит.

— Голос как у Сары. Да и сам похож на него,— осторожно добавил Бестибай, но товарищ поднял его на смех.

— Для мыши нет зверя сильнее кошки. Увидели мужика с луженой глоткой — и сразу Сары замерещился. Ты что, тамыр? Совсем... Кости Сары, поди, уж давно шакалы растащили.

— Злые живут долго. Может, еще ходит по земле...

— Видно, твои мозги в спине,— съязвил Басикара.— Помнят камчу Сары...

Но прав оказался Бестибай. Едва они, вымывшись, вышли в предбанник, как из клубов пара возник бородач:

— Кого вижу! Земляки-жанбозовцы! Я вас только голыми и узнал! — гаркнул он.— Салам алейкум, Бестибай, Басикара... Чего молчите? Не узнаете? Сары, сын Жанбоза!

— Как не узнать, — нахмурился Бестибай. — Разрежь змею на три части, все равно змеей останется.

Сары и ухом не повел.

— Надо же, где пришлось встретиться! В Караганде! Рад, что живы-здоровы! — Сары говорил, а сам внимательно следил, как подросток раздает чистую одежду. — Дай-ка вон тот мешок! — приказал он ему. Достал рубахи, штаны, передал землякам: — Берите, берите... Почти новые! Хоть этим родичей своих пораду.

Басикара, глядя, как его довольные товарищи примеряют обновы, заметил:

— Хоть в аду гори, но пусть его сторож будет твоим знакомым.— Но рубахи и штаны из рук Сары тоже взял.

Вечером Сары пришел в барак. Он уже не кричал, не командовал, как утром: не очень уверенно поглядывая на земляков, попросил разрешения сесть.

— Садись, садись,— дружелюбно откликнулся Нурлан-ага.— Давно не виделись. Поговорим...

Тут же встрял Басикара:

— Давно охота узнать: куда ты сбежал после смерти Петровского?

Сары отвечать не спешил. Уперев громадные руки в могучие колени, обвел взглядом земляков. Жилы на шее вздулись, лицо побагровело, будто катил в гору камень. Бестибай смотрел на Сары и видел за его спиной жирное лицо Туйебая. После гибели Петровского они пришли к нему и спросили о Сары. Бай безразлично ответил, перебирая четки: “Кто мне Сары? Брат? Сын? Пропал куда-то...” “Но ваш сын водился с Сары?” Заплывшие глазки Туйебая сверкнули. “Нет у меня сына. Разве волчонок бросает в беде волчицу...”. “О какой беде говорите? Что заставило вас откочевать? И куда вы шли?”. “Скот для казаха — дороже жизни. Джайляу захватили мужики. Колодцы — тобыр¹. Кому-нибудь надо было уходить. Или умереть”, — угрюмо сказал Туйебай. “Умереть? Но советская власть никому не даст погибнуть от голода. Только надо трудиться, как рабочие и крестьяне”. “Чужое у чужих, а мое — пусть будет при мне”, — покачал головой бай.

И вот через много лет судьба свела Бестибая с Сары. Что тот скажет?

— Не знаю, с чего и начать, — выдавил из себя Сары. — Столько всего было...

— Начинать — так с правды, — подсказал Басикара.

— Эх. Басикара! Все злишься на людей, — укорил Сары. — Не потому ли аллах и не дал тебе сына...

— Раньше камчой учил, теперь — словами, — ощерился Басикара, которому в прежние времена за острый язык доставалось от Сары больше других.

— Теперь я, как и ты. — пролетар²! — с достоинством произнес Сары.

— Видали? — захлебнулся Басикара. — Шкуру спускал, а теперь тоже... Пролетар...

¹ Бедняк, голодранец.

² Пролетарий (искаж.).

— Дай ему рассказать, — попытался урезонить Нурлан-ага. — За вину Исы не хватай Мусу.

Сары помолчал, негромко продолжал:

— Как узнал, что Петровского убили в песках, — уехал в эти места. Боялся: вдруг обвинят меня? Как докажу, что не был у Карашиковского? Ведь все знали, кому я служил! Где только не работал, чтобы прокормиться. Ведь у меня жена, дочка... Уголь грузил, конюшни чистил, кочегарил. Спасибо советской власти: не оттолкнула меня, научила, как надо правильно жить.

— Верно, говоришь! — одобрил старик, что первый заговорил утром с Сары. — Сразу поняли: достойный человек. Умеет командовать!

Сары не заметил подвоха, обрадовался:

— Э-э-э, разве это прежнее? Бывало, запряжешь в кошевку гнедых, надвинешь на лоб лисий малахай, шубу запахнешь и в уезд. К начальнику! Дверь ногой откроешь: “В Бейнеу будет волостным не сын Теня — Карабала, а сын Жанжака — Туйебай!”

Все захохотали. Басикара — обиднее и громче всех. Сары поперхнулся, враз вспотел, сообразив, что сболтнул лишнее.

— Чего только не придет на ум, когда начнешь вспоминать старое, — пытался он оправдаться. — Клянусь хлебом — давно забыл... Да и гроша те годы не стоят! Лошади, шуба, жирный кусок в казане — разве мое? Черная лепешка, политая своим потом, — самая мягкая, самая сладкая.

Бестибай слушал Сары, и смутное чувство охватывало его. Неужели вот этого человека, в бороде которого сейчас было не меньше седых волос, чем в его, он боялся и ненавидел? Почему же сейчас в душе нет ни страха, ни желания отомстить или унижить его? Одно лишь горестное сожаление, что лучшие годы потрачены, что не видел настоящей жизни из-за таких, как Сары да Туйебай...

В окошко барака через круглое оттаявшее пятнышко светила морозная ночная звезда, и Бестибай подумал: может, там, на фронте, где смерть дышит сыну в лицо, Халелбек смотрит на эту же звезду, и пусть она охранит и сбережет его для жизни, которая будет счаст-

ливой и радостной. Такой, как хотел Петровский и его товарищи — большевики. Но для этого надо победить. И разве ехали они с Мангышлака через полстраны, чтобы трясти давние годы, которые рвутся, трещат под руками, едва только прикоснешься к ним, словно перепревший потник?

— Значит, дочка у тебя растет,— кротко сказал Бестибай.— А сын? Где твой Бегис?

— И сын здесь... Все вместе живем. Он начальник шахты, на которой вы будете работать...

Молчание повисло в бараке. Даже Басикара не нашелся что сказать. Подумать только: сын Сары — командует шахтой! И они будут работать под его началом!

Сары сразу сообразил, что поразил земляков. Горделиво пояснил:

— Бегис учился в России. Анженер¹!

— Анженер?! Верно, он ровесник моему Халелбеку... А почему Бегис не на фронте? — спросил Бестибай.

— У него бронь.

— И у Халелбека была бронь... Он нефть добывал. Сам ушел. Добровольно.

— Советская власть знает, кому доверить оружие,— выпалил Басикара.— Отец и сын из рук одного бая ели...

— О аллах! Ты видишь, как я был терпелив,— воздел ладони вверх Сары.— Но и терпению приходит конец! Эта муха жалит, как песчаная змея!

Поднявшись, Сары сделал шаг к Басикаре.

— Хочешь заткнуть мне рот?! — прохрипел Басикара.— Попробуй! Старое время, когда мог бить, убивать, не вернется!

— Кого я убил? Чего мелешь?

— Разве не ты? Не твои шакалы напали на Петровского? Разве не ты, как пес, защищал чужое добро?

Сары и Басикара стояли, сжимая кулаки. Казалось, сейчас они вцепятся друг в друга, клубком покатаются по полу. Бестибай встал между ними:

¹Инженер (искаж.).

— Сары! Басикара! Вы что? Разве сейчас время... Я был с Петровским в ту ночь и клянусь: мои глаза не видели Сары!

— Вот! Свидетель! — заорал Сары.— А этот полоумный... Давно, где надо, разобрались...

— Ничего, еще узнают, кто ты такой,— пригрозил Басикара.— А старые повадки брось. Никто тебя не боится.

Он медленно подошел к грубому столу, стоящему посреди барака, залпом выпил кружку воды.

Сары сел на нары, будто у него ноги подкосились.

— Да, служил Туйебаю... Но в чем обвиняют сына? Ему и так трудно пришлось. Не вы первые, кто корит Бегиса, что...— Сары смешался, потерял мысль.—Я-то... Обрадовался землякам. Хлопотать собрался, чтобы нашли работу полегче... Разве сын за отца ответчик?

Он снова вскочил. Большой, грузный, заходил по бараку, ожидая, что кто-нибудь хоть слово скажет в его поддержку.

— Петровского убили — Сары... Сына на фронт не взяли — Сары виноват... Бегис день и ночь не вылезает из шахты... Он — большевик...

— Успокойся. Думаешь, почему Басикара так говорил? Жгут спину удары твоей камчи... Такое не забывается. Ладно, хватит об этом. Лучше скажи, почему ты сам-то здесь? — как можно мягче сказал Бестибай.— Мог бы и дома сидеть...

— Да за кого вы меня принимаете? — опять вспылил Сары.— Что у меня, рук-ног нет? На сыновьей шее сидеть? Враг под Москвой! А я — чай гоняй! Как язык поворачивается...

Сары замолчал. Пошел к двери. Никто не остановил его, не сказал слово прощания.

— Поговорили! — хмыкнул Басикара.— Правда глаз колет, вот и разбушевался, словно нехолощенный верблюд. Да стать уже не та!

— Сары с земляками пришел повидаться, а мы...— Бестибай укоризненно покачал головой.— Разве так встречают гостя?

— Хорош гость! Жалеешь, что и тебя в песках не шлепнули? Волком был — им и остался.

— Какой он волк. Такой же, как и мы.

— Ослеп, что ли?! Не видишь: шапки Сары и Туйебая из одного войлока. Пусть аллаха молит, что унес ноги с Мангышлака, а сегодня — из барака.

Разве Басикару переспоришь?

Утром трудармейцам объявили, что они будут работать на шахтном дворе. Старики заволновались: “Не затем ехали тысячу верст, чтобы снег собирать. Наши дети на войне, а мы прохлаждаться будем?! Что за несправедливость?” И настояли на своем: все как один спустились в шахту. Первые смены показались особенно тяжкими. Степняки, привыкшие к простору и размеренной жизни, неспешно следующей за временами года, с ходу должны были включиться в железный ритм военной Караганды. Молча, скрывая друг от друга усталость, недуги и страх — не многие прежде спускались в колодцы глубже сорока — пятидесяти метров! — старики добирались до барака и валялись как подкошенные. Бестибай и Басикара были моложе остальных, да и тяжелый труд не в новинку, но работа под землей изнуряла так, что вечером думалось: завтра никакая сила не поднимет на смену. Но наступало утро,—и снова шли в забой. Понемногу втянулись, и Басикара уже подшучивал над собой: “Вагон с углем сошел с рельсов. Что делать? Эх, вернуть бы мне молодость, когда верблюжонка из колодца одной рукой вытаскивал... Оказывается, и без молодой силы обойтись можно. Надо только железкой подцепить вагон сзади, а потом спереди—и все. Разум силы прибавляет”.

Нурлан-ага степенно рассказывал: “Вышел в ночь... Принял смену — часа через два насос, поднимающий черную воду из шахты, закашлял. Пока будил старого Микалая — насос и кашлять перестал. Забой в воде. Меня ругают. Оказалось, простое дело: винт поверни, — и насос сильнее начнет выплевывать грязь. Вроде как за бесбармаком. Подавился — пусть ударят по шее...”

Бестибай о себе не распространялся. Помогая крепильщикам, он впервые услышал, как садится кровля. Лег на уголь, закрыл голову руками, прощаясь с жизнью. Бригадир хлопнул по плечу: “Заболел? Нет! Тогда кончай отдыхать! Кто за тебя работать будет!” Бестибай поднялся. Ноги как ватные. В голове гудело, топор

выскальзывал из рук, словно смазанный салом. Понемногу обтерпелся, но еще долго снилось: вот-вот задавит его земля, и он, обмирая, просыпался в поту, медленно возвращаясь к жизни.

Недаром говорится: решил до края земли добраться — дойдешь. Как ни трудно приходилось старикам, ни один не попросился обратно на поверхность. Сары наблюдал за земляками, когда они приходили в баню, и он выдавал им чистую одежду. После резкого разговора в бараке Сары ни к кому не подходил, на вопросы отвечал неохотно, будто чужой. Все же не выдержал: как-то вечером снова зашел в барак, пригласил родичей к себе в гости. Басикару и Бестибая — тоже. “Приходите. Посмотрите, как живу...”

После низкого, полутемного барака квартира начальника шахты показалась хоромами. Отдельный домик из пяти комнат и в каждой чего только нет! Шкафы, зеркала, столы, сундуки, полки, стулья, кровати, тумбочки... И для чего столько добра?

Сары принимал гостей в самой просторной, средней комнате, которую назвал “залом”. Познакомил с молодежкой тихой женой, невесткой, которая работала в школе учительницей, дочкой Таной и двумя внучатами. На столе, несмотря на трудное время, были свежие лепешки, масло, сахар и даже казы¹. Только принялись за бесбармак — пришел сын Сары, Бегис. Трудармейцы, наслышавшись в шахте, что “начальник дело знает, но крут”, и, помня тяжелую руку Сары, которая, как знать, может, передалась сыну-начальнику,— притихли. Но внешне Бегис на Сары похож не был: невысокий, худой, голос тихий, движения робкие. Он больше слушал, чем говорил. Но вопросы задавал толковые: каждого расспросил про здоровье, едят ли из дома, не нужно ли чем помочь... Старики остались довольны, хотя Бегис побыл за дастарханом недолго: извинился, что снова надо идти на работу, и, простясь, ушел. Старики остались за чаем одни. Сары, наклонившись к Бестибаю, но так, чтобы слышали все, как бы между делом сказал:

— Завтра спускаюсь в забой!

Бестибай с любопытством посмотрел на него:

¹Копченая жирная часть брюшины.

— Что там потерял? Мы-то издалека ехали...

— Говори прямо: чего мне не хватает? Сын — начальник. Дом есть, токал под боком, дочь... Сары снова сел на своего конька.

— Не кипятись. И ты бы спросил...

— Проклятая война когда-нибудь закончится. Вы вернетесь на Мангышлак. А я?

Басикара, который весь вечер сидел молча, как воды в рот набрал, — все-таки в гости пришел! — не выдержал:

— Слышите? Сары думает, что, если он под землей не работал, его в родной аул не пустят.

Сары блеснул глазами, но сдержался. Как можно спокойнее пояснил:

— Не в том дело. Попреков не хочу. Тот же Басикара первый закричит: “Мы уголь рубали, а он грязные подштанники тряс”.

— И твоя работа нужна,— дипломатично заметил Нурлан-ага.

— Человек и птица летят в те места, где родились,— сказал Бестибай.— Правильно решил, что домой вернешься.

— Караганде не сравниться с нашим Мангышлаком. Закончится работа — ни дня здесь не останусь,— сказал Кангерей, который очень скучал по своей большой семье.— Одна мечта: спустить на родную землю и умереть.

— Посмотрим, согласишься ли помереть в тот день, когда приедешь в Майкудук,— ехидно заметил Басикара.— Даю руку на отсечение — передумаешь... А вот Сары давно пора спуститься в шахту. Не знаю, как другие,— я за это.

— Почему? — раздалось несколько голосов. Басикара прищурил глаз, обвел комнату, всматриваясь в обстановку:

— Взгляните: какой дом, сколько вещей! А раньше? Жил за спиной Туйебая, барымтачил, да ждал, когда его позовут за байский дастархан. Где справедливость? Нет, хочу видеть, как Сары потеет рядом со мной, бросая уголь. Тогда хоть раз в жизни мы с ним сравняемся. Хотя нет! Вру! И тут он обгонит меня... Вспотеет больше. К лопате-то непривычный.

Все засмеялись. И Сары тоже.

— Видно, этот шайтан не отстанет от меня до самой смерти.

— добродушно сказал Сары.— Придется попотеть. Не то засмеют.

— Давай-давай,— загорелся Басикара.— Приходи пораньше — научу лопату держать: брать больше — кидать дальше...

Выходили из дома Сары довольные тем, как он их принял. Но Басикара испортил всем настроение. Не отошли и трех шагов, как начал причитать: “Эх, жизнь... До седин дожил, а ума не нажил. Вон Сары — умный человек. Не зря в байских кибитках по коврам ползал. Дал сыну образование — и теперь сам важнее любого бая. Безмозглый ты, Басикара! Родных детей держал на привязи у кибитки, чтобы и они, как ты, ничего, кроме кизяка, не видели. Как это наши ягнята покинут дом?! Да их волки заедят! А Сары не побоялся. Кто же оказался в дураках?”

Старики шли, молчали, думая о том же. Да и что скажешь? Как ни крути — прав Басикара.

— И дочери хочет дать образование,— вздохнул Бестибай.— В русской школе его Тана учится.

— А что? И даст! Закон один: любой может стать образованным, если голова на плечах. Из девчонки толк выйдет: маленькая, а как ловко чай наливает,— заметил Басикара.— Вырастет — на наших джигитов, и глядеть не захочет. Скажет: необразованные...

“Где теперь Сары? Ни слуху, ни духу! Давно война кончилась, а он так и не вернулся на Мангышлак,— думал Бестибай, ворочаясь на скрипучей больничной койке.— Может, умер Сары? А может, живет себе припеваючи в Караганде или другом месте? Чего искать, если дети и внуки рядом...”

Дети, дети... Как хотелось, чтобы Жалел получил образование, раз уж Халелбеку не удалось. И сбылось: в самой Москве закончил институт приемный сын, которого все, и прежде всего Бестибай, считали родным. Надеялся, крепко надеялся, что Жалел будет с ним рядом под старость. И кажется, все к тому шло: вернулся после института на Мангышлак. Начал работать. Нашел нефть в Жетыбае. Уважаемым человеком стал. Но съездил в Алма-Ату — как подменили сына. Ходит сам не свой. Ждет чего-то. Снова поехал в столицу и не вернулся. Написал, что в министерстве предложили место...

В чем же ошибся? Или другое время, другие дороги у сыновей?

Не спалось. Ворочался Бестибай на кровати, словно не на тюфяке лежал, а на остром ракушечнике. Голоса, лица, обрывки разговоров — то, что было его жизнью, вставало перед ним.

...Голубоглазый Петровский смотрит на Бестибая строго и пристально. Кровь заливает лицо. Шевелятся черные губы, но не разобрать, что хотел сказать друг в последнюю минуту...

...Плачет, надрывается голодный Жалел, которого увозит верблюдица. Надо же догнать ее, остановить. Ноги как не свои. Будто не из костей и жил — из глины. Уходит пепельно-желтая аруана. Покачивается в люльке сын, зашедшийся от крика. И не подняться, не догнать...

...А на грудь давит уголь. Трещит крепь, под которой он схоронился. Как спички, ломаются бревна. Завалит сейчас. Дышать нечем. Конец...

Приступ кашля вырывал Бестибая из большого кошмара. Сиделка успокаивала, давала подушку с кислородом, потом порошки. Старик забывался в полусне-полуяви.

Утром на обходе врач, как казалось Бестибаю, дольше, чем у других больных, сидел у его койки. Бестибай слушал успокаивающие слова, но все меньше и меньше понимал, что с ним происходит: выздоравливает он или уже не выйдет из этой больницы? Врач говорил бодро, но темно и непонятно, и только разговоры о детях и погоде были как дуновение прежней жизни.

— Побольше двигайтесь. Волнуйтесь поменьше. Если сын придет — пусть обязательно заглянет ко мне...

За все время Халелбек только раз вырвался к отцу. Какой это был счастливый день! Сын приехал с женой Жансулу и внука привез — крепенького, точно мальчик, малыша. Вчетвером они сидели в больничном дворе, и внук не отходил от Бестибая, пел как жаворонок, вспоминая Майкудук, где дед катал его на верблюдице. Спрашивал: не приходила ли мышка, для которой он сынал крошки?.. Не отросли ли у саксаула такие же листья, как у тополя, росшего под окнами больницы? Когда пришло время прощаться, внук прижался к нему, и старик долго не отпускал малыша от

себя. Словно боялся, что тонкая ниточка, то живое тепло, которое еще связывало его с жизнью, вот-вот прервется. Он ласкал упругое тельце, ощущая его как продолжение себя, всего их рода, чьи истоки теряются в тумане. Чувство это было столь острым, что, как Бестибай ни крепился, слезы полились из глаз, и он, стесняясь, глядел вниз, чтобы ни сын, ни невестка — никто не заметил его слабости.

— Врач сказал, что поправляешься,— между тем говорил Халелбек.— Так что на новом месте обоснуюсь, — и ты как раз выйдешь из больницы...

Отец кивал, но сын чувствовал: не верит! И чтобы отвлечь его, снова рассказывал о делах, повторяя то, что Бестибай уже слышал: Тлепов уговорил Халелбека переехать в Узек. Не вся бригада согласилась на это, но, в конце концов, большинство решило: едем! На днях двинутся на новое месторождение.

Перед уходом они зашли в палату к Басикаре. Тот обрадовался:

— Иди-иди, сынок. Поближе. Хоть живого человека потрогаю. Видишь, в кого мы превратились? На лежачего верблюда и то не взгромоздимся. А если поднатужимся и сядем — все равно, пока он поднимается, слетим на землю. Почему? Да все от безделья. Едим, спим, языки чешем. Нет, надо выбираться отсюда, пока скелет держит...

Бестибай, слушая товарища, немного повеселел. Если уж Басикара засобирился домой, то ему и подавно пора из больницы выбираться. Халелбек на новое место переезжает — помочь надо. Или он не адаевец? Из другого теста, чем Басикара, слеплен?

Да, вовремя сказанное слово и рану лечит. Когда еще ходили караваны, с ними обязательно шел остроумный человек: длинная дорога кажется короче. Коли же беда нагрянет, так ее и пережить легче с неунывающим острословом.

Басикара расспрашивал Халелбека о новостях, и тот охотно рассказал о предстоящем переезде, о новой буровой вышке высотой в сорок один метр, которую дают его бригаде; о молодых строителях, что, по призыву комсомола едут на Мангышлак, чтобы построить в Узеке поселок.

— Выходит, коня еще не оседлали, а уж за призом руку тянете,— ворчливо заметил Басикара.

— Какого коня? — не понял Халелбек.

— Такого. Нефть не нашли, а уж деньги на клубы да дома вовсю тратите. Могли бы в юртах да палатках пожить...

Халелбек не согласился:

— Теперь другое время. И молодежь другая. Надо, чтобы и клуб, и столовая, и чтобы артисты приезжали. Хотят жить в пустыне, как в городах жили...

— А если нефти не найдете? Кому нужен, будет ваш город?

— Перспективы хорошие. На Узек геологи и нефтяники республики надеются крепко,— повторил Халелбек слова Тлепова, сказанные им на производственном совещании.— Теперь важно оправдать...

— Рядом с Узеком — вода хорошая, — перебил сына Бестибай.— Недалеко от сопки, что похожа на голову жеребца, — колодец. Креплен саксаулом, а верх выложен ракушечником. Два каравана могли вволю напиться. Так что хватит воды на первое время...

— Вот скажи,— зашевелился Басикара,— как раньше воду без всяких твоих железных вышек находили? Или люди были другие: сквозь землю видели?

Халелбек пожал плечами.

— Не знаешь? Тогда вези нас в Узек — научим. Быстрее вас нефть отыщем. Как, Бестибай? Или ты в больнице зимовать собрался?

— Какая здесь зимовка. В Узек поеду.

— Наконец-то слышу дельные слова. А то про сны да, про еду, все толкуешь... Значит, в Узек? Тогда не забудь врачу сказать, что тебя и меня позвали нефть искать.

Басикара сел на постели, спустил с кровати худые синеватые ноги.

— Не хочу, сынок, чтобы видел меня лежащим. Покачиваясь, словно, по палате свистел ветер, сшибающий с ног, Басикара добрал до дверей, задержал руку Халелбека в своей — легкой, почти бесплотной ладони. — Если что не так сказал, — не обижайся. Такой уж уродился. Сколько ни стирай черную кошму — белой она не станет... Найти что-нибудь доброе в жизни — человека.

коня, нефть — не просто. Только злое само в глаза лезет. Верно, тамыр? Хотя это мы с тобой поняли в жизни... Халелбек возвращался в Жетыбай, думая об отце и Басикаре. Какие люди! Еле дышат, а не ноют, не жалуются. Встретишь иного — так он только о своих болячках твердит, будто весь свет клином на них сошелся. Нет, уж лучше как отец. До конца держаться, не показывая никому, как тебе тяжело.

Еще думал об Узеке. Заладится ли там работа? Удастся ли получить хоть какую-нибудь крышу, чтобы забрать отца и мать? Почему-то он был уверен: на новом месте надо обосновываться основательно и надолго.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Самолет из Алма-Аты в Форт-Шевченко летел с опозданием на пять часов. Быстрые, легкие грозы бушевали над землей. “Ил-14” обходил ненастье, но оно стремительно, словно играя, забегало вперед, захватывало машину, и снова начиналась болтанка. Пассажиры зеленели, с тоской поглядывали в окошечки-блистеры, за которыми грозно проносились свинцовые с лиловым подбоем облака. Тоненькая, стриженная под мальчика стюардесса — так было модно в то лето — не успевала разносить минеральную воду, таблетки аэрона, хрустящие плотные пакеты...

Жалела, не укачивало, только нестерпимо хотелось курить. Но он смотрел на измаявшихся пассажиров и ждал очередной посадки. Наконец самолет долетел до Гурьева. Еще один бросок — и Мангышлак.

Жалел, поклонялся по тесному уютному аэропорту, купил местную газету. На первой странице в передовой говорилось об освоении нефтяных и газовых месторождений Мангышлака, о том, что разведочное бурение начинается на новой площади — в Узеке.

“В наступление на пустыню двинулись опытные нефте-разведчики и мощная техника, которую прислали рабочие Москвы, Ленинграда, Свердловска, Минска, Баку... Идут в бой, если говорить военным языком, обстрелянные солдаты, сержанты и офицеры, решающие судьбу сражения. В годы войны многие из них работали на промыслах Эмбы и Гурьева. Самоотверженно, не щадя себя добывали “черное золото”. После войны освоили новые кладовые нефти в Каратоне, Кошкаре, Мунайлы. Выросло и новое поколение нефтяников. Уже не только отцы, но и их сыновья шагают сегодня в рядах тех, кто приехал покорять “полуостров сокровищ”. Грандиозная битва за большую казахстанскую нефть разворачивается в пустыне. Сегодня Мангышлак — передовой фронт пятилетки!”

Жалел, дочитал статью. Если не обращать внимания на цветистый стиль, то, в общем, все верно. И про новую технику, и про наступление на Узек. Только вот кем ему себя считать? Сержантом, офицером? В масштабах Узекской экспедиции он главный геолог,—

офицер. А по министерским? Сержант? Или уже тянет, по крайней мере, на младшего лейтенанта?

Усмехнулся. Улыбка у него была обаятельная: крупные, ровные зубы прямо светились на смуглом лице. Проходившая мимо стюардесса натянуто улыбнулась в ответ. В улыбке не было ни радости, ни веселья. Один расчет — чтобы заметил ее. Явно кокетничая, произнесла: “Прошу вас на посадку! Не отстаньте, молодой человек!” Стюардесса шла к самолету, и улыбка все еще держалась на губах злого, грубого рта. Девушка полагала, что высокий, с шапкой курчавых волос парень смотрит ей вслед, и потому старалась изо всех сил быть естественной, двигаться непринужденно, так, как учили на аэрофлотовских курсах, которые окончила недавно. Но выходило деревянно, будто руки, ноги, шея, спина принадлежали разным людям. Поднимаясь по трапу, она оглянулась: симпатичный пассажир жадно докуривал, уткнувшись носом в газету.

...И почему так? — думала она тоскливо. Познакомится с парнем, два-три вечера проведет с ним... И все. Проваливается парень как сквозь землю... Что в ней такого?.. Она шла по узкому проходу. Из-под кресла высовывались мешки, банки с вареньем.

“Кто поставил? Немедленно уберите!” — сказала она визгливым, пронзительным голосом. Сухонькая старушка засуетилась: “Милая, это — варенье. Внукам... Разобьется...” “Куда хотите девайте. Не положено! А то высажу!” ...Самолет летел над морем. Светило солнце. Небо было чистое-чистое. Внизу ворочался Каспий. Зеленый, тяжелый, словно налитый ртутью.

“Нависнет ли пламенный зной иль, пеняшь, расходятся волны, два паруса лодки одной, одним и дыханьем мы полны...” Чуть картавящий нежный голос Гульжамал звучал в нем. Она любила эти стихи. Часто повторяла: “Два паруса лодки одной...” Щемящий холод сжал сердце: лучше не вспоминать, не думать. Уехал — отрубил. И кончено! Но все тот же голос неотвязно звучал рядом: “И в ночи беззвездного юга, когда так привольно-темно, сгорая, коснуться друг друга одним парусам не дано”. Не дано! Есть слова и пострашнее: никогда, навсегда. Ушла, уткнула его любовь. Ушла? Или сам отдал? Ушла, отдал — какая теперь разница?

Кто-то сказал: мы делаем любимых похожими на самих себя. Потом удивляемся двойникам. Но разве он сделал ее такой? За два года? С той первой встречи день за днем, капля за каплей, слово за словом внушал, долбил, талдычил, что можно жить с нелюбимым и уйти от того, кого любишь? Чушь! Не было и не могло быть. Она — сама... Сама хотела и добилась своего. Не признавалась, лгала. Себе, ему, всем. Но все равно открылись неприглядные, грязные кулисы... Не любила. Притворялась. Два года. Какая актриса выдержала бы столь длинную роль...

Нет, будь честен — она не лгала. Ни разу не поклялась, что будет верна вечно. Говорила: “Как хорошо с тобой”. И еще: “У любви нет завтра. Только сегодня. Понимаешь?” Он смеялся: “Чудо-человек! Разве завтра не увидимся? Не повторятся те мгновенья, ради которых и стоит жить?” Как она была нежна, растворяясь в каждом миге! Зачем он уехал? А что делать? Вернуться, плюнув на самолюбие? Только бы быть с ней, слышать ее голос, пережить все снова, снова... Постой, чего ты хочешь? Счастья, украденного у другого? Нет, он не допустит, чтобы вся его жизнь перепуталась. Или — или... Третьего не дано. С Гульжамал нет будущего. И не было никогда. Она знала об этом с самой первой встречи, потому и твердила: “Только миг! Один миг!” — покачивая маленькой золотистой головкой. Как в тот вечер, когда он пришел в библиотеку...

— Должна извиниться: ваш заказ пока не успели выполнить полностью. Литература, по Мангышлаку подбирается. Запросили академическую библиотеку.

“Какой голос! Журчит, обволакивает, ласкает. И даже картавость идет к ней...”

— Пожалуйста, не беспокойтесь. Пока поработаю с этими книгами. Он бегло проглядел стопку, лежащую на барьере:

— Ага, Андрусов есть. Баярунас тоже. Алексейчик... Остальное не к спеху.

“Провинциал. Костюм старомодный. Длинные пиджакн с такими плечами уже не носят...”

— Не к спеху? Не понимаю,— она удивленно поджала губы.— Зачем же вы так торопили?

— Видите ли... В командировке... Я думал... Простите, как ваше имя-отчество?

“Еще и двух слов связать не может. Одичал в пустыне”.

— Гульжамал Юсуфовна.

— А меня. Жалел. Фамилия — Бестибаев. Работаю на Мангышлаке.

— Мне это уже известно из вашего формуляра. Так, значит, вы открыли нефть в пустыне?

— Я? Ну что вы. Разве я похож на человека, что-нибудь открывшего? Нефть нашел Жихарев. Я помогал...

“Скромный или притворяется? Вообще-то ничего, если приглядеться: стройный, высокий. Волосы красивые. Говорят, что у смуглых людей пылкое сердце...”

— А что такое Мангышлак?

— В каком смысле?

— Пустыня или хоть деревья есть?

— Там, где вода,— даже оазисы. Особенно рядом с чинком.

— Чинк? Что это?

— Крутой склон. Бывший берег Каспия. Потом море отступило...

“Правда интересуется или просто так... Поболтать хочет... Какая у нее белая кожа. Пальцы прозрачные, тонкие...”

Он сам поразился собственному нахальству.

— Сегодняшний вечер у вас свободный? — спросил он и доверчиво посмотрел прямо в глаза.— Если позволите, зайду за вами.

“Каков, а? “Если позволите...” Галантерейное обращение!”

— Зайдете за мной? Зачем? Обхожусь без провожатых.

— Вы не так поняли. Просто хотел рассказать вам о Мангышлаке, — улыбнулся он.

Она раздумывала, ученическая ручка качалась на ладони, как коромысло весов.

“Собственно, почему бы и нет? Приехал в командировку и скоро опять уедет в свою пустыню...”

— Вечер свободный,— решила она.— Только надо предупредить маму. Она волнуется, когда я задерживаюсь.

Быстро, оценивающе поглядела на Жалела: “Рад? Конечно! Бедный провинциал”.

— Работаем до восьми. Но, пожалуй, сегодня... Постараюсь уйти пораньше.

— Договорились! Маму предупредим вместе. Хорошо?

Он сел в углу, у окна. От книг пахло старой кожей, пылью, немного сыростью. Он читал. Делал выписки. Увлёкся. Завоеватели, купцы, авантюристы, дервиши, шпионы, геологи, святые, топографы, офицеры — кто только не шел пыльными и опасными дорогами Мангышлака. Они проходили чередой, и у каждого свое: судьба, неудачи, счастливое везение, трагическая смерть или благополучное возвращение...

Какой-то самарский купец вспоминал о колодцах, в которых видел “густу воду горящу” — так в семнадцатом столетии называли на Руси нефть. Бритолицы англичане качались на верблюдах, чтобы пробраться в Индию через Мангышлак. Петр Первый отправлял в “Закаспию” отряд капитана гвардии Бековича-Черкасского, “дабы узнать, где проходит мертвая река Узбой и нельзя ли оную оживить”. Обрусевший немец Эверсманн проехал по ледяной пустыне, оставив “Натурологический журнал”, в котором скрупулезно вел записи каждый день, несмотря на обмороженные руки.

Артиллерийский прапорщик Карелин обратил внимание на “белую нефть, горячую смолу, древние копи,— вероятно, медные,— ибо другой формации горы не обещают,— и на великолепный белый камень, коего многие куски попадаются совершенно годными для литографии”. Он назвал Мангышлак “спящей красавицей”. Полуостров на карте и впрямь напоминал головку милостивой девушки: четко видны капризные губы, точеный нос, тонкие брови.

После Карелина подпоручик корпуса топографов Алексеев 2-й недалеко от урочища Исенджал наткнулся на бугор. “Посреди оного образовалось углубление, где видна черная и густая, как смола, жидкость, судя по запаху и горючести — нефть... Киргизы употребляют ее на лекарство верблюдам и баранам от лишаев”.

Жалел перелистывал страницы книг... Геологи Андрусов, Баярунас, Мокринский, Алексейчик, Черепанов — другие его

коллеги отдали годы, чтобы потом по их следам шло новое поколение. Ничего схожего не было в судьбах исследователей его родной земли. Людей разделяли эпохи, положение в обществе, наконец, просто увлечения и наклонности... И даже если представить на мгновение, что фантастическая машина времени свела бы вместе путешественников и геологов, то, скорее всего, они бы не понравились друг другу. И все же... Какой-то невидимый, мощный магнит притягивал столь разных людей к суровой земле на восточном берегу Каспийского моря. Словно не было разницы ни в сословной принадлежности, ни в чинах и заслугах, ни, наконец, в званиях и складе ума. Врач, купец, офицер, академик, топограф... И в сущности, разве не любой из них мог бы записать в дневнике: “Начиналась совершенно мертвая страна. В могильной тишине поднялись мы на плато, ведя коней под уздцы. Ужасный вид открылся нашим глазам — это был камень! Ему не было ни конца, ни края. Словно ехали по громадному заброшенному дому, где крышей было само небо, а стены терялись в беспредельности. Мы даже старались, чтобы кони не очень громко стучали по полу. Ничего не было: ни птиц, ни кочевников, ни единой былинки...” Как хорошо, как славно думалось за книгами! Солнце золотило потускневшие обреза. За сводчатым окном удлинялись тени от тополей. В читальном зале включили свет. Жалел поднял голову: стрелка часов подползала к восьми. Бегом в книгохранилище. Золотоволосой девушки не было. Вместо нее — женщина в очках, с нарумяненными щеками.

— Слушаю вас, молодой человек?

— Видите ли... Я брат Гульжамал Юсуфовны. Нет, не родной, разумеется. Приехал в командировку. Адрес вылетел из головы,— плел он первое, что пришло в голову.— Не могли бы вы мне помочь? Такой случай...

— Посторонним лицам адреса сотрудников не даем.

— Какой же я посторонний? Брат! Понимаете? — Для того чтобы ему можно было поверить, он говорил, конечно, слишком горячо. — Прямо из экспедиции... У нас такая жара — мозги плавятся. Не только адрес сестры — свое имя забудешь. — Почему-то именно такая чушь и подействовала.

— Постараюсь что-нибудь сделать...— и ушла.

Пять минут. Десять. Вечность! Куда она пропала? Шаркающие шаги. Возвращается наконец-то. Протягивает листок с адресом:

— Пожалуйста, впредь будьте не так забывчивы. Сестры этого не любят. Особенно молодые и симпатичные...

“Догадалась! Ну и ладно. Главное — адрес!”

— Спасибо. Благодарен. Всегда...

Он уже пятился к двери, пожирая глазами строчку: Советская, 22-12. Как музыка! Двадцать два — двенадцать! Он почти бежал по улицам, не замечая ни людей, ни бархатного ночного неба, ни звонких арыков — ничего. Дом. Ее дом. Четырехэтажный. Тополя почти дотягиваются до крыши. Третий этаж — десятая квартира. Значит, живет на четвертом. Звонок... “А если ее не окажется дома? Что сказать? Потом, потом...” Звенит цепочка, щелкает замок. Она! В домашнем халатике, честное слово, еще лучше, чем в голубом костюме.

— Вы?

— Конечно. Удивлены? Немного задержался. Был в министерстве. Только...

— Вы еще и врешь?!

Дверь захлопнулась перед носом.

“...В могильной тишине поднялись мы на плато. Ужасный вид открылся нам — то был камень”.

А несчастная судьба Бековича-Черкасского? Его голову на пике с конским хвостом пронесли по пескам в Хиву. “Кто это? — спрашивали встречные караванщики.— Кафыр¹, посол Московии Бекович!” —отвечал охрипший от пыли и ветра глашатай.

Потерял девушку! Уперся в какие-то книги. Осел! Твою голову надо тащить по пескам... Убить мало!

Жалел, спускался по ступеням осторожно, будто шел по клавишам. Если окончатся на четное число — вернется и снова позвонит. Если на нечетное? Тоже вернется. Зачем же спускаться? И когда ты повзрослеешь? Правильно брат говорил: тебе еще надо в детсад походить для общего развития...

¹ Немусульманин, безбожник.

Двадцать семь... Тридцать четыре... Сорок одна... У-у-уф, последняя! Не везет. Он сел у подъезда на скамейку. Перед глазами плыла тихая тополиная улица. Откуда-то доносилась музыка. Одна и та же пластинка. “Одесский порт в ночи простерт. Огоньки за Пересыпью светятся...” — дразнил уверенный мужской голос. Где-то далеко хлопнула дверь. Заплакал ребенок.

“Я буду ждать и тосковать, если ты не придешь на свидание...”

Ждать, тосковать, догонять... Обычные глаголы. Простучали каблучки. Остановились рядом.

— Ну что вы тут сидите? Пойдемте к нам. Мама манты готовит.

Так они окончательно познакомились...

“Самолет идет на снижение... Пристегнуть ремни... от курения... плюс тридцать восемь...” — механически проговорила бортпроводница. За окном косо неслась желто-серая земля. Отдраена дверь. Пахнуло жаром, как из печки. Голая земля. Охра, сурик, немного белил. Ни пятнышка зелени. Пассажиры спускались по трапу с облегчением: твердь!

Жалел вышел последним, остановился, достал сигарету.

— Гражданин! У самолета курить запрещается!

...Это ему? Стюардесса?! Неужели на свете существует такой въедливый голос?

— Вы что, оглохли?

Он рысью вынесся из самолетной тени.

“Так тебе и надо: не верь улыбкам. Еще урок...”

Жалел, пересек поле и остановился на краю, ослепленный. Солнце, родное солнце Мангышлака хлынуло на него мириадами лучей, вобрало в себя, растопило, закружив в живом, ласковом, нежном потоке. Неужели может быть так хорошо!

Иногда он думал, что, верно, в тот день, когда впервые увидел мир, мать вынесла его из кибитки на такой же слепящий свет. Сколько он помнил себя — солнце всегда было ему матерью, как бы постоянным напоминанием о той, родившей его, которой он не помнил. Студеной ли зимой, когда солнце, легкое, почти невесомое, заглядывало в подслеповатое окно. Весной ли, когда, мягкое, живое, словно дыхание ягненка, оно грело, проникая сквозь

рубаху. Или летнее, светозарное, щедрое, кажется и не уходящее с небосклона — так коротки ночи. И, наконец, осеннее, с его неживым, бесполезным теплом.

Жалел зажмурил глаза, чувствуя сквозь веки, как льется на него, согревая каждую клеточку, родное солнце. Так ребенком, ожидая подарка или какого-нибудь чуда, о котором мечтал, стоял он, замерев, веря и не веря в приближение счастья. Кажется, откроешь глаза — и чудо исчезнет. Была ли это ящерица, бегущая по песку? Глиняная лошадка? Детское седло, которое сделал отец... Он уже не помнил. Осталось только воспоминание о счастье.

Прекрасный мир — света, чистого песка, белого камня, упругой глины — открылся перед ним, едва приоткрыл веки. В раскинувшейся до горизонта земле не было ничего лишнего: одни лишь плоские, бугристые или узловатые мышцы-пласты, прикрытые тонкой кожей наносов. Кое-где мускулы разрывали покров, и тогда обнажалась их мощь, скрытая энергия, напряжение плоти. Жесткий поток света, словно рентгеновскими лучами пронизывал непрозрачные тела, выявляя их строение, подлинный цвет, назначение. Голубоватая верблюжья колючка, рядом с которой стояла нога в грубом башмаке, была соткана из гибких, прочных волокон. Муравей, тащивший песчинку, был искусно склепан из медных шаров и полушарий, идеально подогнанных друг к другу. Знакомое здание аэропорта, куда он столько раз возвращался, прилетая из экспедиций, сияло розовым тончайшим светом, словно те миллионы перламутровых созданий, что навсегда застыли в ракушечнике, передали свой таинственный, мерцающий огонь. Самолет, стоявший на взлетной полосе, подрагивал от нетерпения, готовый вот-вот взлететь. Он казался живым трепетным существом, которому прирастили ненужные колеса: они-то и держали его на земле, не давая подняться в небо.

Привыкая к солнцу, Жалел медленно шагал к зданию аэропорта.

“Наверное, нечто похожее переживал и брат, возвращаясь из госпиталя,— думалось ему.— Халелбек рассказывал. А мне казалось, что брат придумывает...”

Проехал бензовоз. Шофер, высунувшись из кабины, крикнул

рабочему в комбинезоне, облапившему толстый змеящийся шланг: “Копаясь, Смаил! Сейчас пассажиров приведут, а мы и не начали...”

Значит, самолет улетает обратно. Каких-то несколько часов — и он снова сможет увидеть ее, услышать чуть картавящую нежную речь. Ну, а дальше что? Врать, изворачиваться, внушать себе, что так и должно быть: он и она — любовники. И ничего особенного. Многие так живут... Но почему он должен делать то, что противно его природе? Нет, нет и нет...

Глубокая чернильная тень бензовоза отделяла его от самолета. Стоит перешагнуть мрачную черту и... Он отвернулся, вошел в зал ожидания, набитый гудящими, нервными пассажирами, наполненный резкими голосами, топотом, шарканьем десятков ног. Жалел даже остановился на мгновение, таким непривычным, незнакомым показался ему аэропорт. Он помнил его другим — полупустым, сонным, оживающим на короткое время, когда прилетали редкие самолеты.

К справочному окошку, где Жалел хотел, было узнать, не ждет ли его машина из Узека, винтом завивалась такая длинная очередь, что он, постояв немного, решительно зашагал к выходу. Из тесного, раскаленного буфета тоже высовывался “хвост”. “Пива нет! Лимонад кончился! — доносилось оттуда. — Как ничего нет? А кофе... Бутерброды...”

Пробившись сквозь толпу, Жалел с облегчением выбрался на улицу. На небольшой, обычно пустынной площади тоже расположились пассажиры; закусывали, разложив на газете дорожную снедь: крутые яйца, хлеб, курт, помидоры, вареное мясо; дремали, пристроившись на ребристых скамейках, прикрыв лица кепками, тельпеками, мятыми шляпами; маялись.

Двое парней с новенькими чемоданами спросили у Жалела, как добраться до Узека. “На попутной, — пожал плечами Жалел. — Один выход”. — “А сколько до Узека?” - “Километров семьсот”. Ребята переглянулись: “Расстояние...” Один из них, чернобровый, с большим перебитым носом, поинтересовался: “Вы нефтяник?” Жалел кивнул. “Мы тоже, — разулыбались парни. — Из Грозного... После техникума...”

Жалел пересек площадь, постоял у автобусной остановки, изучая расписание. Ждать надо было с час. Он еще раз оглядел площадь: ни одной легковой машины. У полустертой меловой черты с надписью “Стоянка такси” давили землю мощными колесами два самосвала.

...Ясно! Никто не встречает! Хотя телеграмму Тлепову в Узек послал.

Жалел снял пиджак, закатал рукава ковбойки, забросил рюкзак за плечи. Он шел размеренно, как привык в маршрутах, но, пройдя с километр, взмок словно мышь. “Ничего, терпи, рядовой нефтяного фронта,— подтрунивал он над собой.— Шагай, рядовой! Хватит алма-атинский асфальт полировать”.

Обогнал грузовик. Шофер притормозил, высунул лысеющую голову:

— В город, браток?

— В город!

— Садись, подброшу.

Жалел поблагодарил, залез в раскаленную кабину, угнездив рюкзак на коленях, достал сигареты, протянул шоферу. Тот покосился на красивую пачку, осторожно вытянул сигарету.

— Откуда народу столько? — спросил Жалел.— Не пробьешься в аэропорту. Сроду такого не было.

— Газеты читаете? — шофер со смаком затянулся.

— Бывает..

— Каждый день надо читать! — наставительно объяснил водитель.— Узек — директивная стройка. Народ сразу и скумекал, что к чему.

— И что — к чему?

— А то... Большая нефть — большие заработки.

— Ее еще найти надо... Большую нефть-то.

— А уж за это не страдайте,— сказал шофер.— Коли люди с мест стронулись — найдут!

— Хорошо, если так.

К секретарю горкома партии Жалел попал не сразу: несколько бледных людей с папками, разбухшими портфелями — явно командированные — сидели, ожидая приема. Они листали бумаги,

что-то дописывали, негромко переговаривались: “Надо просить десять станков. Дадут пять — хорошо...” “А кто поселок будет строить? Министерство? Тогда надо крепкого подрядчика искать...” “Где его найдешь... Пустыня...” “Про трубы не забыть. Занаряжены на четвертый квартал. А остальные? Срочно с Госпланом связаться...”

Жалел вышел в коридор покурить. Три с лишним года назад в этом же коридоре стоял он с Жихаревым и другими геологами, гадая, зачем их пригласили. Секретарь горкома — пожилой, усталый человек — встретил приветливо, усадил за длинный, для заседаний, стол, сам сел рядом, как бы давая понять, что разговор будет неофициальным, дружеским.

— Ну, рассказывайте, как живете? — спросил он и оглядел геологов молодыми, красивыми, как у юноши, глазами.

Геологи покосились на Жихарева: он был постарше, да и на Мангышлаке работал давно. Жихарев достал из папки справку, начал излагать план, выполнение... Цифры звучали вполне убедительно: особых успехов в Тюбеджике и Кызানে, где они тогда бурили, не было, но по тем временам больше и сделать не могли — силы не те...

Секретарь слушал внимательно, не перебивал.

— Насколько я понял, новостей особых нет? — уточнил он.

— Да, пока нет.

— И нефти, стало быть, тоже?

— Отрицательный результат — тоже результат, — уклончиво сказал Жихарев.

— Ну что же... Тогда у меня есть новость для вас. Секретарь встал, подошел к окну, будто за ним и впрямь происходило нечто необычное.

— Специальным решением нам выделены четыре мощные буровые установки. Они вот-вот поступят. Через месяц с Эмбы приедут четыре бригады буровиков, чтобы ввести станки в действие.

Они обрадовались:

— Давно ждем!

— Хорошо! Теперь в Кызানে дело пойдет!

— Речь не о нем,— уточнил секретарь.— Сами же сказали: положительных результатов не ждите. Надо осваивать новые перспективные структуры. Насколько я понял, это Жетыбай, Узек...

Жихарев провел ладонью по лицу — ему сразу стало жарко.

— Но у нас пока нет точек, где бы с большей долей вероятности можно было начать работы.

— Если нет — надо найти,— жестко сказал секретарь.— Всем ясно — вы сегодня подтвердили: нефть на Мангышлаке есть. Ее поиски пора резко ускорить. Таково задание правительства.

Геологи молчали. Наконец кто-то спросил:

— А сроки?

— Вот это деловой разговор. — Секретарь вернулся к столу, перелистал настольный календарь.— Сроки, сроки... А сколько вам потребуется времени, чтобы сделать необходимые расчеты?

— Месяцев пять-шесть, — схитрил Жихарев.

— Итак, жду вас в марте. То есть ровно через тридцать дней. — Секретарь сделал пометку на календаре, отложил красный карандаш. — Думаю, что справитесь. Народ молодой... И главное — ведь нефть-то есть! Или... Как вы считаете? — в упор спросил он, будто проверяя их.

— Есть-то она есть. Да кто ее съест, — скаламбурил Жихарев.

Секретарь не улыбнулся.

— Желаю успеха.

Взволнованные выходили они из горкома.

— Дела...

— Пошли пива, ребята, поьем. Приобщимся к цивилизации...

— Попотеть придется...

— Попотеть? — Жихарев насмешливо поглядел на Жалела.— У меня уже сейчас рубаха мокрая. При одной только мысли. Адская работа...

Почти все они были одноклассниками, недавно закончившими институты, и только Жихарев реально представлял объем и всю сложность, и ответственность задания. Практически теперь от них зависело: продолжатся поисково-разведочные работы или их прикроют под тем предлогом, что установки, которые с таким тру-

дом выбили, будут крутиться вхолостую. Но они были молоды, ничто в мире не казалось им невозможным.

Сидели в ресторане, болтали, заглядываясь на официанток, которые после экспедиционной жизни в пустыне, где женщин почти не было, казались существами не то, что красивыми, прямо неземными.

— Ну, вот что, ребята,— сказал Жихарев, когда они вывалили из ресторана.— С завтрашнего дня — сухой закон. Иначе голова в кустах...

Дул сильный ветер, обычный в эту пору. Близкое море толпилось, словно гурт. Впереди была весна.

Конечно, многоопытный Жихарев предвидел, что их ждет, и, наверное, благодаря тому, что не давал расслабляться ни другим, ни в первую очередь себе, они уложились в срок. Сейчас, когда давно осталась позади та горячая работа, улеглись страсти, совершенно ясно, что им, в общем-то, повезло: располагая одной, и то далеко не полной, профильной картой полуострова, они из многих и многих точек нашли ту, единственную... Конечно, отыскал ее, прежде всего Жихарев. Но найти мало: надо доказать, что прав. Ведь предлагались и другие варианты, казавшиеся не менее обоснованными и перспективными. Победил все-таки жихаревский вариант. Сыграли роль и авторитет, и знание, и умение заразить всех своей уверенностью, и обаяние, которое помогает даже противников сделать единомышленниками.

“Бурение надо начинать здесь! — жихаревский палец упирался в карту, закрывая надпись “Жетыбай” — древнее поселение адаевцев в нескольких сотнях километров от Форта-Шевченко.— Почему здесь? Объясню: семь тысяч лун тому назад сюда пришли, спасаясь от джута, семь братьев. Кроме семи чесоточных лошадей и энтузиазма, у них ничего не было. Место оказалось удачным. Или, говоря другими словами, братишкам повезло: у семи сопков, окружающих урочище, вскоре пылил табун в семьсот голов...”

Жихарев гнул свое, оглядывая геологов выпуклыми, немного сумасшедшими глазами. “Что касается красавицы, о которой упоминали в другой легенде Ильф и Петров, то в нашем случае о ней ничего доподлинно не известно. Но наверняка она обреталась

в районе Жетыбая. Иначе из-за чего бы братья, в конце концов, перессорились? Одним словом, как не раз указывалось классиками, сердце красавицы склонно к измене. Отсюда вывод: никаких красавиц! Пусть нефть ищут одни мужики. Согласны? Забуримся, проверим легенду, и все станет ясно...”

Был ли он сам уверен в успехе? По молодости Жалел тогда поспорил бы с любым, кто взялся доказывать, что Жихарев сомневается, но когда прошло время... Ни один геолог-нефтяник, если он, конечно, уважает свою профессию, не скажет: ставь буровую здесь и качай нефть! Мировая статистика безжалостна — едва ли треть разбуренных скважин является нефтеносными. И это при нынешней, современной технике прогнозирования, когда применяются тончайшие методы поисков.

“Наша работа — игра в жмурки в темной комнате, объем которой и количество участников заранее неизвестны”, — шутил профессор, читавший в институте геологию нефти.

На студенческой скамье эти слова воспринимались как преувеличение, но когда Жалел на практике столкнулся с трудностями разведки, то сравнение профессора показалось ему не таким уж далеким от истины. По всем признакам в районе должна быть нефть, но бурится одна скважина, другая, третья... И ничего. Нефти нет и в помине. Могла сместиться земная кора именно в районе бурения и закрыть путь нефти. Нефтяную залежь съели пластовые воды. Нефти не хватило для структуры, на которой велось бурение... Причин, по которым нефть не попала в ловушку, — десятки...

Все это и многое другое могло случиться и в Жетыбае. Но в июле при испытании шестой скважины в интервале 2383 — 2389 метров впервые ударил мощный фонтан черной мангышлакской нефти!

Жихарев, Жихарев... Талантливый, удачливый, веселый человек! Как радовался он тому первому фонтану. В синем тренировочном костюме и тапочках на босу ногу — новость застала его дома — он сразу примчался на буровую, полез под тугую, живую, пульсирующую струю, словно гигантское сердце, скрытое под землей, гнало и гнало нефть.

“Нефть! Наша нефть, Жалел! — орал Жихарев.— Не подвели семь братьев! Нефть! Во!” — и еще что-то, радостное, безумное, бессвязное.

Да, это была его минута, его открытие, его нефть! Не один год Жихарев ждал ее, мотаясь по пустыне, страдая от жажды и зноя, замерзая зимой, недосыпая, почти не видя семью. И кто знал, что через месяц...

“Ясен путь, да страшен жребий”. Пришел к приятелю на день рождения, пил, шутил, дурачился с графином на голове: “Глядите! Баланс ловлю!” Вдруг осел, завалился на бок. Прошептал: “Что со мной?” И все.

Жихарев, Жихарев... Незадолго до его гибели возвращались вместе с шестой буровой. Ночная бесприютная дорога или предчувствие — кто знает? — но зашел разговор о жизни, о том, что остается после человека.

“Остается то, что остается”, — ответил полуиронически-полусерьезно Жихарев. И был прав.

Он свое сделал: оставил месторождение. Успеет ли теперь Жалел? Останется ли хоть что-нибудь... Он опять подумал о Гульжамал. Увидел ее такой, как в ту первую встречу: легкой, насмешливой, любимой.

“Ничего. Как-нибудь,— сказал он себе.— Важно, что вернулся домой. Здесь и стены помогут”.

Секретарь горкома встретил Жалела так, будто они расстались недавно.

— Вовремя, вовремя прилетели,— сказал секретарь, крепко пожимая руку.— В Узке завтра бьем первую скважину. Если не ошибаюсь, ваш брат и начнет. Так что с корабля на бал...

Зазвонил телефон.

— Простите,—секретарь взял трубку.— Слушаю? Да, буровой мастер Бестибаев. Завтра. Будет небольшая торжественная часть. Митинг. Потом артисты выступят. Да-да, конечно. Наши товарищи едут... Не опоздайте.

Снова повернулся к Жалелу, объяснил:

— Корреспондент КазТАГа... Так на чем остановились? Ага, Узек... Вы, наверное, знаете, что мы настаивали на вашей канди-

датуре. Разговаривали с министром... Не буду скрывать — возражения были. “Молодость. Опыт небольшой...” Молодость — недостаток, к сожалению, со временем проходящий. А что касается опыта... Тут у нас своя точка зрения. Жетыбай показал...

Он не договорил, вопросительно посмотрел на Жалела:

— У части геологов есть сомнения относительно разработки Узека. Предлагают сконцентрировать усилия на освоении Жетыбая. Так сказать, бить в одну точку, не распыляя силы и средства. Как птица по зерну. Что вы думаете по этому поводу?

“Ясно, откуда ветер дует,— подумал Жалел.— Малкожин...”

Вспомнилось гладкое, всегда чисто выбритое лицо,— вкрадчивый голос. “Товарищи, Узек от нас никуда не уйдет,— убеждал Ерден Малкожин, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства геологии.— Ждал миллионы лет — подождет еще немного. Средства, технику, людей надо бросить в Жетыбай. Нефть найдена, и мы быстрее получим отдачу. В Узеке же все надо начинать с нуля. Мое мнение как куратора Мангышлака: работы надо интенсивно продолжить в Жетыбае. Лучше синица в руках, чем журавль в небе...”

— Да, против Узека существуют как будто серьезные возражения,— начал Жалел.— В Жетыбае структуры более или менее известные. Место обжитое. Наконец, главное: найдена нефть. И все же... Есть “но”. Основной приток жетыбайской нефти получен с глубин около трех тысяч метров. Чтобы подсчитать запасы, надо пробурить более полусотни скважин на трехтысячную глубину. Причем условия неблагоприятные: буровики сталкивались и будут сталкиваться с различного рода осложнениями. Другое дело — Узек. По прогнозам, нефтяные горизонты залегают на глубине до полутора тысяч метров. Пробиться к ним легче, чем в Жетыбае. Если расчеты подтвердятся, то именно узекская нефть будет получена быстрее и с меньшими затратами.

— Так-так. А если случится, как в Тюбеджике или Кызане: средства затрачены, а нефти нет?

— Нефть и там есть,— убежденно сказал Жалел.— Просто работы велись в иное время: слабая техника, мало выделялось средств, да и опыта не было. На мой взгляд, и в Кызан и в Тюбед-

жик надо бы вернуться, продолжить поиск. Но на новом уровне. Что же касается Узека, то перспективы самые благоприятные...

— Тем не менее, нам кажется, работы в Жетыбае сворачиваться не должны. Так же как не надо откладывать разведку Узека. Именно потому, что важен результат, вопрос пока оставим открытым: пусть работы ведутся какое-то время параллельно.

— Да, тогда будет возможность маневра,— согласился Жалел.— Сама постановка вопроса: Узек или Жетыбай — не совсем, мне думается, верна. Зачем хвалить родные горы, унижая чужие долины? Секретарь улыбнулся:

— Примерно то же самое мы сказали работникам министерства. Кстати, вы, где остановились?

— Пока нигде... Рассчитывал, что встретят... Самолет опоздал и...— Жалел замялся. Он не любил просить.

— Давайте сделаем так: завтра рано утром за вами заедут и — в Узек. Товарищей предупреджу. А пока отдохните...

Он нажал кнопку звонка. Вошла секретарша.

— Пожалуйста, созвонитесь с гостиницей.— Он повернулся к Жалелу: — Вы один или с семьей?

— Один.

— Значит, одно место для товарища Бестибаева.— Он поднялся, показывая, что разговор закончен. Жалел попрощался с ним.

Тем временем Саша, которому Тлепов поручил встретить Жалела, расстроенный возвращался из аэропорта. “Где искать? — раздумывал он.— В тресте? В гостинице? А может, на попутной уже уехал в Узек? Елки зеленые, нехорошо получилось...”

К рейсу Саша поспел впритык, потому что неприятности начались, едва он отъехал от Узека километров полтора. Сначала забарахлило сцепление, потом спустил баллон... Чертыхаясь, — он не любил опаздывать,— Саша гнал в Форт, стараясь наверстать упущенное время.

Подъехал к аэропорту и весь мокрый — хоть выжимай, — пронесся через зал ожидания к турникету, отделяющему летное поле от здания аэропорта. Шли на посадку пассажиры “кукурузника” — “Ан-2”, а большого самолета из Алма-Аты не было.

Он бросился к справочному. Выстоял дьявольскую очередь, ввинтился в окошко и узнал, что алма-атинский рейс опаздывает на четыре с лишним часа. Саша отошел, сел на скамейку. Из него как будто выпустили воздух... Торопился, переживал, что не успеет, — и на тебе!

Посидел, успокоился, потом решил мотануть в город, поесть, подстричься: оброс, как верблюд. Так и сделал. Первым делом в столовую. Не спеша, пообедал, а потом подкатил к парикмахерской. Подстригся, побрился и, благоухая цветочным одеколоном, пошел в кино, чтобы убить время, на двухсерийный индийский фильм. Когда Саша вновь появился в аэропорту, выяснилось, что самолет из Алма-Аты уже с час как приземлился. Саша, было, снова сунулся к справочному, но, взглянув на дежурную, замотанную непривычным наплывом пассажиров, спрашивать ни о чем не стал, побрел к машине. Да и что толку теперь выяснять, почему опоздавший самолет прилетел раньше, чем объявлялось? Сам виноват: надо было сидеть в аэропорту и ждать, а не марафет наводить. Раздосадованный, он гнал машину и даже не слышал милицейского свистка. Только тогда, когда мотоцикл проскочил вперед, и милиционер поднял руку, Саша остановился.

“Разбаловались,— корил молодой, Сашины лет, инспектор, с удовольствием выписывая квитанцию.— Гоняете в пустыне — думаете, и в городе сойдет? Арти-и-и-сты!”

Саша не оправдывался: попал в один кювет — начнешь считать другие. Все так и было, как в шоферской, сто раз проверенной поговорке. Он молча сел в машину, доехал до треста. Без особой надежды побродил по комнатам и коридорам, расспрашивая, не заходил ли геолог из Алма-Аты, но ни в тресте, ни в единственной гостинице Бестибаева не оказалось. Саша постоял в раздумье у гостиницы.

“Сделаю-ка хоть одно дело: навещу старика, которого из Майкудука вез. Как он там, в больнице один? Сын-то с буровой не вылезает: самое ответственное дело — под кондуктор бурить начал...”

Он купил пряников, яблок, леденцов и, подумав, еще две бутылки лимонада. С гостинцами в руках, в белом халате, из

карманов которого, как гранаты, торчали бутылки, Саша заявился к Бестибаю.

Старик обрадовался:

— О-о-о, здравствуй, здравствуй! Не забыл! Кал калай?¹

— Как сажа бела,— вздохнул Саша.— Тыщу километров накрутил, — а все без толку.

— Что случилось? — обеспокоился Бестибай.— Запчасть ищешь?

— Человека ищу, — нахмурился Саша.— Должен был встретить в аэропорту — опоздал. Да еще на штраф нарвался...

— Беда, беда! — искренне огорчился Бестибай Сашиной неудаче.

— Как ваше-то здоровье? Домой скоро?

— Какое здоровье? Совсем мало осталось. Уколы, лекарства, рентген насквозь светит — совсем слабый стал,— отшутился Бестибай. — Расскажи, откуда человек-то ехал?

— Из Алма-Аты.

— Алма-Ата... Начальник, наверное?

— Точно. Главный геолог. В нашей экспедиции будет работать. Фамилия... Фамилия... Вот день! С утра о нем, думаю — и вылетело из головы.— Саша достал записную книжку.— О! Бестибаев!

— Как сказал? — старик прямо впился в Сашу взглядом.

— Бестибаев какой-то...

— Еще скажи! — голос старика задрожал. Саша повторил, а сам подумал: “Что это с ним?” Вслух же небрежно произнес:

— Знакомый, что ли?

— Сын! — еле слышно прошептал старик.— Мой Жалел!

— Сын?!—закричал Саша.—Так сразу бы и сказали. А то я...

— Ой-бой... Сын вернулся!

Больные в палате загомонили:

— Сын приехал. Надо же — какая радость!

— А-а-а, радость... У детей свои дела. Что им мы — старики.

— Ну, не скажи. Куда они без нас? Как слепые...

¹ Как дела?

— Сын-то, поди, и не знает, что отец в больнице... Один из больных даже сполз с койки и, напирая на Бестибая, замахал перед ним сухонькой рукой.

— Телеграмму! Телеграмму надо дать! — убеждал он.

Бестибай поворачивался то к одному соседу, то к другому, но сам молчал. Наконец, уставившись на Сашу невидящим взглядом, застыл, погрузившись в раздумье.

— Я могу дать,— сказал Саша и тронул старика за костлявое плечо.

— Чего? — не понял Бестибай.

— Да телеграмму.— Саше и впрямь казалось, что это выход.— Отбить, что вы в больнице...

Он встретился взглядом со стариком и прочел в нем интерес.

— Ну? Так я сейчас прямо могу...

Бестибай покачал головой:

— Зачем? — Он сидел и думал. Потом напряженно спросил:— Сколько у тебя времени?

— Времени? — не сразу сообразил Саша.

— Ждать сколько можешь?

— А-а-а... Час, полтора... Больше — никак,—он развел руками.

— Хорошо. С врачом говорить буду.— Старик вытянул тощую шею, взглянул на часы соседа, лежавшие на тумбочке.— Половина четвертого не приду — уезжай домой.

— Есть! — откликнулся Саша.— Жду!

...У главного врача было совещание, и Бестибай, нервничая, но так же прямо, с каменным лицом, сидел у двери. Терпеливо ждал. Наконец из кабинета начали выходить врачи, сестры. Они шумно разговаривали, пересмеивались. Бестибай дождался, когда врач останется один, поднялся, пошептал про себя и тихонько открыл дверь...

Вскоре счастливый старик, простившись с Басикарой, уже катил с Сашей по дороге в Узек.

— Хороший человек — везде хороший человек, — рассуждал вслух Бестибай.— Пусть аллах отпустит врачу еще столько лет, сколько у того добрых дел...

Саша соглашался. Довольный собой, поглядывал на Бестибая.

“Вот ведь как получилось. Сына не встретил, зато отца везу. То-то обрадуются. Два года с лишним не виделись. Шутка ли для больного старика? Поди, уж небо с овчинку показалось. Каждый день считал...”

Он вел машину небыстро, осторожно, чтобы невзначай не повредить Бестибаю. Уж очень хлипко он выглядел: френч болтался на нем будто с чужого плеча...

Бестибай вдруг полез в карман френча и достал очки. Надел их старательно и прочно. Похвастался:

— Теперь четыре глаза. Все вижу.

В очках он показался Саше совсем бесприютным. Личико — с кулачок. Один нос торчит да скулы выпирают.

Бестибай сидел орлом, смотрел, как их обгоняют машины, и беспокоился.

— Совсем плохо едем,—сказал он наконец. — Мотор больной?

— Дорога больная,—ответил Саша. И схитрил: — Нельзя быстрее...

— А он? — старик махнул рукой вперед, где пылил такой же газик, только что обошедший их.

Саша немного прибавил скорость. Но Бестибай не успокоился. Сдвинув очки на лоб, он укоризненно глядел на шофера, если их обгоняли, и Саше ничего не оставалось, как ехать быстрее, тянуться за ними. Он вспомнил Халелбека, который тогда, когда они двигались в Форт, укорил его за быструю езду, и улыбнулся: “Верно, говорят: к несчастью — шагом, а к счастью—бегом...”

Гостиница, как и аэропорт, была набита битком. На кроватях, диванах, раскладушках, а то и прямо на полу в спальнях мешках расположились приезжие. В узком и длинном, как лодка, номере было невыносимо душно. Не помогали ни распахнутые окна, ни открытая настежь дверь. Жара, казалось, стала материальной. Ее можно потрогать, перелить, нельзя только освободиться от нее. Жара кругом: здесь, в номере; во дворе за окнами; по всему городку, растекшемуся от зноя. Даже звуки — лай собак, громыхание запоздалых машин, гармошка, игравшая по соседству,— с усилением

проникали сквозь вязкий сироп, словно застревая в духоте. Мысли тоже текли вяло, бессвязно.

“Жара, что ли, действует?” — крутился с боку на бок Жалел. Он лежал, но заснуть не мог, как ни старался...

Вокруг — на зависть — храпели, посвистывали, бормотали, посапывали, вскрикивали во сне эмбинские буровики из бригады Ораза Аширова. Жалел проходил у него практику, когда учился в институте. Интересно, узнает его Ораз или нет? Все-таки столько лет прошло...

Почуял нефть осторожный мастер. Поехал сначала в Узек на разведку и вот теперь вызвал бригаду...

Жалел повернулся на другой бок — раскладушка громко скрипнула, и сосед — пожилой бурильщик — беспокойно забормотал, задвигал руками.

“За тормозом стоит на буровой... Или элеватор ворочает. Въедается профессия в человека. И во сне от нее не освободишься”.

На руке соседа голубела татуировка. Смазанные в лунном свете буквы Жалел принял сначала за имя любимой девушки или расхожую мудрость: в экспедициях люди с наколками не были редкостью.

“Дос-сор. Му-най-лы. Ка-ра-тон”, — по слогам разбирал Жалел названия нефтяных месторождений, где, видно, работал в долгой своей жизни бурильщик. “Почти вся нефтяная география Казахстана”, — думал Жалел, разглядывая руку. Она была худая, но ширококостная, в синеватых веревках жил, заживших шрамах, которые сплетались с пороховой надписью, перетекая друг в друга.

“На такой руке еще и Жетыбай с Узекком уместятся, — усмехнулся Жалел. — Если, конечно, оправдаются надежды. Такая рука возьмется — оправдаются. А если твоя рука?”

Он поглядел на свою ладонь. При бледном свете длинные пальцы казались еще тоньше, слабее, беспомощнее. Будто птичьи косточки.

“Любимую не смог удержать. А туда же... За Узек берешься”.

Он хохотнул. Но смешок получился деревянный, неживой. Жалел поднес к глазам хронометр: половина второго. Казалось, стрелки вспотели, приклеившись к циферблату. Половина вто-

рого... Сколько же до рассвета? Час, два... Хронометр — подарок Халелбека. После десятилетки преподнес. Как он там, в Узеке? Писал скупо. О нездоровье отца, немного о делах. Ни о чем не расспрашивал. Такая уж привычка. Брат считает: все человек скажет сам. Если, конечно, хочет... Что же с отцом? Легкие? После Караганды он болел. Но как будто процесс приостановился. Неужели снова каверны? В его возрасте это очень опасно.

Несколько часов, какие-то сотни километров отделяли его от Узека, отца, брата, друзей... Узек! Если перевести на русский — “ушедшая вода”. Была ли она там? Дышащие зноем холмы. Сухие извилистые лога. Как черепа, белеют камни. Когда-то здесь бежала, струилась, точила камешки живая вода. Реки умирают, как и люди. Постоянного ничего нет. Ни рек. Ни любви.

Это же ее слова: ничего постоянного нет! Они сидят в нем, и ни вытравить, ни забыть, ни освободиться от них. Как и от тех, других...

— Дорогой, мне же надо думать о будущем...

— И твое будущее Салимгирей? Да он просто старик. Я слушал его лекции, и он тогда уже...

— Но он сделал мне предложение... Известный ученый. Член-корреспондент...

— Хочешь сказать, что я гол как сокол? Так уж давай прямо. Строю шалаш с милым старичком... Членкором...

— Ох, Жалел, ты все шутишь. Поверь, мне нелегко. Мы же с тобой не студенты. Мне не девятнадцать. И даже не двадцать пять... Кто я? Младший библиотекарь. Ты хоть раз поинтересовался, сколько я получаю? Какая пенсия у мамы?

— Гульжамал, прости меня... Я все для тебя сделаю. Разве ты не веришь?

Она целовала его, гладила волосы:

— Конечно, верю. Но когда, милый? Прошло два года, а тебя даже не сделали старшим инженером...

— Потерпи немного. Я докажу, докажу. У нас будет все, что ты хочешь...

— Только не будет одного - любви. Она съезится, как старая кожа.

— Нет, неправда. Я всю жизнь буду любить... — Он целовал ее. У него перехватывало дыхание от близости, нежности, любви, жалости к ней и к себе.

— Люби меня сегодня. А завтра... Бог весть...

— Нет. Всегда!

— Глупенький. Если бы так! Любовь умирает. И гораздо раньше, чем сами люди. Помнишь, ты говорил: “В Узке постоянных рек нет”. Вот и любви вечной нет...

— Откуда ты знаешь?

— Знаю.

Жалел снова взглянул на часы: прошло всего семь минут. Как тянется время. А с ней он не замечал его. В той первой командировке не различал часов, дней. Какие-то компании, театр, концерты, танцы... Поцелуи на балконах, в темноте улиц, в тусклых подъездах. В субботу они уезжали в горы. Яблоневые, вишневые, урючные сады. Снежные вершины, как застывший дым. Бледная от пены речка с холодными искрами. Глаза Гульжамал близко, близко. С ней было легко, просто, свободно. Он ничуть ее не стеснялся, будто знал всегда. Рассказывал об отце, брате, студенческой жизни в Москве; говорил, как они уедут вместе на Мангышлак, поженятся... Остальное, правда, он представлял довольно смутно. Будут жить, родятся дети...

Она слушала не перебивая, не задавая вопросов, кончиками пальцев прикасалась к его глазам, точеному носу, небольшому твердому рту. Точно хотела запомнить что-то. Или оставить невидимый след...

Перед отъездом Жалел сделал ей предложение. Она ответила стихами: “Пустыню не поймет озерный серый гусь. Дрофа ж, что там живет, бывая средь озер, тоскует по пустыне...” Он настаивал, добивался ответа. Наконец Гульжамал уклончиво сказала: “Так все неожиданно. Я еще даже маме ничего не говорила. Давай немножко подождем”.

Он писал сумасшедшие письма, ревновал, бесился, жил ожиданием. Жизнь в Жетыбае, обсчет запасов, геолого-технические наряды раздражали, казались помехой. При первой возможности он снова улетел в командировку. После разлуки Гульжамал пока-

залась еще красивее, нежнее, ласковее. Предложили место в министерстве. Почти не раздумывая, согласился. Да и что оставалось делать? Слеп от любви, но хоть это понимал: Гульжамал не бросит Алма-Ату.

Однажды она спросила:

— Мне говорили, что освободилась должность заведующего отделом. Тебя не собираются назначить на это место?

— Что ты... Есть более опытные геологи, а я работаю недавно.

— Разве дело в том, кто работает раньше? Есть же еще и талант.

— Конечно. Но немало ребят способнее меня.

— Ты так считаешь?

— Да.

— Тогда понятно...

Был и еще один разговор. О квартире.

— Неужели ты согласился жить с соседями?

— Гульжамал! Да я и этому рад. У нас своя комната! Представляешь? Своя! К черту подъезды, квартиры подруг, уходящих в кино...

— Чему тут радоваться? Ты молодой специалист. Тебе нужны условия для творческого роста. Поговори с министром.

— Ты что? Местком решил. И за это спасибо. Знаешь, какая очередь на жилье...

— Очередь? Не ты же ее создавал? Почему ты так переживаешь за других? Я бы на твоём месте волновалась...

Она не договорила. Отвернулась. Впервые он видел ее плачущей. Разговор казался случайным. Ничего особенного: главное — они были вместе. “Отдельная квартира? Место заведомо? Какая ерунда!” Точило другое: работа. Она казалась нудной, неинтересной. Перелопачивать то, что сделано другими?! Увольте! Но уйти из министерства, начать в другом месте с нуля — нет! Об этом страшно подумать... Что скажет Гульжамал? Он, скрипя сердцем, отсиживал с восьми до пяти. Старался делать свое дело как можно лучше. Его хвалили, наградили грамотой, премировали бесплатной путевкой в дом отдыха. Но все это казалось неважным...

Хотелось курить. Надо было подняться с раскладушки, взять сигареты в пиджаке, висевшем на спинке стула. Но лень. Сосед притих: видно, сон, беспокоивший его, ушел. Рука с пороховыми разводами спокойно лежала на простыне, но пальцы еще были сжаты.

“Наверное, большая семья... А вот снялся, поехал на новое, необжитое место. Где ни кола, ни двора. Где воду привозят в цистернах, и она пахнет железом, бензином, резиной... Чем угодно. Только не живой, настоящей водой”.

Он рассказывал ей про Жетыбай, про то, что воду выдают по норме.

— Правда? Пять литров на человека? — удивилась Гульжамал.— Как же там жить?

— Просто... Приходишь в гости, спрашиваешь: “Суыныз бар ма?”¹ — пошутил он.

— И ты хотел, чтобы я ехала в Жетыбай? За романтикой? Спасибо.

Если бы он все знал заранее...

— В отделе кадров мне сказали, что ты увольняешься. Это правда?

— Да.

— И молчал?..

— Разве тебе не все равно?

— Как ты можешь?

— А ты — можешь?

— Зачем ссориться? Мы не должны так расстаться. Нам нужно поговорить. Я приду часов в восемь. Прошу тебя: будь дома.

Она быстро вышла из подъезда, перешла улицу. Через стеклянные двери видно, как шофер предупредительно открыл дверцу и черная “Волга” затерялась в потоке машин.

— Ты не уедешь, не уедешь,—твердила она.—Мы будем встречаться. Что изменилось? Мы же не маленькие. Не ханжи...

— Нет.

Он боялся, что голос выдаст его, и отвечал односложно.

¹Вода есть?

— Если хочешь,— она всхлипнула,— я разведусь... Ну не сразу... Потом...

— Из-за меня? Не надо.

— Чего же ты хочешь?

— Ничего.

Она целовала его так, что кружилась голова. Начать все сызнова? Только не это. И зачем он согласился на встречу?

Жалел бережно отстранил ее.

— Пойми, уже ничего нельзя вернуть. Ты сама говорила: у любви нет завтра.

Гульжамал выбежала из комнаты, простучали по коридору каблучки, хлопнула входная дверь. Жалел поразился собственному спокойствию: ушла — и хорошо, что ушла. Но через час он уже ходил вокруг ее дома. Ходил до тех пор, пока во всех окнах не погас свет.

Нет, надо срочно уезжать, пока он еще в состоянии это сделать. Утром Жалел лихорадочно собрал рюкзак, оставил ключ от комнаты соседям и поехал в аэропорт. Ему повезло: рейс Алма-Ата — Гурьев — Форт-Шевченко задерживался, и кто-то из пассажиров сдал билет. Перед самой посадкой Жалел не выдержал, ринулся к телефону. Вдруг бросит все и поедет с ним? Гудок. Еще... Он представил квартиру Салимгирея, в которой однажды был: темная основательная мебель, рояль, укрытый, как гроб, белой попоной, парные китайские вазы с драконами, разинувшими жадные пасти... Еще гудок. Еще... Никого нет дома. В длинном коридоре, где стоит телефон, молчаливые полки с книгами. Дверь в ванную приоткрыта. Виден край розового халатика, что висел в его комнате.

Щелчок. “Алло”. Ее голос. Он затаился. “Слушаю вас”. “Скажи, ради бога, еще что-нибудь...” Ее и его дыхание слилось. “Почему вы молчите? Неумные шутки...”

“Шутки?! Ну, нет! — ему хотелось закричать так, чтобы зазвенели и рассыпались в пыль парные драконьи вазы.— Как же мне теперь жить? Шутки...”

Он боялся, что сорвется, первым повесил трубку. Вышел из автомата. Пассажира Бестибаева, улетающего в Форт-Шевченко,

настойчиво приглашали пройти на посадку. Динамик повторил его фамилию дважды, прежде чем он сообразил: речь о нем...

Пять минут третьего. Невыносимо хотелось закурить. Жалел встал, стараясь никого не потревожить, осторожно прошел между спящими, тихонько выбрался из гостиницы. Маленький дворик, окруженный толстым оплывшим дувалом, казался продолжением комнаты: раскладушки, железные кровати стояли и здесь. Под единственным карагачем, седым от старости и лунного света, прямо на земле, подстелив спальный мешок, из которого клочьями лезла вата, раскинулся парень.

Это был великан. Необъятные штаны джигита сооружены не менее чем из десяти метров зеленого вельвета, а клетчатая рубаша вздувалась и опадала на груди, словно парус. Парень казался таким могучим, что даже не верилось: могут ли быть на свете такие люди?

“Я — адай, коль узнать меня смог..” — вспомнилось Жалелу древнее присловье о своем роде. Он покуривал, поглядывая на небо. Звезды были крупные, как алма-атинские яблоки, и горели ровно, не мерцая. Черная перекладина ворот рассекала Млечный Путь. Полная луна лепешкой прилипла к небу.

Из-за гостиницы вышел пес, потянулся, зевнул, сделал нелепую восьмерку, обходя спящих и принохиваясь. Потом остановился, поднял морду. Далекий, едва уловимый вой донесся из пустыни. Пес откликнулся. Он пел свои песни среди звездной ночи, и непонятные звуки уносились во мрак. Шерсть на его загривке была пронизана желтым тревожным светом. В раскосых глазах лежало несчастье.

Джигит, спавший под карагачем, проснулся, сел на спальном мешке, почесывая грудь.

— Ай, шайтан, — забормотал он, зашарил рядом с собой. Коротко размахнувшись, швырнул в собаку пустой бутылкой. Пес отскочил, заворчал, тенью мелькнул за воротами.

— Зачем пса обижаете? — сказал Жалел.

— Чего? — не понял парень. В неверном призрачном свете его лицо, туго обтянутое кожей, напоминало лошадиный череп: длинное, с большими плоскими скулами и глубокими глазницами.

— Помешал вам пес?

— А-а-а, и тут от них покоя нет.— Повалился на мешок, ровно задышал.

Зловещая тишина повисла над миром. Черное небо с беззвучными звездами. Немой двор, захлестнутый арканом глинобитной стены. Безмолвная степь, начинавшаяся невдалеке. Пусто, одиноко, безнадежно. Неясная тревога, какое-то смутное предчувствие беды навалилось на Жалела.

“Вчера надо было ехать... На попутной... Подъезжал бы к Узеку. Или доехал бы уже... Обнял бы брата”. И от одной мысли, что Халелбек — спокойный, рассудительный человек, на которого можно положиться в любом сложном и тонком деле, открыть душу, сказать самое сокровенное, зная, что он не осудит, не начнет читать нравоучений,— вот здесь, рядом, всего в нескольких часах езды, и Жалел, наверное, увидится с ним сегодня к вечеру или, быть может, раньше,— стало легче на сердце. “Брат, брат... Если бы ты знал, как не хватало тебя... И как хорошо, что ты есть, что можно прийти к тебе, поговорить или просто помолчать...”

Жалел пошел к гостинице. Медленно, растягивая время. Казалось, ночь никогда не кончится.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Такого знойного лета, как в тот год, когда началось освоение Узека, никто припомнить не мог. Конечно, и раньше были жаркие годы, но чтобы в единственном pobлизости озера, где водилась рыба, водная живность собралась в середине и, еле шевеля плавниками, вместе — хищники и жертвы, — такого не было. Мангышлакская земля, сожженная солнцем, походила на пепел. Ящерицы, змеи, жуки, которые одни только и могли еще жить в ней, потихоньку ночами уползали на север, поближе к Мугоджарам, или на запад — к горам Каратау. Вокруг пересохших колодцев тучами носились слепни, комары, оводы и прочие кровососущие твари. Они окружали скот, приближающийся к воде, нападали на него и жалили до тех пор, пока обезумевшие животные с ревом не мчались обратно в пустыню. Даже верблюды искали тень. Но где она на полуострове? Гордые представители отряда мозолоногих жались к стенам кибиток или, собираясь вместе, прятали головы под животами друг у друга.

Работы в Узекe, несмотря на жару, шли своим чередом. Скважина, которую начал бурить Халелбек, уже перешла тысячный рубеж. Долота на буровых Ораза Аширова и Валентина Шилова приближались к отметке восемьсот тридцать метров. Через несколько сотен метров, а на скважине Халелбека и раньше — через десятки! — снаряды должны пробиться к нефтеносному пласту. На новой структурной карте, над которой работал Жалел, сравнивая ее с той, что составил Салимгирей (он определял первые точки под узекские буровые), это четко просматривалось.

Скрипнула дверь. Жалел поднял голову.

— Салам алейкум, — поздоровался он с Тлеповым.

— Алейкум ассалам, — устало ответил тот, садясь на стул. Лицо худое, черное от солнца и тревоги, но одет как обычно: свежая сорочка, модный галстук — шнурком, светло-серый костюм. Даже складка на брюках такая острая, что, того и гляди, порежешься... Жалел, который ходил в чем попало, с завистью посмотрел на Джандоса: как он ухитряется, живя в пропыленной палатке, выглядеть щеголем? Будто обитает в доме со всеми удобствами и дом тот

стоит не посреди пустыни, а на сверкающей улице южного курорта, среди кипарисов и пальм.

— На совещание в Форт? — спросил Жалел.

— Нет, с совещания... С нашими аксакалами толковал... Пересыхают колодцы. Все дальше и дальше гоняем машины.

— И что аксакалы?

— В Уш-Хан советуют съездить.

— Дело. Отец рассказывал: вода прямо нарзан!

— Отец ваш и подсказал. Уш-Хан... Три хана. Странное название.

— Говорят, что из-за этих родников когда-то насмерть сражались. Враги захватили воду, крепость поставили. Тогда три рода объединились и ударили... Страшная была резня. Отбили воду. Отсюда и название...

— Вон оно как... Уж не такой ли жаркий год и тогда был?

— Не знаю,—нахмурился Жалел.—В обычный-то год здесь от воды все зависит. А в нынешнем... Я вчера ради интереса пытался в земле трещину измерить — и дна не достал...

— Да... Пекло. Если вода в Уш-Хане есть и дорога подходящая — пошлем туда водовозки.

Уже почти месяц Узек жил на жестком водяном пайке. Каждое утро начиналось с лихорадки: обернутся рейсовые машины с водой или придется останавливать бурение? Пока все обходилось... Иной раз Жалел и сам не понимал, как можно работать в таких условиях. Бывали дни, когда воды не хватало, чтобы замесить хлеб, и узекцы жили на сухарях, но станки все-же продолжали крутиться день и ночь.

— А гидрогеологи? Слышно о них что-нибудь? — напомнил Жалел.

Тлепов сухо усмехнулся:

— Радиogramму получил из треста. Едет... Девушка!

— Нашли кого прислать,— усмехнулся Жалел.— Ладно, хоть воды немного прибавится: наплачется здесь...

— С девчатами тоже проблема,— вздохнул Джандос.— Видел, что вечерами на пятачке у палаток делается? Ребята друг с другом танцуют. Не приедут девушки — не приживется народ.

— О чем разговор? Комсорг прав: надо письмо составить. Так и так... Ударная стройка... Джигиты пропадают... Девушки! Откликнитесь на зов...

— Ну, а дальше что? — Тлепов не мигая смотрел на Жалела.

— Понятно что... Свадьбы. Дети...

— Не о том, — поморщился Джандос. — Где молодожены жить будут? В палатках на пятнадцать человек?

— Первый дом отдать семейным...

— А кадровые рабочие, на которых разведка держится? Их куда?

— Ну, как-нибудь устроится...

— Как-нибудь... Вот и Алексеенко — комсорг наш — так считает. Составили с ним бумагу. Своим землякам отправил.

— Землякам? — удивился Жалел. — Почему именно им?

— А кому же? Девчата из родных мест хоть поймут меня... Бить не станут. — Тлепов невесело покачал головой: — Поехал. К вечеру постараюсь вернуться. Командуй тут без меня. Хорошо?

Жалел посмотрел ему вслед. Тлепов шел, подчеркнуто прямо, высоко держа голову, и ясно было, что его ничто не согнет: ни жаркое лето, ни безводье... Основательно, прочно стоял он на земле. “Как брат”, — подумалось Жалелу.

Джандос Тлепов родился далеко от Мангышлака — на шелковистых берегах Жайыка. Когда его спрашивали, почему он расстался с благодатными местами, Джандос отвечал коротко: “По любви!”

— В детстве, — рассказывал он, — ничего так не любил и не ждал, как поездки в ночное с лошадьми. Уже взрослым прочел “Бежин луг” и, удивительное дело, узнал свое детство, хоть и далеко Жайык от тургеневских мест. Костер. Печенная в золе картошка. Скачки на лошадях... А бахчи? Крадешься ночью, замирая от каждого шороха. Вот и поле, серебряное от лунного света. Темнеет шалаш сторожа. Свист — и несешься сломя голову с тяжелым, как ядро, арбузом. Бу-бух! Огненный сноп летит к небу. Это сторож проснулся и выпалил из ружья...

Но слаще арбузов были истории, которые рассказывал конюх Жагор. Он повидал свет. Сражался с белыми в гражданскую. Потом

басмачей бил... Был у него орден Красного Знамени и клинок с надписью от самого Фрунзе.

“Есть такое место, где с одной стороны море, с другой стороны море, а посреди пески,— начинал рассказывать Жагор.— Живут там тоже казахи. Какие у них кони! Пятьдесят верст, сто верст пролетят по пескам и свежие — хоть снова скачи. А верблюды? Барсы, а не верблюды. Месяц могут не пить, а уж выносливы... Пушку тащат — будто перышко...”

“Где же это место?” — спрашивали мы.

“Далеко... Видите вон ту голубоватую звезду? Если идти, идти, идти... много дней — то звезда будет прямо над вашей головой и вы попадете в то самое место, где похоронена моя нога...”

Жагор похлопывал по деревяшке, которая заменяла ему ногу. А мы вглядывались в звезду. Она казалась близкой. Один из нас, побывавший с отцом в Жемпитты — степном городке, до которого было верст семьдесят, тянул:

“Не очень-то и далеко... До Жемпитты и обратно”.

“Правда, Жагор-агай?” — допытывались мы.

Он сердился:

“Разве говорил: смотри и не думай? Самое меньшее, то место от нас в двух тысячах верст. Если день и ночь идти будешь, то придешь через полгода... А может, и вовсе не дойдешь, если не будешь шевелить мозгами”.

“А как называется место, где живут кони и верблюды?” — робко спрашивали мы.

“Мангышлак!”

Еще до войны, продолжал вспоминать Джандос, попросился на практику в места, о которых слышал с детства. Увидел море, пустыню, розовый чинк...

— Да что вам объяснять... Не один год вместе работаем...

Жалел тогда слушал рассказ, и думалось ему: “Как, в сущности, хорошо, что одна судьба свела их вместе — Тлепова, Алексеенко, Аширова, Халелбека... И все еще впереди. Все самое лучшее, что может быть в жизни, еще предстоит, еще случится...”

¹ Уважительное обращение к старшему.

От расчетов Жалела оторвал шум. Голоса. Топот множества ног. Будто пчелиный рой жужжал в коридоре. Жалел поднялся из-за стола, открыл дверь. Перед кассой напряженно стояла толпа. К нему сразу кинулось несколько человек:

— Где начальник?

— Спрятался?

— Кассира зови!

Впереди один: свинцовое лицо, застывшие глаза, небритые щеки запали сухими бороздами.

— В чем дело, товарищи? — как можно спокойнее спросил Жалел.

— Уезжаем!

— Где кассир?

— Хватит!

— Пусть деньги выдаст.

Он не различал ни лиц, ни глаз — одна накаленная человеческая масса колыхалась перед ним. Сосредоточился, нашел того, небритого:

— Расчет? Да вы же только приехали? Вот вы... Да, да... Еще ничего не сделали.

— Ну и что? Какое дело? — небритый исподлобья глядел на Жалела. Глаза его странно косили.— Отработал! Уезжаю.

Несколько голосов — хриплые, чужие — поддержали:

— Пусть трактор работает... Он — железный...

— Ха-ха... Чего с ним толковать? Отчиняй кассу!

— Начальника давай! Тлепова!

— Тлепов поехал к родникам,— начал объяснять Жалел.

Его перебили:

— Ишь, к родникам... А мы без воды сидим.

Кто-то рассмеялся судорожным, зловещим смехом. Коридор повернулся: это толпа надвинулась на Жалела.

— А ну, тише! — взорвался Жалел.— Я — главный геолог! Замещаю Тлепова. Какие у вас вопросы? Говорите по порядку. И не все. Кто старший?

Переглянулись. Стало тише.

— Зачем обманули? Говорили, что Узек — не хуже Баку.—

Молодой, франтовато одетый, с усиками говорил на неправильном языке — смеси русских и азербайджанских слов.

В толпе засмеялись:

— Нашел Баку! Асфальт пожиже да дома пониже.

— Не понимаю? Кто обманул? Говорите толком! — Жалел сдерживался, чтобы не сорваться.

— В палатку зайди... В собственном поту купаемся...

— Здесь не курорт,— одним дыханием сказал Жалел.— Здесь пустыня. И говорили об этом прямо. Потому и надбавка идет к основному заработку... Шестьдесят процентов!

— Не в наши карманы,— высунулся небритый.

— А в чьи?

— В шоферские. Водки нету. Бутылку из Форта за пятерку везут...

— Я думал, умирает без воды, а оказывается — без водки...

Жалел стоял, развернув плечи, пристально вглядываясь в лица.

— Не о том, ребята,— крепкий веснушчатый парень в белой кепочке отодвинул небритого.— По делу надо. Первое: питание... Огурцов, помидоров, лука — не видим.

— Кишки от лапши слиплись,— поддакнул небритый.

— А ты чал попей! — посоветовал насмешливый голос.— В момент кишки прочистишь.

— Лучше водки нет лекарства,— гнул свое небритый. Он полез в карман замызганных брюк, достал недопитую четвертинку.— Давно бы умер от жары, если бы не она...— Щелкнул себя по горлу: — Работяга без водки и за ложку не ухватится, не то, что за трубу...

— Чего мелешь? — рассвирепел парень с веснушками.— Кейфовать приехал или вкалывать? В другом непорядок... Бани нет. Клуба... Воды... Как работать? С вахты придешь — умыться не можешь...

— Правильно говорите,— согласился Жалел.— Больше того скажу: наша ошибка. Торопились начать разведку, а быт упустили. Теперь беремся за него. Первое: жилье! К зиме никто в палатках не останется. Всех переселим в дома. Теперь — питание. Получили

радиограмму. Из Махачкалы вышел пароход с овощами, фруктами, соками...

— А водка? — просипел небритый, успевший приложиться к бутылке.

— Пока сухой закон. И по-другому не будет,— отрезал Жалел.— А с шоферами-спекулянтами — разберемся...

— Значит, наладится? — уточнил парень с веснушками. Он о чем-то задумался.— Хорошо, а вода?

— Вода будет! — раздался нежный девичий голос. Это было так неожиданно, что толпа раздалась, и Жалел увидел в конце коридора невысокую девушку-казашку.

— Это что за пигалица?

— Откуда свалилась?

— С неба...

— Или из-под земли возникла?

Девушка нисколько не растерялась, что на нее смотрит столько мужских глаз.

— Не с неба и не из-под земли,— в тон ответила она.— Приехала на машине, чтобы водой вас напоить. А то вижу, мучает жажда,— она покосилась на небритого, который юркнул в сторону.

— Просил козел длинные рога, да остался без ушей! — кинул вслед все тот же насмешливый голос.

Обвела собравшихся огромными темными глазищами. Они были серьезны, — смеялись только губы, нос, щеки...

Появилась простота. Парень с веснушками мягко спросил:

— А если без шуток? Откуда вода появится?

— Вода прямо под нами. Только надо пробурить скважины до водоносного слоя и насосы поставить...

— Шутишь,— не поверил парень.— Геологи без тебя не догадались?

— Конечно, нет. Экспедиция Ахметсафина только недавно закончила работу. Отчет у меня с собой,— она похлопала по небольшому портфелю, который держала в руке.

— Ну, братцы-кролики, пошли чай пить,— развеселился веснушчатый,— коли такая русалка у нас объявилась — уезжать

погодим... — Он застенчиво посмотрел на девушку, предложил вежливо: — Хотите чайку с дороги? Пойдемте с нами...

— Она со мной пойдет! — перекрыл гнусавый голос. От толпы отделился верзила. — Правда, птичка?

Девушка посторонилась, но он, дыша перегаром, прижал ее к стене:

— Договорились? Останешься, довольна, — промурлыкал он.

— Что? Как вы... — задохнулась девушка. И столько в ее словескрике было обиды, несчастья, беспомощности, что все, кто шел к двери, остановились, не понимая еще, что происходит.

— Ломаешься? Не таких... — прогнусавил гигант.

Быстрая звонкая пощечина отпечаталась на плоской скуле парня. Он ухмыльнулся, посмотрел по сторонам, ища поддержки:

— Во дает! Смотрите... Поцеловала! — и заржал.

Жалел узнал его: это был тот детина, что, раскинувшись, храпел под карагачем во дворе гостиницы, а потом швырнул в собаку бутылкой...

Громадным прыжком Жалел перемахнул коридор, отбросил верзилу от девушки.

— А ну, убирайся!

— Откуда шум? — вкрадчиво сказал гигант, проткнув взглядом Жалела.

— Ты, что ли? Давай поговорим... — Верзила моргал красными вывороченными веками. — Задавлю... Гнида, — выдавил он без всякого выражения. Медленно, сунув руки в карманы, пошел на Жалела.

Веснушчатый парень загородил ему дорогу:

— Леша, Леша! Ты что, Леша? Иди проспись! Очумел!

— Поговорить хочу, — сказал верзила, пытаясь отодвинуть парня. Но к тому уже бросились на помощь. Кто-то крикнул, что-то лопнуло, но верзилу вытащили на улицу десятков крепких рук.

— Извините... — Парень с веснушками, в разодранной у плеча рубахе тяжело дышал. — Трезвый — вроде человек. А напьется...

— Кто он такой? — брезгливо спросил Жалел.

— Строитель. Ажигаленко фамилия.

— Местный?

— Нет. С Севера, что ли. По оргнабору... Точно не знаю.

— Погреться, значит, решил,—деланно весело произнес Жалел, чтобы подбодрить девушку.

Она смотрела то на него, то на парня полными слез глазами.

— Мы его по-своему погреем,— парень дотронулся до глаза, который заметно заплывал.— Присадил все-таки, гад! Ну и здоров.— В голосе у него звучало какое-то жуткое восхищение.— А чай приходите пить,— снова напомнил он.— Ребята хорошие. В обиду не дадим...

Улыбнулся, вышел на улицу, зашагал к палаткам, двумя рядами уходящим в пустыню.

— Так вам благодарна... Прямо не знаю... Вы начальник экспедиции? — спросила девушка.

— Нет, главный геолог.

— Ваша фамилия Бестибаев?

— Правильно. Где-то мы с вами виделись?..

— Виделись? Нет. Вашу фамилию мне сказали в Алма-Ате. В министерстве. Я не представилась...— протянула худую кисть.— Тана. Гидрогеолог.

Лицо ее смягчилось, тень тревоги сбежала с него, и глаза показались необычайной красоты. Она откинула назад голову, длинные косы тяжело колыхнулись на груди.

— А-а-а, понятно... Радиограмму о вашем приезде получили. Но мы ждали вас позже...

Тана ответила как-то натянуто и не очень охотно:

— Торопилась. Отец родом из этих мест. Давно не был... В общем, — приехала!

— И прекрасно! — Он не спешил отнять свою руку от ее пальцев. Они чуть-чуть дрожали.

“Где ее мог видеть? Прекрасные глаза верблюжонка. И эти косы... Где?”

— Вы учились в Алма-Ате?

— Нет. В Караганде. А потом — Москва...

— Москва? Я тоже там учился. Кажется, так давно и далеко... Наше общежитие. Кафе “Космос”. Третьяковка... Какое было беззаботное время.— Жалел вздохнул.— Вернуть бы хоть недельку...

— Ой, что вы! — Тана махнула ладошкой.— Так рада, что все кончилось. Зачеты, экзамены, дипломная работа... Со школой ведь получается пятнадцать лет! Учишься, учишься, учишься... Хочется уже работать.

Она сказала это так непосредственно, искренне, так чисто смотрели ее глаза, что Жалел невольно залюбовался: “Удивительное существо... После этого пьяного дурака... Как из другого мира...”

— Почему вы смеетесь? Я — серьезно! Хочу работать! — Тана покачала головой.

— Верю, верю,—успокоил Жалел.—Чего-чего, а работы у нас хватает. Встаем, — думаем о работе. Ложимся — тоже работа из головы нейдет...— И без перехода добавил: — С водой совсем худо...

— Жаркий год. Когда ехала к вам — заметила: в высохших лужах отпечатки ледяных иголок. Значит, дождей не было ни весной, ни позже.

— Да, месяцев пять... Что же мы стоим в коридоре? Пойдемте ко мне в кабинет... Тана отказалась:

— Будем считать, что я представилась руководству. А также местным любителям зеленого змия,— добавила она.

— Так вам же надо устроиться,— спохватился Жалел.— Сейчас отыщем коменданта и...

— Пожалуйста, не беспокойтесь. Уже нашла... И ключ от комнаты получила...

— Ключ? — повторил Жалел.— Откуда? Ни одного готового дома пока нет.

Она поправила прядь волос.

— Мы же геологи. Потолок есть. Стены — тоже.

— Послушайте! — радостно спросил он.—А на практике я вас не мог встретить? У нас. На Мангышлаке?

— Никогда здесь не была. Ну, честное слово,— приложила ладонь к груди. Глаза смотрели чисто, доверчиво, открыто.

“Бывают же такие...—он не мог подобрать слово.— Очи. Да! Очи! Фантастика какая-то. Словно в душу заглядывают”.

— Разрешите вас проводить тогда... До дома.

— Ни в коем случае! —Тана шагнула назад. — Приехала работать. И никого-никого бояться не собираюсь. До свиданья.

Лицо Жалела стало бурым.

— Извините. Не навязываюсь. Всего хорошего.

Тана легко, свободно шла пыльной улицей, помахивая портфельчиком, будто спешила на лекцию. Над палатками трещали алые флажки. Удары мяча доносились с волейбольной площадки. Сухой ветер лениво завывал за поселком песок. Тренькала домбра. А дальше, там, где столбы зноя над червонной, горящей от заката землей,— черные переплетения буровых. Они властно шагали навстречу солнцу, сливаясь с землей в одно неразделимое целое.

Жалел вернулся к себе. Снова засел за расчеты. Работа шла удивительно споро... Над чем он мучился все эти дни? Оказывается, проще пареной репы... Жалел представил перекрученные, сжатые давлением нефтяные пласты. “Они проходят так... Так... И вот так... Получается слоеный пирог. Начинка из нефти и газа. А не соляные купола, как на Эмбе. Значит?” Жалел принялся набрасывать сетку разбуривания.

...Если скважины, которые ведут Аширов, Халелбек и Шилов, еще раз подтвердят его выводы, то... Жалелу стало жарко. Бросил карандаш. Откинулся на спинку стула. “Выходит, Салимгирей ошибается?!”

Пятно на стене превращалось в профиль Гульжамал. Капризные губы. Нижняя, как у девочки, чуть оттопырена. Глаз насмешливо косит.

“...Салимгирей... И ошибается...”

Он потер виски. Вытер тылом ладони скользкий лоб.

Они все танцевали от печки. От Эмбы. От известного. Так проще. Он понимал их. Но здесь, в Узеке, масштабы, условия абсолютно другие. Что подходило для куполов, не годится для его пирога... Еще день-два, и Халелбек вскрыет пласт. Тогда... Или не вскрыет... И что? Ничего. Значит, напортачил он, а не Салимгирей со своей группой.

Откинутая назад голова. Косы... И глаза верблюжонка. Где он мог видеть эту Тану? Или путает что-то...

Какая-то жилка сжалась над бровью. “Что же в ее взгляде? Печаль? Растерянность? Не разберешь. Но точно: видел эту девушку! Только надо вспомнить где...”

Постучал костяшками пальцев по столу. Бесцельно переложил бумаги — материалы для будущей книги о Мангышлаке. Бросилась в глаза выписка: “Природа не действует бесцельно...” “Чье же это? Кажется, Карелина. Да-а-а... Вот удивительный человек. Первый исследователь полуострова. И кто бы мог подумать, что блестящий петербургский офицер жизнь положит на изучение пустынного края. А все началось с эпиграммы на Аракчеева. С фельдъегерем, зимой, в одном сюртучке, выслан в Оренбург. “Природа не действует бесцельно!” Может, и себя имел в виду, когда писал эти строки? Если бы не опала, что ждало бы Карелина? Фрунт, маневры или, если бы улыбнулась фортуна, царские чертоги?.. А так — в Азиатской части России появился ученый. И остался в памяти потомков...”

Он опять взялся за схему. “Складка в Узеке асимметричная... Южное крыло более крутое. Это надо иметь в виду. И тогда... Если она тянется южнее, то... Конечно! Карамандыбас, Тенге тоже перспективны. Туда надо потом идти”.

Ровно, слабо горела лампочка в самодельном — из проволочной корзины для бумаг — абажуре. Жиденький свет плыл по расчетам. Верблюжьих горбы кривых... Восьмерка как бесконечность. Хвосты нулей...

Жалел потянулся. “Теперь ждать, ждать... Халелбек пробурит свою скважину, и хлынет черная, словно ночь, жидкость. Никто толком и не знает, как она образовалась. Даже что такое нефть? Минерал? Минераловид? Минеральное вещество? Если бы не нефть — мир был бы иным. И разве обязательно все знать? Что такое нефть? Или любовь? Разве мы понимаем, что такое электричество?..” Он рассмеялся. Стопкой сложил расчеты. Открыл сейф. Сунул бумаги. Щелкнул замок. “Вот и все! Какой же сегодня день? Надо запомнить. 17 августа. Вторник”. Потянулся. Пора домой...

Отец не спал — принимал засидевшегося гостя. На торе — почетном месте — возвышался незнакомый аксакал с густой, когда-то черной, а сейчас почти сплошь седой морозной бородой.

Жалел поздоровался. Бестибай, представляя гостя, сказал:

— Сары из рода Жанбоз. Я тебе говорил... В Караганде встречались. Теперь вот вернулся. Домой...

Жалел пытался припомнить... “Сары? Караганда? Жанбоз... Жанбоз... Конечно. Это отец Таны! Вот оно что. Только почему он записал ее не на свое имя?” Вгляделся в гостя. “Если есть сходство, то небольшое. Какая же примета? Кажется, если дочь не похожа на отца — к несчастью... Ерунда лезет в голову. Совсем очумел от структур”.

Отец и гость продолжали прерванный разговор.

— Токал моя померла,— спокойно, как о привычном, сказал Сары.— Дочка... молодец у меня. Выучилась. Анженер по водной части.

— А сын? Бегис?

— Начальник шахтоуправления. У его детей уже свои дети...

— А мои внуки еще в школе,— отец закашлялся, вытер цветастым платком вспотевшее лицо.— Халелбек после войны долго не женился. Трудное время. Где уж приторачивать к себе женщину... Жалел,— в его голосе явственно прозвучала гордость,— в Москве учился. Самый главный геолог.

Жалел молча ужинал, поглядывая то на отца, то на Сары. Отец не оправился после болезни: желтое, изможденное лицо. Нос выпирает из ввалившихся щек. Глаза лихорадочно блестят, будто изнутри жжет их сухой огонь. Сары по сравнению с отцом выглядел значительно крепче. Сильная шея, как колонна, поддерживала крупную голову с раздавленными ушами. Видно, в молодости Сары был борцом... Морщины редкие, но глубокие. Руки с короткими, будто обрубленными, пальцами всей пятерней держат пиалу.

— Без ученья теперь как слепой! — важно проговорил «Сары.— Ой-пыр-май,— спохватился он.— У нас Михаил Петровский гостил. Тоже ученый. Как и мой Бегис.

— Петровский? Михаил? В Караганде живет?

— В Москве. Рассказывал, что дознались, кто убил его отца...

Сары сделал паузу, шумно хлебнул из пиалы.

— Ажигали. Сын Туйебая убил!

— Вон оно что... Волчонок! Я-то думал: откуда у твоих

жанбозовцев револьверы? Камча да соил...— простодушно сказал Бестибай.— И раньше говорил: ты ни при чем... Зря на тебя напраслину возводили.

Сары побагровел:

— Напраслина... Сколько терпел! Меня самого...

Он не договорил, раздраженно ткнул пальцем в пространство.

Еще в детстве слышал Жалел эту историю. Туйебай... Большевик Петровский... Коллективизация. Смерть Петровского связывали с Сары! “Так вот кто, оказывается, сидит у отца! Бывший прислужник Туйебая. Потому и дочь записал не на свое имя. Боялся...”

Жалел уколел его взглядом. Сары перехватил, прикрыл тяжелыми веками острые, волчьи глаза. Словно из другого мира, о котором Жалел читал или слышал от стариков, пришел этот угрюмый Сары. Баи. Барымта. Резня из-за скота. “Неужели вот такой старик... Мог убить. Изуродовать. А сейчас сидит рядом. Пьет чай. Дочь — инженер... Поразительно”.

— Ажигали... Являлся в аул — все летело вверх тормашками, — припомнил Бестибай.— И ты был с ним. Почему разошлись? Ты не говорил.

— Ажигали к белому генералу пошел. Слышал о таком? Толстов. А мне, зачем война? Потом Толстов в Персию ушел. Ажигали в песках остался...

Горькая гримаса тронула губы.

— В песках женился. Бегал от гепеу как заяц.— Сары махнул рукой: — Собачья возня. И жизнь — собачья.

— А дети были у него? — спросил Бестибай.

— Сын. Отца, когда взяли — с ворами, говорят, спутался — пропал...

— Яблоко от яблони...— вырвалось у Жалела.

Сары метнул в него мрачный взгляд, дернул толстой шеей, словно ему что-то мешало. Бестибай, сглаживая неловкость, подлил гостю свежего чаю, миролюбиво произнес:

— Что было — прошло... Помнишь, как в одной шахте один уголь рубали? Как мозоли наживали...

— Аллах и новая власть не обидели,— зарокотал Сары.— Могу спокойно умирать. Детей уважают. Никто худого про них и не скажет. Моя Танакоз... добрая... умная... В самой Москве училась!

Нежность, любовь, смирение были в его густом голосе. Жалел невольно поразился перемене. Немало повидавший в жизни старик сидел перед ним. Жизнь прошла, а он все не может забыть какого-то бая, его сына — белогвардейского офицера... Недаром батыра называют в народе “журекти” — джигит, у которого доброе сердце. Трусливого же — “журексиз” — человек без сердца... Кто же он, этот старик, что несет в себе память о прошлом как незаживающие язвы? Бессердечие не уходит, не исчезает бесследно. До конца дней оно рвет душу...

Сары поднялся:

— Пора. Дочка ждет.

Нахлобучил новую зеленую шляпу. Нечеловеческой — звериной походкой, развалисто двинулся к двери. У порога приложил широкую руку к сердцу:

— Жду теперь вас в гости.— Сверкнул исподлобья угольный глаз.— Посмотрите на мою умницу Танакоз!

— Придем обязательно, — пообещал Бестибай.— Соседи. Как без них проживешь? — Хоть и твердит Басикара: сосед хорош, когда забор хороший. Но...

— Что? Жив этот баламут? — вскинулся Сары.— Сколько от него терпел...

— Зачем так говоришь? — укорил Бестибай.— Добрый человек. Если бы не он...— Вспомнилась больница. Режущий яркий свет. Бездна надежд. Пожилой врач в тугом халате разговаривает о погоде, выдавливая из себя малопонятные слова. Басикара! Дорогой мой друг! Да поможет аллах тебе выздороветь, как ты помог мне...

— Баламут! — повторил Сары, как отрезал. Бестибай промолчал: невежливо заводить на пороге спор с гостем. Поводя широкими, еще прямыми плечами, Сары шагнул в ночь. Отец за ним. Проводить.

Жалел походил по комнате. “Танакоз, Танакоз...”¹ Так называл ее этот старик. Из зыбкого тумана проступала девушка. В руках светильник. Она прикрывает его тонкой ладонью. От ветра, дыхания, недоброго взгляда... Поодаль — могильный камень — кулыптас. Пришла поклониться. Отцу, матери, брату...

Вспомнил! Танакоз! Она же, как две капли воды похожа на ту девушку со светильником — Катю-Ботакоз², нарисованную Тарасом Шевченко. Глаза! Овал лица. Руки. Но главное, конечно, глаза. Чистые, огромные, печальные...

Он кинулся в угол, где грудой свалены книги. Выхватил одну, другую. Альбома с рисунками, которые Шевченко сделал во время мангышлакской ссылки, не было. Что ищешь? Вчерашний день? Альбом — подарок Гульжамал с нежной надписью: “Вспоминай любовь и Мангышлак!” — конечно, не взял с собой. Как и другие ее подарки...

Все равно — сомнений нет: сходство необычайное. Он хорошо запомнил рисунок, потому и мучился: где видел девушку? Тонкий стебелек, живой росточек связывает нас со всеми людьми... Прошедшими, сегодняшними, будущими. Они живут в нас, как тепло материнской руки, прикасавшейся к тебе давным-давно, в детстве.

Этот Сары. Его дочь — Танакоз, словно сошедшая с рисунка великого украинца.

Или Петровский, о котором рассказывал отец... Они в тебе и с тобой, пока ты жив. А потом тепло передастся твоим детям, внукам... И дальше, дальше, пока человек имеет право называться человеком, сохраняя в себе тепло и кровь, переданную матерью.

Но как же тогда зло? Пьяный амбал, налетевший на беззащитную девушку? Или Сары, бывший в молодости байским прислужником? Откуда в них родилась ненависть? Или у них не было матери? Или им подменили сердца, вставив ледышку вместо живого, трепетного комка плоти?

— Один? За дастарханом? — вывел его из задумчивости голос брата. — А где коке?

¹ Большеглазая.

² Глаза как у верблюжонка. То же, что большеглазая.

— Ой, Халелбек! Как хорошо, что ты приехал,— обрадовался Жалел.— Садись. Сейчас чай сделаю... Отец вернется. Пошел проводить гостя. Сары у нас был. Слышал о таком?

— Сары?! Не может быть...

— Точно, он. Вернулся в Узек. С дочерью. Она — гидрогеолог.

— Сары! Надо же... Помню, помню... Папаха как казан. Руками подковы гнул. Ну и камчой махал. Правый, виноватый. Как Туейбай скажет, так и будет. Чей хлеб жуешь, того и песни поешь...

— Так и подумал.— Красные пятна пошли по лицу Жалела.— Кажется мягким, как старая рукавица. Но представляю, что его камча гуляла по отцовской спине...

— Ой, Жалел,— перебил брат,— прошлое само похоронит своих мертвецов. Спросил бы лучше, как дела на буровой.

— Есть новости?

— В бурении без них не обойдешься,— уклончиво сказал Халелбек. Отломил кусок лепешки, стал жевать, не дожидаясь чая.— Есть охота... Прямо терпения нет...

— Халелбек! Я серьезно...

Крупно вылепленные губы брата растянулись в улыбку.

— Давно таким серьезным стал?

— Ну не томи...

— Ладно. Серьезному человеку даю деловую информацию: через вахту, самое большее через две — дойдем до нефти.

— Нефтяной пласт задышал?

— Еще как! Песок прямо пенится в глине. И гул слышно. Газ! Раствор дважды утяжеляли. Уехал, — а сердце неспокойно. Сейчас снова поеду. Ненадолго я... Хотел...

Жалел, не слушал:

— Все верно! Сходится!

— Что сходится? — переспросил Халелбек.

— Мои расчеты.

— Твои? Но скважину ставил Салимгирей?

— По его схеме месторождение и за десять лет не освоишь...

— Да, если что-нибудь понимаю,— заметил Халелбек,— месторождение мощное. Надо только с умом...

— Вот и говорю: по старому методу толку не будет.

Брат спокойно произнес:

— Зачем по старому? Действуй по новому...

— Легко сказать. А Салимгирей? Знаешь, какой у него авторитет?

— Ты так считаешь? Авторитет важнее дела? Первый раз от тебя слышу.

— Не так меня понял... Во-первых, учился у него. Во-вторых... — Жалел, смешался. — Во-вторых... В министерстве... Есть такой Ерден Малкожин...

Луч понимания мелькнул в глазах брата.

— Не крути. Кто соль ел — воду пьет. — Он подошел к Жалелу, положил руку на плечо. — Есть верный способ. Если сомневаешься, спроси: на фронте как бы поступил?

Губы Жалела дрогнули. Он как-то скрипнул горлом:

— Давно кончилась война... Какой фронт?

— Нет. Жизнь одна, и решение всегда одно. Чет или нечет. Орел — решка. Кто путается посредине... Ну, сам знаешь...

Жалел напряженно слушал. Брат снял тяжелую руку с его плеча.

— Делай, как считаешь нужным. Просто сказал тебе, что думаю.

— Понимаю.

— Теперь вот что... Не вырваться мне в Майкудук. Съезди ты. Мать привезешь. Ребят и Жансулу захватишь. Поди, уж волнуется: отпуск у нее кончается...

Жалел, затоптался на месте. Самоварный румянец полз от шеи к подбородку, на щеки...

Ни словом, ни намеком не упрекнул брат.

— Неделю собираюсь в Майкудук — и все не могу выкроить время.

— Халеке, не беспокойся. Сделаю! Прямо завтра! Брат повел кустистыми, как у отца, бровями:

— Мать-то обрадуется. Снова все вместе будем.

Но и на следующий день Жалелу не удалось съездить в Майкудук. Утром на скважине Халелбека ударила нефть, он поехал

на буровую, пробыл там до обеда, наблюдая за поведением пласта. В полдень над Узекком пролетел и сел за поселком “Ан-2”. Приехала специальная комиссия во главе с Салимгиреем, которая должна была на месте уточнить окончательную схему бурения Узека.

Комиссию встречал Джандос. Жалел, ждал гостей в конторе, маялся с час, не зная, куда себя деть. Наконец Тлепов позвонил.

— Мы на буровых! Заседание будет ночью! — кричал Джандос в трубку, но искаженный расстоянием и помехами голос слышался как сквозь вату. — Ты подготовься. Понял? Говорю: Под-го-товь-ся! Ну? Есть время. Время, говорю, есть... Для чего? Фу, черт... Не слышно. Вкатим комиссии. Понял?.. Погоди... Забыл... Тебе привет... От кого? Секретарша Салимгирея передала...

Жалел, подержал гудящую трубку. Осторожно, как стеклянную, положил на рычаг. Значит, и Гульжамал прилетела. Ее только не хватало... Задача. Надо садиться за расчеты, посмотреть еще раз...

Любое нефтяное или газовое месторождение осваивается с помощью многочисленных скважин по определенному плану — сетке разбуривания. Шаг сетки, — то есть, на каком расстоянии друг от друга бурятся скважины — один из главных вопросов. Его решение зависит от многого: хорошо или плохо пласт отдает нефть; режима работы залежи — подпирает ли ее с боков вода, газ, растворенный в нефти; есть ли газовая шапка в куполе месторождения.. Таких режимов в нефтяной геологии насчитывается пять, причем нередко они действуют одновременно. Все это, как и другие факторы — свойства пласта, глубина и стоимость скважин, возможность поддержания в залежи искусственного давления, — учитывается при составлении проекта.

Конечно, чем больше пробурить скважин, тем быстрее и больше можно выкачать нефти из пласта. Но бурение обходится дорого даже в обжитых районах, составляя примерно половину стоимости всех работ. Что же тогда говорить об Узеке? Сотни километров до Форта, где, кроме небольшого заводика да слабеньких авторемонтных мастерских, нет промышленности. Любую деталь надо везти из Гурьева или из-за моря — Баку, Махачкалы, Астрахани...

Жалел не один день ломал голову, как сократить число разведочных скважин. Ведь на следующем этапе — подготовке Узека к эксплуатации — залежь все равно будет утыкана буровыми. Повысить коэффициент нефтеотдачи и сэкономить средства на бурении — вот такая задача стояла перед ним.

Из-за жары совещание открылось ночью. В первом часу, когда луна уже висела над поселком, в кабинете Тлепова собрались геологи, буровые мастера, прилетевшие гости.

— Все заговорщики, кажется, в сборе, — пошутил Салимгирей, открывая совещание. — Итак, вопрос один: проект разведки Узека. Разрешите, пользуясь правом старшего — не по званию, — уточнил он, — по возрасту, высказать предварительные соображения.

Салимгирей сделал паузу, взглянул на Гульжамал, которая вела протокол, сидя за отдельным маленьким столиком. Все, кто присутствовал на совещании, поглядывали на молодую женщину. Ее откровенная, дразнящая красота не могла не тревожить. Жалел тоже украдкой смотрел на нее, но она даже головы не повернула в его сторону.

— За последние годы казахстанские нефтеразведчики накопили определенный опыт работы, — неторопливо, словно читая студентам лекцию, продолжал Салимгирей. — Разведка таких площадей на Эмбе, как Каратон, Прорва или Карсак, по проектам, составленным нами, показала, что они выдержали проверку и практикой и временем...

Он вынул из кармана очки с золотыми оглобелями, приладил их на носу. Перелистал бумаги, лежавшие перед ним.

— Думается, нет веских причин, которые могли бы заставить нас отказаться от того опыта, который неоднократно и успешно приводил к цели. На наш взгляд, целесообразно применить уже испытанный метод и схему, оправдавшую себя ранее. Следовательно, после того как нашли первые скважины, а мы на месте познакомились с результатами, и они вполне подтвердили наши прогнозы...

Салимгирей потянулся к стакану, в который Гульжамал предупредительно налила минеральную воду. Сделал несколько маленьких глотков.

— Посему предлагаем идти от известного к неизвестному: ставить буровые рядом со скважинами, откуда уже получена нефть, и, таким образом, последовательно оконтуривать месторождение. Способ этот апробирован не только у нас, но успешно используется за рубежом. В частности, американцами, англичанами... По отчетам, которые опубликованы, около пятидесяти процентов скважин на площадях, разбуренных по такой схеме, оказались продуктивными...

Салимгирей снял очки, добродушно посмотрел на собравшихся:

— Знаете, такой жары что-то в своей жизни не припомню. Нечто подобное, кажется, пережил Иван Михайлович Губкин. Он рассказывал, что в бытность свою на Апшероне наблюдал что-то похожее: выпитая вода,— Салимгирей отогнул белоснежный манжет и показал блестящее от пота запястье,— моментально испаряется из организма.

Зашумели, задвигались, почувствовав себя свободней.

— Даю тебе слово,—шепнул Тлепов Жалелу. — Готов?

Жалел кивнул. Присутствие Гульжамал или та ответственность, которую он взвалил на себя сегодня, но Жалел был весь как сжатая пружина. Твердо, ступая, вышел к столу, оглядел схемы. Подошел, поправил одну: показалось, что висит криво. Вернулся. Золотые волосы Гульжамал казались чужими, вовсе незнакомыми.

— Я внимательно выслушал выступление уважаемого профессора,— начал Жалел,— и, если быть откровенным, не согласен с ним. Мы против такой схемы.

— Мы или лично вы? — влепил чей-то тонкий голос. Тлепов постучал карандашом по столу:

— Не перебивайте, товарищи.

— В данном случае высказывается коллективное мнение экспедиции,—уточнил Жалел. Он поднял узкую ладонь к горлу, словно что-то мешало ему.

“Как отец, когда волнуется”,— подумал Халелбек.

— Схема, которую нам предложили, несомненно, удачна и апробирована. Но для небольших площадей. Это первое. Она вполне пригодна в тех районах, где уже создана основательная матери-

ально-техническая база. Это второе. А в-третьих, проект требует большого количества специалистов. А что мы будем иметь в ближайшие годы? Огромное месторождение, которое, даже по наметкам геофизиков, раскинулось на площади более шестисот километров. Значит, самое меньшее, необходимо пробурить около двухсот скважин, чтобы оконтурить Узек. Сколько же буровых станков, а главное — бригад надо завезти в пустыню, чтобы решить эту задачу? Напомню, что сегодня даже десять бригад — пока несбыточная мечта.

— Что же вы предлагаете? — ядовито спросил все тот же тонкий голос. — Критиковать чужую работу легче... А чужой опыт, не имея своего, перечеркнуть еще проще...

— Товарищи! — перебил строго Джандос. — Уважайте оратора!

Он хмуρο взглянул на члена комиссии — обладателя тонкого голоса:

— Вы получите возможность высказаться первым. Но дайте закончить.

— Узек — гигант, и с Эмбой сравнивать нельзя. Представьте слоеный пирог высотой в километр. Причем слои нефти и газа, видимо, перемешаны так, что, если проводить разведку по методу “дикой кошки”, как нам рекомендуют, — потребуется лет десять—пятнадцать. Такого запаса времени у нас нет. Задача, поставленная партией, предлагает решить разведку Узека, самое большее, в пять лет.

Идя к схемам, развешанным на стене кабинета, Жалел прошел мимо Гульжамал. Она сидела за столом, низко наклонив голову, и что-то быстро черкала на бумаге.

— Вот разрез глубоко структурной скважины нашего месторождения, — продолжал Жалел. — Она делится как бы на три отрезка. Первый — газовый слой. Его глубина от двухсот до девятисот метров. Второй слой — нефтяной. От тысячи ста пятидесяти до тысячи четырехсот метров. А третий слой, — смешанный — нефть и вода. Он продолжается до глубины двух тысяч метров. Ниже этого слоя ни нефти, ни газа пока не обнаружено. Вот почему Узек, как нам кажется, надо разведывать в три временных периода.

Первый период. Здесь нас больше всего интересует нефть. Стало быть, людей, средства, технику надо направить на исследование нефтяного слоя. Второй период: нефть и газ исследуются одновременно. Когда же дойдут руки, возьмемся и за нефть, перемешанную с водой. Необходимые расчеты и обоснования экономистов сделаны, и, чтобы не задерживать ваше внимание подробными выкладками, останавливаться на них не стану. После совещания каждый может получить экземпляр схемы разбуривания. Скажу только, что, по нашим расчетам, потребуются на первом этапе пробурить всего шестьдесят скважин и закончить первую часть работы года за три, а может — раньше.

Все-таки братишка очень волновался. Халелбек отметил и прыгающие серые губы, и неловкие движения, когда Жалел собирал бумаги, и голубую рубаху, взмокшую на спине и под мышками.

— Выдал как надо, — шепнул Джандос, когда Жалел вернулся на свое место.

— Послушаем, что скажут...

Члены комиссии, сидевшие рядом, переглядывались.

— Вы, кажется, просили слово? — Джандос в упор смотрел на человека с тонким голосом.

— Я скажу, — поднялся пожилой, солидный товарищ в темном, несмотря на жару, двубортном костюме. Пухлые щеки мягко лились на воротник, туго перехваченный галстуком. — Позвольте с места... Выступление нашего молодого коллеги мне понравилось. Такая горячая заинтересованность в деле, которое действительно является крайне важным, не может не вызывать одобрения. Хорошо, когда молодые люди, продолжая дело, которое столь успешно начинали представители старшего поколения...

— О чем он? — недоумевающе спросил Жалел. Тлепов пожал плечами:

— Мягко стелет...

— Но искренность, горячность, как и молодость, — не доказательство правоты и не аргумент. Что нам предлагают? Снять сливки, а остальное держать в сундуке. До тех пор, пока, как выразился Бестибаев, дойдут руки. Но государственный ли это подход? Месторождение уникальное, и авантюризм не только не уместен,

но и вреден. Он может погубить месторождение, а экономия в начальной стадии вполне может обернуться убытками в дальнейшем.

Выступавший помолчал, пожевал губами. Жидкая прядь волос налезла на глаза, открыв желтую лысину.

— Думается, авторитетной комиссии надо внимательно проанализировать расчеты наших молодых и немолодых,—оратор покосился на Тлепова,— геологов, а уж потом высказать окончательное мнение. Пока же, чтобы не терять времени и выполнить задачи, поставленные двадцать вторым съездом партии, продолжать работы, по апробированной схеме, о которой столь убедительно говорил уважаемый Салимгирей.

“Что он делает? — ужаснулся Жалел.— Режет! Хоронит и в крышку гвозди вколачивает... Авторитетные комиссии работают месяцами. Даже если находят спорное решение верным — время безнадежно упускается...” Джандос сжал ему руку, показал на Салимгирея:

— Решающее слово за ним. Успокойся...

После тонкоголосого выступило еще семь человек, и мнения разделились. Когда все уже порядком устали, слово взял Салимгирей.

— Пока шли дебаты, я наскоро сделал кое-какие подсчеты. Конечно, не могу поручиться за абсолютную точность, но они в пользу предложения Бестибаева,— коротко сказал Салимгирей. Он выглядел столь же свежим, как и в начале совещания. Умно, немного насмешливо смотрели сквозь очки глаза, упругие щеки налиты румянцем, руки с ухоженными длинными ногтями покойно лежали на столе.— Нам предлагают, товарищи, нестандартное и, пожалуй, остроумное решение. Мне показалось, что в некоторых деталях оно недодумано, несколько торопливо... Но в принципе я — за! Авторы доработают его, учитывая специфику Мангышлака, а комиссия, коли ее создавать (правда, я не совсем уверен в ее необходимости), должна помочь им в этом деле.

— Какой старик, а? Всем сестрам по серьгам! — толкнул Жалела Юрий Алексеенко — главный инженер экспедиции.— Не побоялся признать, что не прав... Теперь понимаю, как он такую красотку увлек...

Салимгирей и Гульжамал о чем-то переговаривались, склонясь друг к другу так близко, что казалось, их лица слились. Жалел мельком взглянул, отвел глаза.

— Нет, ты только посмотри,—не унимался Алексеенко.— Влюблена прямо как кошка. Везет же... С такой можно не только на Мангышлак, — на край света умотать.

Жалел слушал рассеянно. Мысли текли вяло, голова казалась легкой, опустевшей, как бы чужой просто коробкой. Все, что его только что волновало, мучило, жгло, вдруг отделилось, будто и не принадлежало ему.

— Край света... Знаешь, есть такой мыс. На Севере, что ли... Махнуть бы туда. В холодок.

— Ты что? — Алексеенко удивленно уставился на него.— Какой мыс? Устал... Давай отоспись завтра.

— Дежурю...

— Подменю тебя! Идет?

— Спасибо, — сказал Жалел. Ему и впрямь хотелось одного: прийти домой, лечь и уснуть.

Через день комиссия отбыла в Алма-Ату, но Салимгирей, к удивлению многих, остался: решил еще раз объехать те площади, на которых разведка, проводившаяся в прошлые годы, не выявила промышленных запасов нефти. Салимгирей считал, что работы на них необходимо продолжить, и искал новых доказательств своей точки зрения.

— Неутомимый человек! — восхищался Тлепов.— Загонял всех. Члены комиссии рады, что уезжают, а то бы Салимгирей и их в самое пекло потащил. Прямо позавидуешь его энергии...

— Позавидуешь,—думая о своем, откликнулся Жалел.

Все эти дни мысль, что Гульжамал рядом, а он не может даже подойти к ней, поговорить, угнетала его. Только работа выручала: рано утром он уезжал к Халелбеку и там, в тесном вагончике, работал над проектом. Дело двигалось медленно, и если бы не брат — он одним своим присутствием успокаивал Жалела, — проект, конечно, не поспел бы к сроку, обговоренному комиссией.

Тлепов наклонился, рассматривая карту, которую Жалел закончил и теперь принес показать.

— Значит, здесь ставим буровую Шилова, тут — Ораза... А брат твой... — Джандос отыскал карандашную точку, — будет бурить здесь. Новая схема в действии?!

— Конечно, зачем терять время?

— А если министерство не утвердит наши предложения?

— Сомневаешься в нашей правоте?

— Видишь ли, древние греки говорили, что в каждом начинании надо соблюдать три правила: подчинять стремления разуму, соразмерять свои силы с теми задачами, которые надо решить, и соблюдать благородную меру во всем остальном...

— Греки, конечно, мудрецы, но есть и мудрый Салимгирей...

— Хочешь сказать, что он на нашей стороне?

— Конечно. И он все сразу понял.

— Он-то понял. А вот Малкожин...

— Что Малкожин?

— Перед самым отъездом еще раз переговорил с членами комиссии, которые встретили наш проект настороженно. Они намекнули: Малкожин де недоволен нашей работой, медленными темпами. Ну и, как выразился один из них, завиральными идеями, которые отвлекают от основных задач...

— Что же тогда они считают главным? Гудеть в старую дуду...

Джандос поднял бровь:

— Малкожин противник серьезный.

— Работал у него. Знаю... Но все же геолог. И опытный. Не может, вернее, не должен зарубить идею...

— Зарубит... Не зарубит... — Джандос прошелся по комнате от двери до окна. — Личные качества, представь себе, играют роль... И немалую. Малкожин человек сложный.

Жалел насторожился. Он слышал какие-то толки, ходившие по министерству, о давней распре между Тлеповым и Малкожиным. В молодости они дружили, учились в одном вузе, на одном курсе. Но мало ли кто и о чем говорит? Пустая бочка гремит громче... И вот сейчас Джандос сам напомнил...

— Мне кажется, надо обратить внимание на две вещи, — спокойно продолжал Тлепов. И тени промелькнувшей тревоги не было у него на лице. — Первое — форсировать бурение. Задер-

живают нас вышкомонтажники. Надо с ними разобраться и помочь им. Второе — вода! Без нее — зарез! Нужны наши предложения. Откуда будем питать скважины? Протяженность водовода? Сроки?.. Сам понимаешь — ошибиться нельзя. Кстати, ты говорил об этом с Жанбозовой?

— Нет. А как у нее дела?

— Тебя хотел спросить. Пока она в твоём подчинении. Жалел вспыхнул:

— В моем-то моем... Но не вижу ее. Хоть бы зашла рассказала, чем занимается.

— Неделовой разговор, — сухо вато заметил Тлепов.— Магомет к горе или гора к... Да вон и Жанбозова сама...

Жалел взглянул в окно. Отворачиваясь от ветра, шла Тана. За ней Саша, шофер Тлепова, согнувшись волок тяжелый, видно с образцами пород, желтый рюкзак.

— Присылают какой-то детский сад,— с досадой сказал Жалел.

Тлепов улыбнулся:

— Напрасно так считаешь. Симпатичная девушка. Лишний раз поговорить с ней... Был бы я помоложе...

— Женихи и без нас найдутся, — взвинулся Жалел, не принимая этой шутки.— Вот работники, с которых спросить можно...

— Значит, надо спрашивать, прежде всего, с самих себя.

Тлепов как бы подвел черту под разговором. Жалел вышел из кабинета багровый и, не заходя к себе, сразу же дошел до конца коридора, где в темноватой крошечной комнате работала Тана.

— Добрый день! — холодно поздоровался Жалел.— С приездом!

— Спасибо, — обрадовалась Тана, не замечая ледяного тона.— Чаю хотите?

Она отложила керн, который рассматривала, встала из-за стола.

— Чаи распивать времени нет,— Жалел нелепо взмахнул рукой.— Почему вы за все время не удосужились доложить, как идут дела?

— Жалел Бестибаевич, я...—Тана растерялась.—Видите ли...
Прежде всего хотела узнать...

“Почему так разговаривает со мной? Чем я обидела его? Какой он разный... Спас от пьяницы... Так сердечно встретил. И вдруг...”

— Что хотели узнать?

— Хотела на месте познакомиться с теми результатами, которые уже получены. Сориентироваться...

— Не слишком ли долго?

— Как раз сегодня собиралась зайти к вам, и...

Жалел, перебил:

— Кто же помешал? Шофер Тлепова?

Это уж было слишком. Глаза Таны погасли, задрожали ресницы. Жалел, чувствовал, что резок, несправедлив, выглядит недостойно, быть может, глупо, но овладеть собой не мог. Напряжение последних недель — стычка с пьяным строителем, работа над проектом, приезд Гульжамал, выступление на совещании — все сплелось в один клубок.

Тана стояла молча, с багровыми щеками, словно ее только что хлестнули по лицу.

— Жалел Бестибаевич, я не...— голос у нее прервался. Он не дал закончить:

— Прошу вас не повторять ошибок. И не оправдываться, а работать. Работать! — повторил он срывающимся голосом.—Жду вас после чая!

Повернулся, вышел за дверь.

“Что я наговорил? Зачем? Откуда это во мне? Пытаемся познать мир, а знаем ли самих себя? Свое сердце...”

Он пробежался по комнате. У зеркала, рядом с вешалкой, на которой болтался брезентовый плащ, остановился. В пыльном стекле отразилось чужое лицо: беспокойный, затравленный взгляд, презрительно сжатые губы, щетинистый подбородок. “Маска? Или это и есть я сам? Когда открывается сущность? Или, как у Гульжамал, этого никогда не угадать?” Почему он не может освободиться от нее? Сколько можно тащить за собой прошлое? Неужели всю жизнь, как свою тень... Боль сидит в тебе, и никаким скальпелем не вырежешь, никаким рентгеном не просветишь.

“Гульжамал! Неужели ты не чувствуешь, как мне плохо? Разве я могу без тебя?”

Он грохнул кулаком по зеркалу. Боли не почувствовал. По руке стекала кровь.

— Жалел-агай! Что с вами?

Перед ним стояла испуганная секретарша Тлепова.

Он понял не сразу.

— Со мной? Что со мной?

Девушка, не отрываясь, смотрела на разбитую руку.

— А-а-а, это...—голос его звучал безразлично.— Сейчас перевяжу. Порезался...

— Вас просит зайти Тлепов. Давайте, я вам помогу... Она потуже затянула платок.

— Тлепов вызывает? Зачем? Мы с ним только что говорили...

— Гость приехал.

— Кто еще?

— Товарищ Малкожин из министерства.

— Ерден? Как он здесь очутился?

— На машине приехал,— простодушно пояснила секретарша.—Выпил чаю, а теперь сидит в кабинете Тлепова и ждет вас...

— Хорошо. Скажите, что... Впрочем, ничего не говорите. Сейчас приду.

Он сел за стол, пытаясь собраться с мыслями.

“Салимгирей и Гульжамал здесь. Малкожин — тоже. Все в сборе...”

ГЛАВА ПЯТАЯ

Больше всего Жалел любил утро. Он просыпался рано, в один и тот же умытый ночной прохладой час, когда плоская как стол вершина горы за Узекком едва розовела, и, стараясь не потревожить отца, выходил из вагончика. Пока сын собирался, Бестибай деревянно лежал на кошме, крепко сжимая веки, будто Жалел мог догадаться, что ему давно уже не спалось. Гремел рукомойник, легонько стучала, обитая жестью дверь, скрипел песок, наметенный у крыльца. Потом все стихало. Значит, Жалел ушел в степь.

Сначала Бестибая удивляли эти утренние прогулки: куда уходит? Зачем? Как-то спросил у сына, тот весело блеснул глазами: “Гуляю. Смотрю...”

“Бродить ни свет, ни заря по пескам? Нет, тут что-то другое. Наверное, когда солнце поднимается над землей, тогда лучше видны все ее внутренности. Вот и высматривает, где зарыта нефть,— решил про себя Бестибай и одобрил: — Хорошо. Времени не тратит...”

Он лежал с открытыми глазами, прислушиваясь к себе. Тело по утрам будто чужое, только боль своя: ломило поясницу, саднило грудь, как иголками кололо давно застуженные ноги. Старик собирался с силами, садился на кошму, поглаживая грудь, в которой что-то булькало, сипело, как в самоваре, когда углей в нем много, а вода почти выкипела; кряхтя, совал ноги в глубокие, на малиновой подкладке калоши — подарок Халелбека — и выходил во двор. На воздухе кашель, сотрясающий его, немного отпускал. Бестибай вытирал слезы, катившиеся по щекам, оглядывал двор. Прямоугольный кусок пустыни, огороженный кольями с натянутой между ними проволокой, чтобы не заходили бараны (местные чабаны по старой памяти еще гнали отары через поселок), был чисто подметен, как вылизан, сухим ветром. Но Бестибай все равно замечал непорядок, — покосившийся кол, провисшую проволоку. Поправлял их. Прищурившись, смотрел в ту сторону, где высилась буровая Халелбека. Впившись в землю железными ногами, она была на том же самом месте, что вчера или неделю назад. Мерцающие, зажженные с вечера огоньки облепляли буровую, и ка-

залось, они кружат вокруг нее. Только один, на самом верху, там, где полоскался флаг, горел ровно, не мигая, будто одинокая красноватая пылинка.

Рядом с буровой дымилось каракулевое облачко. Это земля выплевывала нефть, которая недавно ударила из глубины. Весь Узек тогда сбежался к буровой Халелбека. Кричали, обнимались, мазали друг друга нефтью. Бестибай тоже набрал в пригоршню темной жидкости. Тяжелой, густой, вонючей, от которой одежда, руки долго пахли керосином.

Потом митинг был. Партийный секретарь из Форта очень Халелбека хвалил. И про Жалела сказал хорошие слова. Бестибай стоял рядом с сыновьями, и гордость пенилась в нем, как кумыс: была земля, ходили по ней люди, бродили стада, ветер гнал песок, и никто не знал, что внизу нефть. И вот его дети нашли черную воду, которой, говорят, цены нет.

Бестибай представлял, как от юрты к юрте, от зимовки к зимовке — на Бузачи, Эмбу, Кара-Бугаз, Арал и еще дальше — в города, где бывал, и в другие, о которых только слышал, катится весть об этом.

В мыле лошади. Желтая пена падает с удил на песок. Спешат, торопятся гонцы.

— Есть ли новости? — спрашивают всадников.

— Есть! — важно отвечают те, перегибаясь с седел, принимают кесе¹ с ядреным чалом. — Возле Узека в земле провертели дыру. Из нее нефть хлещет. День и ночь!

— Кто провертел?

— Сыновья старого Бестибая!

Поглаживаются бороды. Цокают языки. Начинаются толки о дальнейшем течении жизни.

— Слыхали? В Узекe нефть нашли!

— Ио-о-о! Нашли нефть? Жаксы, жаксы! ² “Великое дело — добрая весть. Скачет она впереди всадника. Услышишь ее — и будто все твои овцы принесли по двойне. Эх, дал бы аллах силы

¹ Пнала

² Хорошо.

— не торчал бы возле этой клетки на железных колесах, а сел на верблюдицу да поехал от аула к аулу, рассказывая о нефти...”

Бестибай отводил взгляд от вагончика, расстилал платок, припадал на колени, шевеля губами. Он то сливался с землей, то выпрямлялся, воздевая вверх руки. Слова были короткие, как дыхание. Старик благодарил за удачу, посланную сыновьям, просил отпустить еще немного дней, упоминая слово “нефть”. Оно вырывалось неожиданно, вроде само собой, и рядом с другими, въевшимися с тех пор, как помнил себя, привычными словами звучало кощунственно. Бестибай, на всякий случай, шелестел им быстро, как бы извиняясь. Но разве без этого слова можно начинать узекский день?

Нефть... С утра до вечера это слово висит над поселком, вспыхивает в разговорах, журчит в проводах, проступает на бумаге, стучит в дизелях и насосах буровых, мчится по дорогам, задыхаясь в жаре и пыли. Нет, не лихие джигиты на выносливых, не знающих усталости адаевских конях разносят новость по свету. “На Мангышлаке нашли нефть!” — повторяют снова и снова радио, газеты, телевидение, известие будоражит, жжет, волнует множество людей, далеко выходя за пределы отпущенного им скудного и короткого пространства, именуемого человеческой жизнью. “На Мангышлаке нашли нефть!” Значит, в стране будет еще один нефтяной район, а с ним — города, дороги, трубопроводы, заводы. Тысячи людей приедут в пустыню, и, чтобы они прижились на новом месте, нужно решить тысячи вопросов. И, прежде всего: вода, пища, жилье, электроэнергия. Все — от бурового станка до иголки, от самосвала до сапог — надо забросить на полуостров, чтобы индустриальное сердце, пока еще робко забившееся в Узеке, заработало уверенно, мощно, ритмично. “На Мангышлаке нашли нефть!” Она даст краю, республике, стране новую силу. Об этом говорят в кабинетах, лабораториях, редакциях. Настоящее большое дело не кончается каким-нибудь днем или часом. Оно рождает новые и новые дела, втягивая в себя все больше и больше людей. Кажется, за тысячи километров от пустынного полуострова рудники, шахты, нивы, домны, заводы... Но, добывая железную руду или уголь, выплавляя сталь или чугун, выращивая хлеб, испытывая новые машины или

вычерчивая контуры будущего города, горняки, земледельцы, сталевары, архитекторы, быть может сами не подозревая о том, крепко связаны с Узекком.

И уже на месте палаток, юрт, щитовых домов, вагончиков, наскоро прилепившихся к узекской земле, видится белокаменный город. Скверы с тенистыми деревьями, под которыми играют дети и сидят влюбленные. Дрожащий свет неоновых витрин по вечерам. Шуршание шин по мокрому асфальту. Прозрачный аквариум аэропорта. А за городом, за широчайшим световым экраном, отражающимся в небе так, что меркнут звезды, алыми, белыми и желтыми огнями светят буровые. Они шагают к горизонту размашисто, упорно, неостановимо, вскрывая все новые и новые нефтяные пласты, а по их следам насосы-качалки высасывают из-под земли темную густую кровь, без которой немислима сегодняшняя жизнь. Узекское месторождение, как и город, только-только начинает жить, и у них все впереди...

— На Мангышлаке город будет! — кричит охрипший от пыли всадник.— Узек!

— Узек городом станет? Э-э-э... Болтаешь, парень!

— Мой язык не овечий хвост! — горячится гонец в сердцах, оскорбляя коня плетью.

Уже и топот копыт пропал. Пыль улеглась. Но головы все еще повернуты в ту сторону, куда умчался лихой джигит.

— Город будет? Узек? Значит, адаи в каменных домах жить будут. Ну и дела!..

“Эх, сбросить бы с себя годы, вскочить, как бывало, в седло, не касаясь стремени, да промчаться по степи с доброй вестью!” — думалось Бестибаю.

Кашляя и вздыхая, шел в вагончик за чайником, стараясь не пролить ни капли, наливал воду, ставил на кирпичи, — очаг в углу двора Бестибай соорудил сразу же, как приехал в Узек.— укладывал под днище курай, щепочки, клочки газеты и чиркал спичкой. Живой горячий цветок вырастал на глазах. Пламя притягивало, завораживало, и чем больше он глядел на трепетные язычки, лизавшие закопченные бока чайника, тем беспокойнее делалось на душе. Будто из пламени следило за ним пристальное

око, спрашивая о чем-то или ожидая ответа. А он, словно в полусне, не мог ни отвести взгляд, ни ответить, ни укрыться от всевидящего огненного глаза. Чувство тревоги было сначала расплывчатое, но оно постоянно жило в нем, хотя старик и пытался убедить себя, что все хорошо.

Разве не выбрался он из больницы, откуда не чаял уже уйти на своих ногах? Разве теперь сыновья не рядом с ним? Разве не живет он в знаменитом на весь Мангыстау, — да что там Мангыстау, бери выше! — на всю республику, на всю страну Узек? Сколько новых людей пришло в пустыню? И всё приезжают, приезжают... А какие машины появились здесь! И ползают, и летают, и даже камни жуют, так что одна только пыль летит... Нет, что и говорить — повезло ему под старость. Был бы жив Петровский — разве бы не обрадовался он тому, что происходит сейчас на Мангышлаке? Разве стал бы горевать-тревожиться? Усмехнулся бы, наверное, хлопнул, как бывало, по плечу и сказал: “Да ты что, Бестибай?! Разве не понимаешь, что сейчас делается? Нет, надо тебе пролетарски подковаться...”

И верно: надо! Чудные мысли лезут в голову, как надоедливые осенние мухи.

Бестибай поправлял курай, подсовывал его так, чтобы сухие стебли горели ровно, со всех сторон охватывая чайник бережным огнем. Делал он это привычно, как делал много раз, стараясь думать о чем-нибудь другом, но не успокаивался, и не уходило смутное чувство. Сколько таких же рассветных костров разжег он, кочуя по степи от моря до моря? И сколько горело до него? Волна за волной проходили люди, вспыхивали и угасали их жизни, словно вот эти искры, что взлетают в небо, вспыхивают и гаснут. Сколько колен его рода жило на этой земле, а потом уходило в нее? Но все той же оставалась степь, кормившая их, а потом принимавшая в свое лоно. Теперь вот нашли нефть. Что станет со степью? С баранами и верблюдами, что от века паслись здесь? А сами люди, ходившие за стадами? Что с ними будет? Или одни железные вышки придется им стеречь? Найдется ли место зверям, птицам, или только машины будут ползать по земле? Какой рассвет увидят его внуки и правнуки, которые станут добывать эту нефть?

Жаркий, беспощадный свет дышал в лицо Бестибаю. Будто вовсе не тихий домашний очаг горел перед ним, а громадный костер полыхал в степи, охватывая поднебесье. И не в одиночестве сидел он, прислонившись спиной к ящику, в котором Халелбек держал разные нужные железки для буровой, а рядом с ним были сейчас сыновья, и дети сыновей, и дети их детей, и еще множество людей стояло рядом, и каждый подбрасывал и подбрасывал в гудящее, воющее, неотвратимое пламя свою охапку хвороста, и лица их одинаково были окрашены багровым светом — так близко они находились к костру. Одно и то же упрямое пламя билось в этих людях, как и в его сыновьях. И это неустанное напряжение как бы передавалось, переливалось в его душу, и он понимал сыновей, быть может, лучше, чем они сами себя. Нет, конечно, Бестибай не разбирался в их деле, но огонь, сжигавший Халелбека и Жалела,— переделать пустынную землю, пройти другой, новой, только своей дорогой, отличной от тех, по которым шли их предки поколение за поколением,— этот огонь старик прекрасно видел.

Он глядел на костерок, прислушиваясь, не раздастся ли голос Жалела, торопящегося к утреннему чаю; ожидая шума мотора — может, Халелбек тоже вырвется с буровой, на которой и ночевал последние дни,— но все было тихо вокруг. Только на краю поселка постукивал движок да пыхтел, закипая, чайник. Огонь догорал, бледнел, и сквозь него все жестче проступал сквозной костяк буровой. Бестибай смотрел на исчезающее пламя, спрашивал себя, что же будет дальше с родной землей, и не находил ответа. Сердце сжималось, словно чья-то ледяная лапа прикасалась к нему, и сам он весь тоже сжимался, поеживаясь, будто дул пронизывающий северный ветер.

“Все будет так, как должно быть”, — шептал он и проводил ладонями по лицу. И в этом движении были тревога и гордость за детей, щемящая любовь к радостной для него пустыне и все-все остальное, что вмещалось в одно короткое слово — жизнь.

Если бы Жалел сию минуту и впрямь очутился у костерка, заговорил с отцом о том, о чем думал, шагая по тропинке, выбитой овечьими копытцами, то немало бы удивился схожести мыслей. Он смотрел на пустыню, которая, как облезлая верблюжья шкура.

расстилась перед ним, и его взгляд вбирал в себя серо-желтые гряды песков, небольшой солончак, тускло отсвечивавший в стороне, и тонкий ломтик месяца, серебряно светившийся на утреннем небе. Во всем, что окружало Жалела, не было ничего временного, неделанного или поспешного. На чем бы ни остановился взгляд — везде строгий, неколебимый строй, неброское тихое созвучие. Все виделось отчетливо, понималась истинная цена всему, будто он был первым человеком, появившимся на только что родившейся, юной земле.

Вообще Мангышлак для геолога благодатное место, размышлял Жалел. Будь его воля, он бы всех студентов-геологов направлял сюда на практику. Земная кора открывается во всей своей первозданности. Она как бы прозрачна. Громадные профили идут без перерыва друг за другом, и тектоника видна во всех подробностях. Если в других местах обнажения приходится нумеровать, то здесь надо отмечать не обнаженные места.

Как обычно, Жалел шел к холму, возвышавшемуся неподалеку. Его красная грибообразная верхушка, сложенная из вишневой глины, пронизанной сизо-белым песчаником с вкраплениями кварцевых галек, чем-то неуловимо притягивала Жалела с первых же дней приезда в Узек. Потом он сообразил: красноватый холм напоминал ему о Майкудуке: пестроцветная свита часто встречалась в горах Каратау, около которых прошло его детство. Здесь же, в Узеке, она весьма редка и потому сразу привлекла внимание.

Чем дальше уходил он от поселка, тем все больше проникался ощущением величия и покоя пустыни. Первозданная тишина стояла вокруг, и он тоже старался двигаться бесшумно, чтобы не нарушать гармонию. Законы природы просты и вместе с тем усложнены до крайности, думалось ему. Было время, и он помнил его, когда считалось, что природу надо победить, заставить ее служить. Говорили даже, что она — раб человека. Но природа если и находится в рабстве, то только у самой себя. Человек всего лишь часть природы. Мыслящий тростник. Задача человека, вернее, его разума — добиться согласия со всем, что его окружает. С горами и равнинами, зверями и птицами. Ведь если разобраться, будущее, к которому стремишься, ради которого работаешь, должно быть

таким же гармоничным, как вот эта дышащая прохладой, живая земля, что раскинулась перед ним... Жалел не спеша, поднимался на холм, и вчерашний, знойный и длинный день с его заботами, спорами, суетой незаметно наваливался на плечи. Он лежал перед ним, словно столбики керна: любой бери и разглядывай, думай, анализируй.

Но почему не все понимают это? Почему находятся люди, считающие, что главное вырвать у природы побольше сегодня, а завтра — что аллах даст? Тот же Малкожин. Инженер. И знающий инженер. Ему прекрасно известно, что пресные линзы, в которых вода накапливалась столетиями,— не бездонны, и тем не менее рассуждает прямо как хищник. Да, именно хищник. Другого слова не подберешь. И правильно, что вчера, когда речь зашла о снабжении буровых водой, он сказал об этом Малкожину в лицо...

Прошедший день начался с совещания, которое созвал Малкожин. В кабинете Тлепова собралось человек тридцать — Ерден любил представительные заседания. Присутствующие томились и маялись: рабочий день только начался и, как всегда, именно утром приходится решать многие вопросы, а тут изволь сиди... Посматривали на Джандоса: может быть, начальник экспедиции, поставивший за правило летучки, собрания, совещания, планерки проводить в конце дня или после работы, что-нибудь переменит, но Тлепов держался в тени, будто это совещание, да и сам Ерден его нисколько не касались и он попал в кабинет случайно.

Малкожин был в Узекe меньше недели, но поставил себя так, что вся экспедиция волей-неволей крутилась вокруг него. Писались справки, отчеты, рапорты, докладные, объяснительные. До поздней ночи Малкожин вызывал людей или сам носился по буровым; надо отдать должное его цепкости, въедливости, неутомимости — быстро сумел войти во все узекские дела.

Ерден разговаривал и с Жалелом несколько раз. Мягко, как бы советуясь или высказывая вслух мучившие его сомнения, он выспрашивал о том, что на самом деле его больше всего интересовало: работа Тлепова, взаимоотношения с коллективом. Каждая неудача, просчет, упущение осторожно подводились к тому, что это недоработки начальника экспедиции. Неприязнь к Тлепову

была еле заметной. Она проскальзывала в вопросах, которые задавал Ерден, в репликах или интонациях. Ерден внешне старался вести себя корректно, как и положено объективному человеку, представителю министерства, посланному с заданием помочь экспедиции, но ненависть тлела в нем, словно огонь в кизяке: как ни таись, достаточно малейшего движения воздуха, чтобы жадное пламя пробилось сквозь серый пепел.

Непонятно откуда, по Узёку пополз слух, что в министерстве недовольны работой экспедиции и что Малкожин приехал снимать Тлепова. Об этом говорили всё упорнее: кто с жаром защищал Джандоса, кто злорадно комментировал новость, будучи с ним не в ладах, кто молчаливо выжидал, как развернутся события. Один Тлепов, будто не знал о разговорах и действовал как прежде, всего себя, отдавая работе. Жалел с нарастающим беспокойством наблюдал за ним: не догадывается ни о чем? Не придает значения досужей болтовне? А может, устал, смирился? Нет, такое не похоже на Джандоса. Как это смирился? Самое тяжелое время пережил, с нуля начинали, а теперь, не доделав — отойти в сторонку, бросить... Конечно, можно было бы напрямик выложить все Джандосу, но, подумав, Жалел решил подождать. Слухи есть слухи. Зачем подливать масло в огонь? Надо сначала выяснить, что думает Малкожин. Как-то во время очередной беседы с Ерденом о делах, когда тот все так же исподволь, незаметно старался натолкнуть Жалела на мысль, что план не выполняется из-за нераспорядительности Джандоса, Жалел не выдержал и в упор спросил о слухах, ходивших по Узёку. Тот сразу понял, о чем идет речь, но на лице изобразил удивление: “Да-а, неужели об этом говорят? Поразительно!” — “Возня мешает работе. Расхолаживает людей!” — резко сказал Жалел. — “Надо пресечь сплетни...” Ерден развел руками: “Незаменимых руководителей, как известно, нет”. И больше ни слова. Дескать, понимаете, как хотите, а мое дело — сторона. Он сидел неподвижно, только пальцы — узкие, длинные, бледно-желтые — шевелились на столе, как щупальца. Казалось, в них действительно не было костей, и когда Ерден взял карандаш, чтобы отчеркнуть заинтересовавшее его место в отчете Жалела, то удивительно было видеть, как карандаш будто сам собой втек в пальцы.

Вчерашнее совещание началось на высоких, праздничных нотах. Ерден долго и красиво говорил о том значении, которое придается поискам нефти в стране, и в частности на Мангышлаке. Рассуждал о патриотизме, самоотверженности, рабочей чести. Жалел хмуро слушал. Ему, работавшему с Малкожиным в министерстве, давно был известен этот прием Ердена, сначала подстелить соломки, а потом... Так и вышло.

— С удовлетворением и гордостью за успехи узекцев разрешите огласить текст радиограммы, полученной вчера,— говорил Малкожин, и его бархатистый голос звучал проникновенно.— За высокие производственные показатели, достигнутые в трудных условиях бригадой Халелбека Бестибаева, этому коллективу по итогам второго квартала присуждено первое место среди других бригад нефтеразведчиков. Она награждена переходящим Красным знаменем и денежной премией! Ваша трудовая победа, товарищи, конкретный вклад в решение важной задачи — поставить богатства недр Мангышлака на службу Родине. Она стала возможной благодаря ударному труду, внедрению прогрессивной технологии бурения, постоянному совершенствованию профессионального мастерства, большой организаторской работе коммунистов и комсомольцев!

Ерден сделал небольшую паузу. Лицо его было почти одухотворенным.

— От имени коллегии министерства, дорогие товарищи, хочется пожелать буровикам бригады Бестибаева крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов!

Ерден переждал, пока затихнут аплодисменты. Обвел взглядом собравшихся и уже другим тоном, в котором звучало сожаление, сказал:

— Конечно, мне было бы приятнее выступать перед вами именно по таким поводам. Не жалея себя, буровики Бестибаева, Шилова, Аширова и других бригад сумели без аварий провести скважины, испытать их, получить притоки нефти из очень перспективных горизонтов. Но не все так самоотверженно, не жалея себя, отдают свои знания и мастерство разведке Узэка. Не для всех государственный план является законом.

Ерден печально склонил голову, потом резко поднял, металлически произнес:

— Мы были бы никудышными руководителями, лицемерными, беспринципными людьми, если бы раздавали друг другу комплименты и награды. Партия учит нас смело вскрывать недостатки, не останавливаться на достигнутом. Сегодня надо работать лучше, чем вчера, а завтра — лучше, чем сегодня.

Он хлопнул ладонью по столу. Раздался такой звук, будто шлепнулась лягушка. Кто-то засмеялся. Ерден холодно посмотрел в ту сторону, откуда послышался смех, брезгливо опустил углы рта.

— Мы, все собравшиеся здесь, должны смотреть правде в глаза. Сегодня истинное положение состоит в том, и, я думаю, двух мнений здесь быть не может,— раздельно проговорил Малкожин, — что главный показатель — проходка скважин — находится под угрозой срыва. Нынешние темпы бурения нас не устраивают. Если положение в ближайшие недели не выправится — годовой план будет провален. Так, товарищ Тлепов? Или я ошибаюсь?

Жалел, да и все присутствующие на совещании ожидали, что Джандос сейчас встанет и даст Ердену достойную отповедь. Малкожин передергивал. С самого начала план, который министерство спустило экспедиции по настоянию Ердена, был нереальным. Расчет Малкожина заключался в том, чтобы под эти фантастические метры выбить средства, технику, оборудование, а потом, когда, к концу, года выяснится, что план не может быть выполнен, министерство подкорректирует его. Кто будет возражать, чтобы на первых порах помочь молодой, только созданной — буквально на голлом месте — экспедиции? И вдруг такое заявление...

Жалел, как и все, кто был в кабинете, смотрел на Тлепова. Но Джандос все так же прямо, не изменившись в лице, сидел в сторонке, будто никакого касательства не имел к тому, о чем только что заявил представитель министерства.

— Думаю, товарищ Тлепов понимает всю серьезность положения. А вот другие, как мне кажется, еще не прониклись ответственностью за порученное дело. Какая-то, извините меня, бес-

хребетность, самоуспокоенность имеет место в экспедиции. Будто все идет прекрасно...

Малкожин отыскал глазами главного инженера Алексеенко. Румяное круглое лицо Юрия излучало само добродушие, благожелательность, мягкость.

— Вот вы, товарищ Алексеенко, похоже, довольны и своей работой и тем, как складываются дела.

Алексеенко удивленно посмотрел на Малкожина.

— Я? Доволен? Такого не говорил,— растерянно забасил Юрий.— Запчастей бы побольше. Об этом и писал, и толковал с вами. А то фонды есть, да только на бумаге. Попробуй, получи...

Ерден поморщился, перебил:

— Давайте по существу. Если, конечно, есть что сказать. От вас, как от руководителя, хотелось бы услышать принципиальное, самокритичное выступление. Что вы, именно вы, как человек, отвечающий за инженерную политику, предлагаете, чтобы выйти из прорыва?

— Предлагаю? Выйти из прорыва? — повторил Юрий с недоумением, оглядывая собравшихся. — Да все же знают: план-то липовый...

— Что? С каких это пор государственный план считается липой? — вкрадчиво, почти нежно проговорил Малкожин. — Прошу разъяснить вашу точку зрения...

— Да чего тут разъяснять? С самого начала было ясно...

— Позвольте! Кому ясно и что?! — Ерден с любопытством затряс красиво остриженной головой.— Насколько я вас понял, вы не собирались выполнять государственное задание? Так?

— Да-а-а... Я не о том,—смешался Юрий.—Хотел сказать, что недостатки, конечно, есть. Но ведь и трудности наши известны. И вам и в министерстве...

— Трудности трудностями, а план планом. Никто у нас с вами не будет спрашивать о том, в каких условиях работали. Не выполнили — надо отвечать! — В голосе Малкожина опять зазвенела сталь.— Не понимаю вас, товарищ Алексеенко. Вы — молодой инженер. Только начали трудовой путь. Вам оказали доверие: назначили главным инженером такой важной экспедиции и... Или

вас кто-то нацеливал на то, что план и закон для вас не писан? Тогда скажите...

Алексеенко залился краской. Он хотел что-то возразить, но только махнул рукой. Ерден не успокоился. Он всегда считал, что противника надо дожать.

— В ваши годы, — отечески сказал он, — мы были порасторопнее, поэнергичнее. Ведь так, Джандос?! А вы. Юрий Михайлович, видно, норовите работать по принципу — тише едешь...

Алексеенко и в самом деле был медлительный человек и, как говорится, тугодум. Решения принимал не сразу, долго их обдумывал, но уж коли, брался за дело, то обязательно доводил до конца. Так что в медлительности Алексеенко было известное преимущество, особенно в условиях Узека, где скорых на слово и дело людей было с избытком.

В экспедиции над Юрием подтрунивали и даже прозвали “небесным тихоходом”. Он и, правда, не ходил, а как бы плыл: двигался медленно, важно, словно в раздумье ставя огромные ступни... Но, в общем, Юрий пользовался и авторитетом и уважением, так же как и его отец, — Михаил Михайлович, известный на весь Мангышлак механик. Ему было под семьдесят, но работы не бросал, и по-прежнему в любое время усердный старик готов был ехать хоть за тридевять земель, чтобы помочь оживить вышедшую из строя машину.

Ерден насмешливо смотрел на низко склонившегося над столом Алексеенко, выбирая следующую жертву. Неожиданно поднялся Джандос.

— План для нас, как и для всех производственных подразделений, является законом. Двух мнений тут действительно быть не может. И вы, товарищ Малкожин, абсолютно правы, когда требуете выполнения плановых заданий. Но и мы со своей стороны требуем, чтобы этот план был обеспечен не только материально, но и, прежде всего, людьми! Успех любого дела решают люди. А вот квалифицированных специалистов у нас до сих пор не хватает. Почему? Хороший мастер ценится везде. Высокие заработки, такие, как в нашей экспедиции, привлекают уже далеко не всех. К соответствующей зарплате нужны еще и хорошие бытовые условия.

А что мы можем пока предложить? В лучшем случае — комнату в общежитии. Но человеку...

— Человек! Человек! — не удержался Ерден. — Это мы уже не раз слышали. Как только речь заходит о невыполнении плана — сразу киваете на людей. Люди у вас замечательные. С ними можно горы свернуть. Если у вас не хватает людей, то зачем вы отправили в Алма-Ату двадцать пять парней, направленных к вам из Доссора после окончания училища? Вместо того чтобы растить собственные кадры, вы их разбазариваете. А сами кричите: “Нет людей! Не с кем работать!” Кто же вам поверит после этой истории с ребятами из Доссора, разрешите спросить?

“Я именно так и говорил Джандосу, — подумал Жалел.— И Алексеенко был на моей стороне. Парней надо было подучить, поставив под начало опытных бурильщиков, и через некоторое время, — пожалуйста, узекские кадры, знающие местные условия, готовы. Но Тлепов настоял на своем, и, главное, вроде получалось, что Джандос смотрит гораздо дальше сиюминутной выгоды.. Он упирал на то, что, коли в Алма-Ате созданы подготовительные курсы при нефтяном факультете, надо предоставить выбор самим ребятам. Хотят учиться дальше — пусть едут в Алма-Ату. Желают работать в Узеке, — пожалуйста. Такой вариант, конечно, был бы правилен на обжитом месте, где все устоялось и создан крепкий коллектив. А у нас в Узеке? Ведь все только-только начинается. Конечно, надо было придержать доссорцев в Узеке...”

— Да, людей у нас не хватает, и вместе с тем ребят мы отправили вполне сознательно,— проговорил Тлепов устало, как бы через силу.— Мне тоже нелегко далось это решение. И все же — отпустили. Освоение Узекы рассчитано не на месяц или на год. Нефтяным промыслам нужна не просто рабочая сила, а люди образованные. Вот мы и послали ребят учиться, думая о завтрашнем дне. Скрепя сердце, но проводили их в Алма-Ату, торжественно проводили, зная, что через несколько лет они вернуться к нам квалифицированными специалистами.

— Вернутся ли, не вернутся — гадать незачем. Люди нам сегодня нужны. Сегодня! — Ерден ткнул пальцем в график выполнения плана, висевший на стене.— Сами, что ли, встанем за тормоз

на буровой, чтобы проходку дать? Одной рукой в ладоши бить собрались? Хорошо. Поглядим, как это у вас получится...

— Нет, аплодировать пока не собираемся, — спокойно возразил Тлепов. — Нефть мы получили. Проходку, я думаю, поднимем. Время у нас есть. Хорошему коню надо дать подрасти, а уж потом...

— Все хорошее с вами. Никто его у вас не отнимает. Но нам нужны не заверения и обещания, а результаты.

— Тем не менее, вы почему-то ни словом не упомянули об успехе наших геологов, — заметил Тлепов. — Ведь это они, вопреки мнению авторитетных специалистов, переместили буровые на северное крыло. Смелое решение. Именно благодаря ему вскрыты перспективные пласты...

— Это известно всем: приехал Бестибаев и сразу нашел нефть, — съязвил Ерден. — И все же я не услышал главного: как и за счет чего, вы собираетесь выполнить план?

— План сейчас зависит от министерства, — врезался Жалел. — Обеспечьте нас материально, как обещали, и тогда...

— Значит, сидя в Алма-Ате, мы должны искать в вашей экспедиции внутренние резервы? Так я понял?

— Резервы мы найдем без вашей помощи. А вот без труб — зарез! Пробурено восемь скважин, а испытать их не можем. Нет обсадных труб. А взять насосы? Приборы? Простейшего манометра днем с огнем не найдешь. И людей, конечно, не хватает. Скоро зима...

— О людях пока и не заикайтесь, — сказал Ерден. — Кто вам теперь поверит, что у вас людей нет, коли вы их в Алма-Ату отправляете?

— Положим, в этом я с вами согласен: не надо было посылать парней на учебу. Надо было подождать, пока дело наладится. Учеба от них не уйдет, было бы желание. Но вы ведь прекрасно понимаете, что к зиме текучесть кадров возрастает. Как раз тогда, когда каждый человек будет на счету.

— Прекрасно понимаю, что вы хотите подстраховаться, — твердо сказал Ерден. — Кто может работать — работает. Кто не может — ищет отговорки.

— Мы ищем отговорки? Да как у вас язык поворачивается...

— Товарищ Бестибаев! Товарищ Бестибаев! Успокойтесь,— попытался остановить его Тлепов, опасавшийся, что в горячах Жалел выпалит то, о чем Малкожину пока знать не надо,— о новом методе работы, который они разрабатывали.

— Нет, коли начал — скажу! — Жалел хотел во что бы то ни стало одолеть, как ему казалось, непонимание Малкожиным узекских условий. Они здесь работают, не жалея себя, а такие, как Ерден, думают, что здесь курорт. Да еще ставят палки в колеса при каждом удобном случае, преследуя какие-то свои тайные цели. Вместо того чтобы помочь, поддерживают дурацкое невежество, шкурную трусость, высокомерное презрение. Это же ясно виделось во время заседания комиссии, когда рассматривался проект разбуривания узекской площади. Нет, не бывать такому! Молчать он не намерен.— Вот вы приводили данные, что с начала освоения Узека экспедиция обновилась почти наполовину, — продолжал Жалел, пытаясь взять себя в руки и говорить обстоятельно, убедительно и спокойно.— Однако не назвали причин, которые, мне думается, вам известны не хуже меня. Жилье, нехватка овощей и фруктов — причины не главные. Нефтеразведчики народ не избалованный. Но вот нехватка воды — это причина причин. Ни вымыться, ни обед приготовить, ни постирать... Да что объяснять? Советую еще раз посмотреть работникам министерства фильм “Волга-Волга”. Там о воде хорошо сказано!

Раздался смех. Ерден побагровел.

— Вы что, намерены шутить или по-деловому решать вопросы? — свистящим голосом произнес он.

— Именно по-деловому! Воду по-прежнему возим из колодцев. И на буровые, и в поселок. Из колодцев, которые вырыты при царе Горохе. Разве это дело?

— Правильно, не дело! — согласился Ерден.— Сколько раз указывали: срочно бурите скважины рядом с колодцами. Ставьте мощные насосы. Обеспечите по временной схеме и людей и производство водой. Что вам мешало? Однако вы затеяли свой проект. Предполагаете строить капитальный водовод. На него нет ни средств, ни проекта, ни материалов. Зима придет по календарю.

Как будете жить и работать? Начнутся метели, бездорожье... А-а-а? — Ерден медленно отодвинулся от стола, как будто отлип.— Или министерство из Алма-Аты будет снабжать вас водой?

— Ну, знаете... То, что вы предлагаете, — это самое настоящее... хищничество! Да-да... В пустыне пресную воду пускать на технические цели... Да для этого... — Жалел, не закончил: Алексеенко тянул его сзади за рубаху.

— Выбирайте выражения, товарищ Бестибаев! — ледяным тоном одернул Ерден.

Джандос покачивал седой головой, делая знаки Жалелу, чтобы он то ли не горячился, то ли вообще перестал выступать, но тот весь кипел. Почему его не хотят понять? Это же очевидно: в пустыне с водой надо обращаться бережно, разумно, дальновидно.

— Извините. Но я называю вещи своими именами. Если сегодня выдоим пресные линзы, с чем останемся завтра?

Ерден ухмыльнулся:

— Знакомо, знакомо... Будущее. О будущем. Послушать вас, так можно подумать, что только в Узеке думают о завтрашнем дне. Страна ждет от нас план сегодня! Потомки сами подумают о себе. Уверяю, они не глупее нас с вами будут. Разберутся!

— Разбираться надо сейчас. Потом, может, поздно будет. Разведка выявила мощные минерализованные водные пласты. Для питья вода непригодна, но для технических нужд вполне годится. Составили проект, подготовили документы, послали на утверждение в министерство, а воз ни с места. Прислали малоопытную девушку-гидролога и на этом успокоились...

Последнюю фразу, конечно, говорить не следовало. Краем глаза Жалел заметил, что Тана, сидевшая впереди, от его слов сжалась, как от пощечины.

— Совершенно согласен с вами: Жанбозова работник молодой, но старательный, и ей надо помочь,— миролюбиво ответил Ерден.— Да, кстати, проект ваш рассмотрен экспертами и... забракован. Министерство не позволит бросать на ветер народные деньги, чтобы обеспечивать заведомый брак. Товарищ Тлепов, разве вы не проинформировали товарищей?

— Пока нет,— ответил Тлепов.

— Гм-м, такой острый вопрос — и тянете... Любопытно. Так кто же, товарищ Бестибаев, задерживает решение важной проблемы? Министерство, которому вы подсунили поспешный, непродуманный проект, или вы сами?

Жалел молчал. “Действительно, нехорошо получилось... Почему Джандос не предупредил? Даже словом не обмолвился, что проект забракован. Не успел? Не хотел отвлекать меня от главного — детальной схемы разбуривания Узека?”

— Первый раз слышу, что проект неудачен,— огорченно сказал Жалел.— Постараюсь быстро разобраться. Конечно, теперь время упущено. Попытаемся наверстать...

— Для этого мы здесь и собрались,— назидательно проговорил Ерден.— Не будущее, о котором любит кое-кто поговорить, а сегодняшние насущные дела — вот что волнует. У всех нас, товарищи, одна задача: быстрее поставить Узек на службу Родине. Всякие милые прожекты пусть пока останутся в головах. Дойдут и до них руки. Сегодня главное — не оказаться пустословами. Так ведь, товарищ Бестибаев?

— Конечно,— кивнул Жалел.— Для этого мы здесь живем и работаем.

— Ну, вот и прекрасно,— почти ласково произнес Ерден.— Договоримся так: по воде, по материально-техническому снабжению, по соцкультбыту обобщим наши совместные предложения и войдем в соответствующие органы с ходатайством. Но план,— Ерден упорно гнул свою линию,— должен быть, безусловно, выполнен! Любой ценой! Ясно?

После совещания Ерден неожиданно зашел в кабинет Жалела. Огляделся, на что бы присесть, однако, увидев свободный от папок и бумаг, но запыленный стул, остался стоять.

— Садитесь, садитесь, — пригласил Жалел, бумагой вытирая сиденье от пыли.— Уборщицу не допускаю — все путает... Потом не разберешься,— смущенно пояснил он.

— Ничего-ничего, не беспокойтесь. Я на минуту. Все-таки мы мало общаемся вне производства. Всё совещания, заседания. На нервах, на крике... А так иной раз хочется посидеть с человеком, поговорить откровенно...— он сделал округлое движение рукой, —

о жизни, о том о сем... Вот наши предки умели общаться. А мы — всё на бегу, на ходу. “Привет! Как дела?” — и разбежались...

Жалел настороженно слушал Ердена. Зачем пожаловал? Чего хочет от него?

— Как вы сами-то в Узеке устроились? — неожиданно заинтересовался Ерден. — Я слышал, что ваш отец серьезно болел?

— Да.

— Может, нужна какая-нибудь помощь? Консультация видного специалиста? Можно устроить. У нас обширные возможности...

Жалел сухо вато поблагодарил. Сказал, что отцу как будто лучше...

— Ну и слава богу... То, что он теперь с вами,— это благотворнее всякого лекарства. Уверяю вас! — проникновенно сказал Ерден.— У меня так же было. Когда отца забрал к себе — старик прямо на глазах ожил. А как же? Одиночество под старость — страшная вещь. Проблема! Сейчас как-то больше принято не жить вместе с родителями, но я вам скажу — это ошибка. Вы знаете, я читал недавно исследование одного зарубежного ученого. Он провел обширные наблюдения и выяснил: во-первых, старики, живущие вместе с детьми, в среднем живут дольше, нежели одинокие. Во-вторых, там, где семьи состоят из трех или больше поколений,— крепче брак и внуки развиваются быстрее...

Он энергично заходил по комнате. Остановился у окна, за которым сердито мел песок.

— Прямо пурга! Ну и климат здесь! Сколько раз бываю, — не могу привыкнуть. Пыль. Жара... К вечеру совершенно выдыхаюсь. Как рыба хватаю воздух. Кто запрятал нефть в такое место?.. И ведь что самое странное: Мангышлак и Устюрт еще не раз нас удивят. У Узека должны быть родичи...

— Тоже так думаю,— согласился Жалел.— Если бы сейчас шире провести разведку. Например, на Бузачи. Уверен — это была бы не пустая трата времени и денег...

— Считайте и меня вашим сторонником,— улыбнулся

Ерден.—Хорошо бы как-нибудь вечером обсудить этот вопрос. Кстати, и с вашим отцом познакомился бы. Мне говорили, он прекрасно знает Мангышлак.

— Да, отец много побродил по пустыне. Караванщик! — с гордостью подтвердил Жалел.— Приходите в гости. Отцу есть о чем рассказать.

— Спасибо. Обязательно воспользуюсь вашим предложением. И вот еще что...— Он протянул ладонь.— Разрешите поблагодарить вас за поддержку на совещании. Вы так принципиально выступили. После того, что мямлил этот Алексеенко... Небо и земля! Да что говорить?! Люблю прямых, открытых людей. Люди с рыбьей кровью — не геологи...

Жалел, обескуражено пожал протянутую руку. Она была большой, мягкой, как бы обволакивала пальцы.

— Ну, извините за вторжение! — Ерден церемонно откланялся. Жалел еще какое-то время смотрел на дверь, которая неслышно закрылась за Малкожиным.

“Зачем он приходил? В гости вот напросился... Чего ему от меня нужно? Если поразмыслить, то мужик, может, он и неплохой... Неглупый. Знающий. Этого у него не отнять. Конечно, мягко стелет, да жестко спать. Но как без этого в делах? И все-таки чего же он хочет?”

Жалел, поднимался по склону холма, раздумывая о Малкожине, но так ничего и не решил.

“Стоит ли ломать голову? Да еще таким чудесным утром? Придет срок, и Ерден сам раскроется. Нет ничего тайного, что не стало бы явным”. Немного задохнувшись от быстрого подъема, он добрался, наконец, до вершины и перевел дыхание. Светлая даль открывалась на четыре стороны света. Земля, — будто гигантская вогнутая чаша, окольцованная горизонтом, и в ней пылинками светятся чабанские костры. Здесь, на высоте, было хорошо и вольно, словно глотнул доброты, надежды, любви. Словно и не было в помине суматошного вчерашнего дня.

Рассветало. Все резче обозначались гряды холмов, острые спины барханов, оловянные пятна солончаков. Поодаль от Жалела,

темнел кулыптас¹. Пустынный ветер шевелил тряпочки-приношения, которыми был обвязан туг², высившийся рядом с могилой. Кто в ней лежит? Чабан? Охотник? Святой? Или, быть может, воин, что в такой же предрассветный час вышел из кибитки, взлетел в седло, чтобы защитить родину от врага?

Сколько безымянных могил разбросано по Мангышлаку! От тех, кто покоится в них, почти не осталось ни памяти, ни преданий. Только шершавые монументы, изъеденные ветром и солнцем, вонзаются в небо, напоминая о человеке, когда-то видевшем это небо, степь, море.

Жалел смотрел на камень, и вдруг глаз его уловил смутную тень. Он подошел совсем близко, склонился над могилой. Да, он не ошибся. В углублениях, когда-то выбитых или вырезанных сталью, там, где приютился ржавый лишайник, можно различить фигуру всадника, мчащегося с копьем наперевес. И конь и человек схвачены одной изысканной и уверенной линией.

Летит степняк по равнине. Неудержимо, волшебнo, сквозь время. Не смерть закрыла ему очи — ослеп он от солнца; и не безмолвие могилы оглушило его — тугой, яростный ветер не дает услышать человеческие голоса. Стремителен бег коня, вырвавшегося из каменного плена. Тяжелеет в руке воина копье, нацеленное на зверя? Врага? Чудище?.. Что сама смерть перед этим порывом? Разве она властна над ним, как и над этим творением художника? Мчится гордый всадник, и никакое препятствие не остановит джигита. Да и сам он разве властен над этим неистовым движением?! Попробуй, остановись — и горячая кровь тут же разорвет сердце, фонтаном вырвется наружу.

“В тот год над нашей страной разверзлись врата небесного гнева. Из Туркестана двинулось огромное войско, и кони их стремительны, как орлы, с копытами, подобными твердым камням. Их луки натянуты, копья заострены; они туго опоясаны, и не разорвать ремней на их сапогах”, — вспомнилось Жалелу описание средневекового историка. Не был ли тот, кто лежит под этим кам-

¹ Надмогильная стела, столб из камня.

² Шест с иавершием в виде полумесяца.

нем, одним из тех суровых воинов, о которых упоминается в летописях?

На Мангышлаке скрещивались пути из Европы в Среднюю Азию, Индию, Китай. Персы называли полуостров Сях-Кух, что в переводе означает Черная Гора. Он и был такой грозной горой-крепостью, крепким тылом, стартовой площадкой для дальних походов, которые предпринимали его предки. Но куда бы ни забрасывала их воинская судьба, Мангышлак всегда оставался заветной гаванью, материнской колыбелью, откуда начинались дерзкие набеги, таинственные приключения, стремительные походы, которые снова и снова возбуждали воображение юношей. Они уходили отсюда, чтобы, как и положено мужчине, начать самостоятельную жизнь, но всегда, — если их не останавливала смерть — возвращались к родимой земле. Шершавые монументы, так же как и в день похорон, вонзаются в небо, напоминая о людях, противопоставивших свое “я” равнодушной горизонтали вселенной.

Мчится неистовый всадник. Дразнит, притягивает, но все так же ускользает от него синяя полоска у горизонта. Стоит домчатся до нее, перелететь, перескочить роковую черту — и перед тобой море! Темно-зеленое, ласковое, огромное. Волны в кипящей пене. Мокрые камни, застывшие у воды. Каспий. Каждый народ давал ему свое имя. Древние греки называли Гирканским, персы — Мазандеранским, русские — Хвалынским...

В непрестанном круговороте племен, проходивших по его берегам, забывались более ранние названия.

“Следы на Мангышлаке особый смысл таят. Племен прошло немало — следы их говорят...” Так пел знаменитый Кашаган, имя, которого стало для адаев синонимом настоящего певца — жирау.

О ком рассказывал Кашаган? О саках, тюрках, сарматах, хазарах? Их кони тоже оставляли следы на влажном песке. Что искали они здесь, всматриваясь в нагие берега? Свободу, дом, счастье? А может, притягивало само море, его безбрежность и тайна...

Море и степь рядом. Они вливались друг в друга, отрешенные, равнодушные к людским жизням. Наступал Каспий — уходила

под воду степь. Отступала вода — обнажалось морское дно и первая красноватая, но все одно земная трава поселялась там, где недавно еще плавали рыбы. И так век за веком — тысячелетия, которые всего лишь миг и для моря, и для степи. Что же можно сказать о человеческой жизни, если забывались целые народы, угасавшие в этой пустынной стране? О каких следах пел Кашаган?

“Вглядись в камни, источенные временем, изборожденные глубокими трещинами, как морщинами. Помолчи, прислушайся — и до тебя донесутся отзвуки былой жизни,— напоминал Кашаган.— Тени забытых предков пройдут перед тобой, и распахнется дверь туда, куда они ушли...”

Нет, не обманывал Кашаган. Археологи сумели услышать голос времени.

“Остатки цветущей эпохи Мангышлака сохранились в довольно частых развалинах каменных укреплений, зданий, могильных памятников и глубоких колодцев, обложенных тесаным камнем”, — сообщал в 1855 году проникательный историк Савельев, который, как и другие русские, западноевропейские и восточные авторы, составил свое представление о прошлом этой земли на основе пока лишь отрывочных наблюдений и случайных материалов. Истинные масштабы цветущей эпохи остались до недавнего времени неизвестными.

Еще учась в институте и приехав домой на летние каникулы, Жалел встретил в Майкудуке молодого археолога Алана Медоева. Он был ненамного старше Жалела, но уже не первый год работал на Мангышлаке, изучая разветвленную и обширную культуру кочевников. Жалел, подружился с Медоевым и, присоединившись к небольшому отряду, на все лето ушел бродить по полуострову. То, о чем он слышал от отца и стариков, — бесконечная повесть о прошлом — вдруг ожило и стало близким. Толпы предков, кажется давно отживших свое и упокоившихся в пустыне, оказались вовсе не забытыми. Громадные некрополи, где смерть свела разных людей, окончивших свой земной путь, постепенно раскрывали перед юношей свои тайны. Жалел, находил имена, знакомые с детства. Несчастный Шопан. Отважный батыр, а затем шейх Шапак-ата. Отшельник Бекет.

Вместе с археологами Жалел спускался в подземные святилища, обители и усыпальницы, о которых раньше не подозревал. Но они существовали, напоминая вовсе не о смерти... Будто тлен, распад, забвение не коснулись героев легенд.

Жалел, разглядывал доспехи Шопана, лежавшие на его могиле: кожаный пояс с серебряным набором, отливающую кроваво-тусклой сталью айбалту¹, сверкающую тонкую кольчугу, которая, казалось, еще хранила изгибы богатырского тела. Как говорит предание, Шопан торопился выручить возлюбленную, попавшую в руки недругов, и кинулся в схватку, не надев кольчуги...

“Куда ты ушла, любовь моей любви? Не туда ли, куда уносится ветер, убегает вода, закатывается солнце”, — пелось в старинной песне о счастливых и несчастных влюбленных — Шопане и Айым, умерших в один день и час...

А святой Бекет, чье имя вошло в поговорку: “Последний из праведников — Бекет; последний из батыров — Есет”. В пещере, которую отшельник выдолбил сам, хранился его высокий железный посох. Жалел прикоснулся к нему, — и синеватый металл показался ледяным, словно холод и сырость многих мангышлакских зим, пережитых Бекетом, аккумуляровались в посохе.

Бекет размышлял о жизни и смерти и еще учил детей грамоте, а взрослых — мудрости. Семь его наставлений живы до сих пор. Помнил их и Жалел.

Чужой недостаток — не твое достоинство.

Считай лучшим свое малое, нежели чужое многое.

То, чего не клал, — не бери: не позовут — не ходи; не спрашивают, — не говори.

Лучшая щедрость — исполнение обещаний.

Пока можешь, не ешь чужого хлеба, в своем же никому не отказывай.

Прощай, дабы простили.

Несделанного сделанным не считай.

Побывал Жалел и у знаменитой гробницы Шакпакаты. куда вели каменные следы — отпечатки босых ступней. Рассказывали,

¹ Боевой топорик.

что батыр, чье имя наводило на врагов ужас, был погружен в глубокое раздумье, когда подкрались убийцы. Но и смертельно раненный, Шакпак-ата сумел подняться с колен, пробежать сорок шагов, преследуя и поражая врагов. Последние следы батыра, выбитые безымянным каменотесом в розоватом известняке, — словно кровь героя окрасила камень, — отчетливо видны до сих пор...

Археологи работали увлеченно. Их исследовательский азарт, так же как и основательность, настойчивость, скрупулезность, передавались Жалелу.

Работая от зари до зари, они снимали планы святилищ, производили обмеры памятников, переводили на кальку фигуры животных, загадочные тамги, строфы орнаментов и арабскую вязь надписей-эпитафий. Это был изнурительный, однообразный труд под палящим солнцем и ветром. Работали то, скорчившись в три погибели, то, вытянувшись в струнку, чтобы добраться до нужного изображения. Но самое важное — правильно прочесть частично выветрившиеся, стертые, осыпавшиеся гравюры — было еще впереди.

Помнится, над одной невероятно сложной композицией, названной ими “Картина Мира”, они работали мучительно долго. Люди, животные, фантастические звери, геометрические построения, смысл которых пока не улавливался, были мастерски врезаны в почти отвесную скалу. Будто величественное дерево повисло над бездной, в последний момент, сумев ухватиться за голый известняк корнями и ветками, как сотнями гибких, цепких пальцев.

Спервоначально — а непривычному глазу Жалела было непросто охватить картину площадью больше десяти метров — все в ней казалось странно изогнутым, перевернутым, перекрученным. Но, рассматривая, ощупывая сантиметр за сантиметром поверхность скалы, пытаясь проникнуть в замысел художника или многих художников-адаев, Жалел постепенно понимал, что хаос, бессмыслица, искаженность на самом-то деле кажущиеся. В центре мироздания помещен громадный яростный жеребец — венец творения, по представлениям древних номадов. На вершине — петух-солнце, а в основании, пронизанном змеящимися корнями миро-

вого дерева, как блоки в фундаменте — одинаковые, тяжелые, черные, заложены абстрактные символы. Они - первоначало Мира, его доистория, уходящая в космическую Тьму. И, тем не менее, Тьма представала такой же упорядоченной, стабильной, организованной, что и Свет. И все это — люди, звери, чудовища, знаки,— едва менялось освещение, начинало свой бег по поверхности скалы. Персонажи то наступали на Жалела, то прятались в глубине камня, сливаясь с ним, то вдруг все вместе скользили в загадочном танце, будто на театральной сцене, устроенной самой природой. Жалел видел, что без ущерба для картины нельзя было изъять ни одну фигуру или символ, так крепко переплелись они друг с другом, так органично каждый образ проникал в другой.

“Эти древние художники,— он их представлял почему-то ровесниками,— понимали толк в своем деле,— думал Жалел, разглядывая гравюры, начертанные на скалах уверенной рукой.— Они, по сути дела, превратили пустынное плато в гигантский музей, открытый вечному небу и солнцу”.

Ему казалось, что на этих площадках вот так же, как сейчас они, их потомки, в свое время стояли зрители и художники, рассматривая картины. Разговаривали, спорили, волновались. На каменных глыбах, которые они использовали вместо холста и бумаги, каждое поколение оставляло свой след. Не все гравюры сохранились — время безжалостно и к камню,— но традиции не терялись. Медоев считал, что они уходили корнями в каменный век, к тем охотникам, чьи кремневые наконечники копий и стрел нередко лежали здесь же, у подножья обрывов.

Каких только композиций не пришлось ему увидеть в то лето! Они врезались в память настолько, что метельной московской зимой гравюры не раз вставали перед глазами Жалела словно живые.

Собравшись в комок, изготовилась к прыжку фантастическая кошка. Тигр не тигр, барс не барс. Но морда такая свирепая, что исход не оставляет сомнений — жертве не уйти. Когтистая лапа другого зверя втягивает зазевавшегося мергена¹. Она принадлежит

¹ Охотник, меткий стрелок.

подлинному хозяину этих мест — пружинистому гепарду. Охотники говорят, что он и по сию пору таится в чинках, выслеживая добычу.

Мчатся навстречу друг другу лучники. Звонкие тетивы натянуты до предела. Через мгновение просвистит стрела, и один из всадников полетит наземь, последним бессознательным движением цепляясь за гриву, стремя, жизнь. Но поздно, поздно. Пролетел миг. Ему уже не вернуться. Распласталось беспомощное тело, и песок пьет кровь, толчками бьющую из горла.

А вот гигантское сражение. Конные. Пешие. Уже в ходу ружья на сошках. Ураганный огонь извергается из стволов. Кажется, никому не выбраться живым из этого ада. Даже брошенные мультики продолжают одни, без людей, вести стрельбу. А над всем этим ужасом царит нежный и легкий тау-теке с лучистыми рогами.

Подобный же прием использован и в охотничьих сценах: ружья, без мергенов, караулят чутких муфлонов. Те еще скачут по скалам — сильные, ловкие, вольные животные, — но смертельное оружие уже наведено, и нет от него спасения.

Художники не копировали, героев своего искусства: они умели разглядеть в любом изображаемом объекте самое главное, не боясь смелых обобщений. Их произведения конечно же не предназначались в качестве иллюстраций по зоологии, тем не менее Жалел узнавал коней адаевской и ахалтекинской пород; знаменитых мангышлакских верблюдов — нервных аруан, величественных медлительных дромедаров...

Жизненная сила гравюр, рельефов, росписей была такова, что Жалел не раз ловил себя на мысли: он ощущает близкое присутствие древних героев. Незримо они скользили где-то рядом и, подобно уэллсовским персонажам, находились в одном с ним пространстве, но только в разных измерениях. Это впечатление, иллюзия, самовнушение — назовите как угодно — было особенно сильно на берегу залива Сарыташ, где на обширной и мрачной террасе перед ними открылся беит¹. Надгробия казались частью скал, сливались с ними, и, насколько хватал глаз, все тот же камень, камень пересекался друг с другом без конца и границ. Смирренная

¹ Город мертвых.

тишина стояла вокруг. Заходящее солнце с трудом пробивалось сквозь пыльную мглу. В травах звенел вечерний ветер, пытаюсь выпутаться из крепко сплетенной сети.

Жалел и археологи спешили, спутали ноги коней и огляделись. В глубоком логоу, таясь от любопытного или постороннего взгляда, виднелся портал заброшенного храма Шахбагата, о котором раньше они немало были наслышаны. В глубоком молчании подошли к святилищу и остановились: человеческая пятерня, вырезанная на фронтоне, как бы преграждала путь. Перекрывая изображения всадников и животных, раскрытая ладонь настораживала, предупреждая о чем-то. Жалел искоса поглядел через плечо: быть может, хранители древностей только отлучились и вот-вот вернутся? Но ни одного постороннего звука не уловило ухо; ни единого живого существа не заметил глаз на плоской террасе.

Медленно вошли они в подземный храм. Звуки шагов опережали их, бились в каменных коридорах, теряясь впереди. В самом просторном, видимо центральном, нефе было сумрачно и прохладно. Скучный свет струился, как в юрте, через шанрак — круглое отверстие в куполе.

Жалел и его спутники внимательно рассматривали помещение, стараясь не упустить деталей. Свод, расписанный красными звездами по лимонному полю; стены и четыре колонны, сплошь украшенные гравюрами, похожими на те копии, с которых они снимали. Как и прежде, схватить сразу композицию было непросто, и глаз выделил только гордых красных коней, которые, как гонцы, сопровождали их, пока археологи быстро шли по залам, стремясь до захода солнца обследовать подземелье.

Жалелу приходилось видеть фотографии подземных храмов Индии, но ничего схожего не было в том, что открылось в Сарыташе. Колонны, арки, сам купольный свод (идея которого, как считают ученые, по-видимому, принадлежала кочевникам) отличались удивительной гармонией. Зодчие действовали скорее как скульпторы, нежели архитекторы. Сплавив в единое целое идею, материал и среду, они добились слияния святилища с природой, вдохновенно решив вечную, нестареющую творческую задачу.

Но все же не размерами, исполнением или загадочностью поразил Жалела подземный храм. Инженер крепко сидел в нем, и мысль, что предки, чья жизнь была наполнена борьбой за существование, зачем-то же тратили силы и время на сооружения, казалось бы, вовсе ненужные в пустыне, не оставляла его. Сотни беитов, картинных галерей, подземных святилищ между Аралом и Каспием. И созданы они не рабами, как в Древнем Египте; не пленными мастерами, согнанными Тимуром со всего света, как в Самарканде, а вольными словно ветер художниками-кочевниками, больше всего на свете ценившими свободу.

Что подвигало их на тяжелый труд, который, скорее всего, не давал ни славы, ни богатства, ни, быть может, даже внутреннего сознания успеха? И почему память народа не сохранила имен мастеров? Или они сами не искали известности, считая, как их собратья — японские художники, что слава губительна для истинного таланта?

У выхода из Шахбагаты Жалел наткнулся на светильник, стоявший на полке, специально вырубленной в камне. Плотный песчаник стал внутри черным, блестящим от пылавшего в нем масла. Сколько же веков горел огонь? Сколько крепких пальцев касались этого камня, прежде чем необычайный жизненный круг столкнул светильник и его, Жалела, на одной дороге? Он подержал светильник на ладони — живой свидетель ушедших поколений казался легким, почти невесомым. Жизнь давно догорела в нем.

Спутники Жалела уже покинули подземелье. Издалека, словно сквозь века, доносились их голоса, но разобрать нельзя было ни одного слова. Жалел тоже заторопился. Грозное молчание подземелья преследовало его, и он старался скорее выбраться наружу, ибо его надежды, разум, душевный жар были необходимы там, где сияло небо, где слышались живые голоса.

Через несколько лет Жалел получил подарок — чудесно изданный альбом, автором которого был Медоев. Жалел перелистывал страницы, разглядывал иллюстрации. Знакомые персонажи смотрели на него с мелованной бумаги. Гигантская кошка сжалась в комок, изготовившись к прыжку. Мчались навстречу гибели лучники, и все так же караулили осторожных муфлонов роковые ружья...

В каждой композиции, штрихе, линии видны гениальные пальцы степных мастеров, их манера, их представление о мире. С легкой грустью листал Жалел страницы. Ушла его юность; только воспоминание о счастливых днях, когда он вместе с археологами бродил по родной земле, остались в памяти. Да еще вот этот альбом, что подарил Медоев, научивший его видеть живое прошлое, без которого настоящее осталось бы всего лишь прекрасным, но непонятным мгновением.

Глаз выхватил абзац: “Где истоки поразительного стенового искусства? Каким чудом сумели адаи сберечь вплоть до наших дней каноны древних наскальных изображений? В археологии принято считать, что поздние гравюры на камне повсеместно отличаются упадком, вырождением и не имеют художественных достоинств. Известно, например, что скифский звериный стиль доживает в степях лишь до конца гуннского времени и гибнет вместе с этой степной державой, разделив ее трагическую судьбу. Открытие его Ю. Н. Рерихом у кочевников Тибета произвело в свое время подлинную сенсацию. Творчество адаевских художников, которые работали на архитектурной плоскости так же свободно и непринужденно, как и на плоскостях естественных горных обнажений, вызывает в свете этих данных повышенный интерес”.

И еще:

“В исторических источниках упоминается кочевое племя — дай. Страбон помещал их далеко на север, вблизи хорезмийцев, быть может, в низовья Сырдарьи, где и сейчас живут адаи в составе казахского народа. Представители адаев, по данным академика АН Узбекской ССР Я. Г. Гулямова, в далекие времена уходили на юг, в районы Мерва (Мары), и занимали там главенствующее положение. Действительно, в XI веке сельджукиды, вытесненные с низовьев Сырдарьи, переместились в Хорасан, основав там свое государство. Утверждение адаев, что в прошлом их соплеменники пришли в Хорасан, соответствует, таким образом, сообщениям Страбона. Возможно, что случайная, казалось бы, фонетическая ассоциация — дай — адаи — содержит глубокий исторический смысл и внесет ясность в одну из важных исторических проблем Казахстана и

Средней Азии. И тогда живой и настойчивый интерес адаевских художников к органичным и ярким образам будет красноречивым подтверждением духовной цельности народа, которую он сумел сохранить на протяжении тысячелетий”.

Жалел читал, и ему слышался глуховатый голос Медоева, который разыскал и понял летопись его народа, запечатленную в камне. Он рассматривал композиции, сиявшие тем же немеркнущим светом, что и в тот момент, когда к ним впервые прикоснулись его руки. Время не было властно над ними. Истлели дерево и меха. Переплавлены золото и серебро. Оружие заржавело и превратилось в прах. Подлинно бессмертными оказались только вот эти гравюры, свидетели того, что его предки принесли в мир не только звон оружия и топот копыт.

Над степью росло и росло солнце. Сначала медное и звонкое, затем желтое, и, наконец, белый, ослепительный круг захватил полнеба. Все ожило под его лучами: каждая травинка, бугорок, самый холм, на вершине которого стоял Жалел, вспыхнули, как языки пламени. Всадник, врезанный в камень, едва косые лучи задели его, тоже встрепенулся, пришпорил скакуна, и огненные искры брызнули из-под копыт. Казалось, дрогнула земля, и смутный гул разнесся над миром.

Жалел оглянулся: мощные грузовики в клубах пыли катили по дороге от Узека. Переход от давно ушедшей жизни к сегодняшней вовсе не казался странным. Наоборот, приглушенный расстоянием рев моторов, неукротимое движение солнца, навстречу которому мчался копьеносец, слились для Жалела в одно неразрывное целое. Он чувствовал свою соединенность во всем, что окружало его, и неизъяснимое волнение подкатило к горлу. Жалел что-то крикнул и легко побежал по склону. Как в юности, в нем росла уверенность, что все в его жизни еще будет: чудесные открытия, долгое счастье, вечная любовь...

И когда Жалел у самого поселка вдруг увидел Тану, идущую по дороге, то нисколько этому не удивился. Так предначертано самой судьбой: красивая девушка должна встретиться на пути.

— Тана! Здравствуйте! — окликнул Жалел, и голос его был глубоким и волнующим. Девушка оглянулась.

— Здравствуйте! — и посмотрела на него вовсе не удивленно, а словно ожидая этой встречи — доверчиво и с надеждой.

— Здравствуйте, Тана! — снова повторил Жалел, наслаждаясь самым звуком этого имени. — И доброе утро!

Она улыбнулась:

— Доброе...

Он глядел на нее, запоминая всю: светлый взгляд, смоляные косы, тяжелым узлом собранные на затылке, отчего белая гибкая шея казалась еще тоньше и длиннее.

— Откуда вы так рано?

— Гулял... Знаете, по утрам так хорошо думается... — И, вдруг припомнив то, что наговорил ей сгоряча несколько дней назад, и, удивляясь самому себе: как мог обижать это чистое существо, в сущности, почти ребенка, — зачастил сбивчиво и не очень понятно, пытаясь объяснить, почему так произошло.

Тана сразу догадалась, что Жалел имел в виду, и зарделась от смущения: взрослый человек, ее непосредственный начальник просит прощения у нее...

— Ну что вы, зачем... Я нисколько, ну ни капельки не обиделась... Да ничего особенного вы и не сказали. Правда, правда. Я ведь еще такая неумеха...

Она чудесно смотрела на него, и Жалел не столько умом, сколько сердцем почувствовал: Тана действительно не сердится на него — и обрадовался этому. И еще что-то промелькнуло в ее глазах, отчего вдруг захотелось выкинуть что-нибудь из ряда вон выходящее: пройтись на руках, громко запеть. Он даже поглядел, по сторонам, поискал... препятствие, которое необходимо преодолеть. Или опасность, неожиданно угрожавшую Тане, от которой надо было ее уберечь.

Но все было спокойно в мире, залитом потоками золотистого света. И Жалел немного разочарованно подумал: все обычно. Вот если бы она была с ним на вершине. Там, где мчится каменный всадник... “Что же я молчу?! Надо рассказать ей. О копыеносце. Об археологах. И про светильник... Все-все”. И тут же передумал: зачем? Будет ли ей интересно? Ведь он совсем не знает, чем она увлекается... Девушка шла рядом, он слышал ее дыхание, видел.

как подрагивают пушистые ресницы, чувствовал, что Тана ждет от него значительного разговора, какого-то рассказа или даже признания в чем-то, и не находил в себе мужества заговорить, боясь обмануть ее ожидания.

Тана тоже молчала, полагая, что Жалел не произносит ни слова, наверное, потому, что ему не о чем с ней говорить; о работе же он не считает нужным вспоминать в такое утро,— и, чтобы нарушить обоюдную неловкость, наконец насмешливо произнесла:

— Это в Алма-Ате вы привыкли так рано вставать?

— В Алма-Ате? — недоуменно переспросил Жалел. Вопрос был так далек от того, что он сейчас чувствовал, так странен...— Почему вы спросили?

— Вы столько в ней прожили... Красивый город. Особенно по утрам или осенью. Ведь верно?

— Да, город хороший.

— Расскажите о нем попросила Тана.

— Что рассказать? Не знаю даже...

— Как вы там жили, например?

— Ничего интересного. Работал, как все...

— И жил, как все,— докончила за него Тана и засмеялась.

В серебристом звуке ее голоса Жалелу вдруг почудилась насмешка. “О чем она спросила? Неужели о Гульжамал? Не может быть! Откуда этой девочке знать про нее? Или уже насплетничал кто-нибудь...”

Все очарование утра вдруг пропало. Они шли пыльной дорогой, раздавленной жаркой резиной, размолотой безжалостными гусеницами. Огненным комом висело за плечами солнце, и его жар проникал через рубаху, прилипшую к спине. Ветер доносил запах солянки и назойливый звук движка — та-та-та-та-та...

— Моя родина — Мангышлак. Здесь я родился,— сказал он.— Родину не выбирают. Она как мать — одна... Все было правильно, но голос его звучал фальшиво.

— Я не о том.— Тана уловила перемену в настроении Жалела.—Мне кажется, что человеку хорошо там, где его любят..

— Любят? — Жалел внутренне насторожился.— Вы думаете, можно жить одной любовью?

— А как же! Я читала в книгах...

— Книги,— перебил Жалел.— Кто живет по ним?

— А вы разве не любили? — спросила она напрямик и даже остановилась, с явным интересом ожидая ответа.

...Черт побери... И кто только успел... Какой сплетник нашептал... Зачем ей, этому наивному существу, знать его прошлое? Неужели он никогда не выберется из западни? Не освободится от Гульжамал — этой мужней жены, безоглядной любовницы, с ее ревностью, ссорами, постыдными предложениями.

— Любил! — ответил он прямо.— Но не был счастлив.

— Понимаю,— доверчиво проговорила она, глядя на него удивительными глазами.— Любовь... Я так думаю... Ну, как праздник... Не знаю даже, трудно выразить словами... Ну, словно ждешь елки под Новый год. Нет, не то,— она смешалась, прижала ладони к груди, и этот жест сделал ее такой беззащитной, что у Жалела защемило сердце. Он вспомнил того парня с лицом, похожим на лошадиный череп, и ощущение несчастья, неотвратимой беды, которое он пережил в тот день, когда впервые увидел Тану — беспомощную, загнанную в угол пьяным верзилой,— снова на миг пронзило его.

— Вы все верно и, главное...—он не мог сразу найти слово,— главное искренне говорите,— мягко произнес он.

— Правда? —обрадовалась она.—Значит, и у вас такое случается? А то мне иногда кажется, что я все придумываю. Что люди вовсе не живут сердцем... Разве только поэты? Вы любите стихи?

— Да.

— Я так и думала.

Тана вся светилась, будто Жалел одарил ее чем-то необыкновенным.

— И чьи стихи вам нравятся?

— Конечно, Олжаса!

— Олжаса? Не знаю...

— Ну, как же! Тоже геолог, пишет стихи. Хотите, прочту... “Над круглой плоскостью степи углами дыбятся породы. Над равнодушным степи встают взволнованные руды, как над поклоном

голова, как стих, изломанный углами. Так в горле горбятся слова о самом главном...”

Он сбился.

— Дальше забыл... У меня есть его книжка... Я дам почитать. Хотите?

— Конечно. Если у него не все про породу и руду... Я тоже привезла с собой немного книг. Только самые, самые... И когда грустно, перечитываю...

“Какое в ней волшебство и какая нежность!”

Жалел поймал себя на мысли, что если бы не боялся напугать Тану, то непременно наклонился, коснулся губами ее тонкого запястья. “Нет, прекрасное можно сохранить, только не прикасаясь к нему...”

А Тана все как бы внутренне приближалась к нему. Сделает шаг — остановится, прислушается. Еще шаг...

— Мне сейчас вспомнилось... Можно, я тоже прочитаю несколько строк... “Тоскую по тебе, пустынный край родной,— она начала не совсем уверенно, словно вспоминая.— В душе покоя нет, — она полна тобой...—Голос ее прерывался.— К чему земля чужая в зелени, цветах, когда есть ты...”—Она не закончила, резко оборвала строфу...

Он смотрел на нее, и покой возвращался к нему. То, чем он терзался, растравляя в себе, для нее — полуробенка-полуженщины — было вовсе неважным и ненужным. Светлая красота Таны лечила душу, и снова жизнь, в которой он запутывался, потому что бывал, слеп, подозрителен, глуп, себялюбив, открывалась ему как драгоценный дар, постигнуть который дано только тогда, когда мир и любовь царят в тебе самом.

— Почему так? — спрашивала Тана.—Когда читаешь стихи одна, то чувствуешь их по-другому... Острее, тоньше... А начнешь вслух — все очарование пропадает. Мне кажется, что стихи как цветы: их не должно касаться множество рук. Иначе зачахнут, завянут, исчезнет красота.

Жалел следил за ней ласково и сосредоточенно, как за ребенком. Девушка завораживала его, и на короткое время он почувствовал, что мир снова залил тот золотистый свет, как там,

на холме, где он встречал рассвет, и это мгновение ему хотелось сохранить в себе как можно дольше. Быть может, навсегда. Кто знает, почему это случается и как люди находят друг друга? С чего начинается привязанность, влечение, необходимость именно в этом, а не в другом человеке? И что такое любовь?

Едва они вошли в поселок, как недавнее очарование, близость друг к другу испарились, словно их и не было. Узек уже проснулся. Он был наполнен озабоченными, спешащими, незнакомыми людьми, и Жалел невольно поразился: неужели несколько месяцев назад он знал здесь всех и все знали его? Рядом с палатками возились и кричали дети. У столовой, ожидая вахтового автобуса, покуривали буровики. Возле единственной цистерны с квасом выстроилась очередь. Из металлического яйца репродуктора слышался голос московского диктора: “На околоземную орбиту... параметры... Все бортовые системы работают нормально...”

— Ой, наверное, космонавта запустили! — воскликнула Тана.— Подумать только — люди в космосе и, может быть, видят Мангышлак, а? удивительно!

— Да, здорово,— согласился он рассеянно. Он шагал прямо, кивая принужденно встречным, словно исполняя надоедливую обязанность.

“Стесняется? Может, из-за того, что его видят со мной? — растерянно подумала Тана, и ей показалось, что те, кто здоровается с ними, как-то по-особому смотрят на нее и на Жалела.— Ну и пусть. Мне ни капельки не стыдно. Могла бы идти долго. Так хорошо с ним. Надежно...”

Открытие поразило ее своей простотой, и Тана наклонила голову: вдруг догадается, о чем она подумала?

— Мне сюда,— быстро и почему-то шепотом проговорила она, сворачивая к зеленому бараку.

Жалел, остановился, глядя ей вслед, и, когда обернулся, наткнулся на Гульжамал. Будто привидение возникло на другой стороне улицы и смотрело на них.

“Снова заявилась!” — подумал он, лихорадочно соображая, как бы сделать, чтобы не встретиться с ней. Жалел, отвернулся, хорошо представляя ее искушенный и оценивающий взгляд,

которым она окинула Тану; видел ее маленькое, красивое пылкое личико, чуть располневшую фигуру, пышущую такой щедростью, что каждому при встрече с Гульжамал было ясно: она выросла не здесь, на скудной почве полуострова, а далеко отсюда, в том краю, где сады захлестывают улицы, где рвутся с гор серебристые потоки, а над городом размахнулись, как два белоснежных крыла, отроги Тянь-Шаня.

Жалел круто повернулся и двинул в другую сторону, к палаткам, хотя делать ему там было абсолютно нечего. Он шел как слепой, дважды споткнулся и, только услышав голос Тлепова, задержался.

— Жалел! погоди! Да подожди же, наконец! — Запыхавшийся Джандос догнал его. — Не слышишь? Кричу-кричу... Бежишь, будто за тобой волки гонятся. — Он поймал тоскливый взгляд Жалела. — Да что с тобой? Нездоров?

— Со мной? Почему нездоров? Нормально все.

— Вид какой-то... Слушай, — обеспокоенно сказал Тлепов. — Я как раз сегодня подумал: тебе надо чуток передохнуть... Вся эта суета... Малкожин. Комиссия... Ты в Майкудук собирался?

— Собирался. Надо мать перевозить и семью Халелбека. Они у нее гостят...

— Ну и действуй. Сегодня же поезжай. Дня четыре хватит?

— Даже много...

— Ничего. Не торопись. Соберитесь с толком. Саше подскажу: заедет за тобой...

— На “антилопе”? Доеду ли? — засомневался Жалел. “Антилопой” прозвали латаный перелатаный газик Тлепова, бегавший только благодаря терпению и неусыпным заботам шофера Саши.

— Ты прав. На “антилопе” рискованно. С Алексеенко поговорю. У него машина на ходу. А Саша тогда с Салимгиреем поедет. По ближним скважинам...

— Салимгирей вернулся? — сделав вид, что это для него новость, быстро отозвался Жалел. — Надолго?

Джандос пожал плечами:

— Хочет докопаться, почему падает внутрипластовое давление. Скважина Шилова тоже перестала фонтанировать.

— Это все из-за парафина. Так думаю...

— Посмотрим. Кстати, забыл совсем... Сейчас встретил жену Салимгирея — справлялась о тебе...

— Да-а-а... И что? — Жалел, смотрел куда-то вбок.

— Расспрашивала, как ты живешь. Да что с проектом...

— Ей-то какая забота? — недобро хмыкнул Жалел.

— Не знаю... Разве угадаешь, что у женщин на уме? — улыбнулся Тлепов.

— Это уж верно! Что у них в головах — никому не угадать! — с неожиданной горячностью подтвердил Жалел.—В хитрости и самому черту нос утрут...

— Э-э-э, погоди... Вот женишься...

— Не собираюсь.

Джандос наблюдал за ним с интересом. Смутная догадка шевельнулась в душе. Он хлопнул Жалела по плечу:

— Ладно. Не теряй времени!

— Ты о чем? — покосился Жалел. Слова Тлепова показались ему двусмысленными.

— О Майкудуке, конечно. Дорога-то неблизкая.
Жалел хмуро потупился.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Халелбек носился из угла в угол по тесному вагончику. Голова наклонена вперед; мощные плечи напряжены, будто на них лежит тяжкий груз; большие кисти со сплюсненными пальцами сжаты в кулаки, напоминающие хорошие молоты,— еще миг, и он разнесет хлипкое помещение в щепы, вырвется наружу и пойдет крушить все, что ни попадется на пути.

Джандос на всякий случай не отходил от двери. Привалясь к косяку, он стоял, наблюдая за буровым мастером и загораживая выход (ни к чему бригаде видеть Бестибаева в таком состоянии!), молча ждал, когда тот немного успокоится. Несколько раз Халелбек останавливался, поворачивал к Теплову багровое лицо, раскрывал рот, но вместо фраз вырывалось только яростное хрипение. Не находя выхода гневу, Халелбек метался по помещению, задел грузным телом стол, привинченный к полу, отшвырнул раскладушку, на которой спал, опрокинул табуретки... Вагончик колыхнулся, словно утлый челн.

Тлепов знал Халелбека больше десяти лет — вместе работали на Эмбе, потом в Жетыбае, и всякое случалось: бурение — дело нервное, рискованное, требующее от человека не только опыта, физической силы, но и того постоянного напряжения, которое знакомо морякам, шахтерам, летчикам,— но таким разъяренным ему не приходилось еще видеть буровика.

“Хорошо, что Малкожина рядом нет... Досталось бы ему... И чего полез со своими указаниями? Из-за него скважину запороли...”

Дело было так. Проходили очередную скважину на воде. До восьмисот — максимум девятисот метров бурение к Узеке на воде — дело обычное. После восьмисот уже бурят на растворе. Скважина шла хорошо. Прошли за пять дней сто десять метров. Всего четыре долота сменили. Пора переходить на раствор, а соды на буровой нет. И во всей экспедиции нет. Конец квартала. Вся сода вышла. Снабженцы разъехались соду “выбивать”, но пока “выбили” только обещания. Что делать? Ждать? Или попробовать бурить дальше? Так прикидывали и эдак. Породы вроде позволяют. Время дорого. Халелбек решил: бурить! Ему и раньше приходилось

проводить скважины на воде — опыт был. Работа шла гладко. Ни сучка, ни задоринки. Просто удивительно... Сто с лишним метров осталось до проектной отметки. И тут Халелбека что-то насторожило. Звонит с буровой: так и так, нехорошо себя скважина ведет, дальше без раствора соваться опасно... Джандос согласился: мастеру виднее. Бестибаев поехал к запасливому Аширову: у того, по слухам, “в заначке” была сода. Немного, правда, но была. Вроде как раз столько, сколько не хватало Бестибаеву, чтобы закончить скважину.

И надо же такому случиться... Пока Халелбек обхаживал прижимистого Аширова, на буровую заскочил Малкожин: “Почему стоите?” Объясняют: “Бурить дальше рискованно. Как бы не влететь...”

И слушать ничего не хочет: посмотрел геолого-технический наряд: “Сто метров осталось?” “Ну, да, сто...” “Перестраховщики! Срываете план! Немедленно начать бурение!” Вахта и так и сяк. “Как можно без мастера? Он наказал ждать”. Малкожин напирает: “Метраж нужен! Вы что — не понимаете?” Бурильщики мнутя: может, успеет подъехать Бестибаев и все образуется. Но разве у Аширова так просто и быстро что-нибудь выпросишь?.. Час проходит — Бестибаева нет.

Малкожин свое: “Давай, ребята! Премия в кармане, а вы резину тянете...” Между делом и по Бестибаеву прошелся: “Стареет... Не ловит мышей бурмастер”.

Уговорил. Закрутился станок. Нормально пошло. Метр, другой, третий... Малкожин радуется: “А я что говорил? Действуйте!” — и отбыл...

Еще и Бестибаев не успел вернуться с содой — скрепя сердце все же отдал заначку Аширов, — уже упало давление, не отрывается инструмент от забоя. Начал и расхаживать колонну, промывать... куда там! Намертво прихватило. Подъехал Халелбек, взглянул, спрашивает: “Кто напортачил?” — “Был Малкожин, — отвечают. — Приказал!” — “А вы что? Без головы?” Молчит вахта... Скрипнул зубами: “Давайте ванну готовить... Попробуем горячую солярку влить...”

Закачали солярку. Сначала вроде помогло: пять “свечей”

подняли, и тут снова заколодило: схватила порода инструмент — ничем не взять. Халелбек на своем стоит: вытащим! Сутки, вторые, третьи не уходит с буровой. Уперся! Перед тем как начали бурить эту скважину, получила экспедиция новый трехсекционный шпindelный турбобур точного литья. Единственный на весь Мангышлак. Отдали его не Шилову, не бригаде Аширова, а Халелбеку. И вот хоронят турбобур. Своими руками в землю зарывают...

В общем, не вышло ничего. Оставили инструмент в скважине.

Звонит Малкожин — он в это время в Форт-Шевченко в управлении вопросы увязывал. “Как дела у Бестибаева?” Тлепов доложил и, не выдержав, как мог осторожнее, чтобы не злить Ердена, добавил от себя пару слов покрепче... Все, что думал о самоуправстве вообще и его, Ердена, в частности.

Трубка зловеще молчала. Потом раздался вкрадчивый голос Малкожина: “Значит, твоя голова застряла в горшке, а ты еще и мою туда хочешь засунуть? Не выйдет, дорогой!” Сухо засмеялся. Повесил трубку.

Джандос не понимал: что между ними происходит? Откуда такая неприязнь? Почему Малкожин, с которым они были знакомы со студенческой скамьи, дружили, потом воевали в одной роте, так переменялся? Что с ним? Зазнался? Считает, что выше его авторитета нет? Твердит: “План! План!” Будто только один болеет за его выполнение. А взять то совещание, на котором он навалился на безответного Алексеенко? Положим, тот действительно тугодум... Но кто дал Ерденому право издеваться над человеком? А этот случай на буровой! Нет, все не так просто... Ерден одаренный инженер, опытный специалист. Разве он мог позволить себе такие, мягко говоря, некомпетентные решения? Злой умысел? Какой-то подлый расчет? Но для чего? Какая цель?

Джандос откинулся на спинку стула. Была та редкая минута в конце дня, когда его никто не тревожил, не звонил телефон, не заходила секретарша. Можно было сосредоточиться, подумать, или, как он говорил, обмозговать.

Ерден... Ерден... Неужели зло таилось в нем всегда? Впиталось в плоть и кровь? Нет, раньше таким не был... Он представил бледное лицо Малкожина, поредевшую шевелюру (зато всегда

красиво подстрижен, причесан волосок к волоску), которую он часто поправляет, чтобы не видно было намечающуюся плешь... Улыбку, не сходявшую с губ. Она таилась, как призрак, как тень, в углу рта. Даже в столовой — недавно они обедали вместе — Джандос обратил внимание: поднесет ложку ко рту, проглотит жидкость и, пока снова зачерпывает из тарелки, успевает улыбнуться. Привычка? Вечная насмешка?

А глаза настороженные, ищущие, беспокойные. Высматривает, на чем бы поймать его? Похоже на то. Ведь Ерден с самого начала был против разработки Узека. Настаивал, убеждал, доказывал, что незачем возиться... Но тогда почему Ерден так поддерживал его назначение? Рассказывали, что Малкожин даже с министром говорил, настаивая на своем. Почему? Можно было бы понять ненависть Ердена тогда, в юности, когда они ухаживали за Зейнеп, и она предпочла, в конце концов, его, Джандоса. Но сейчас, когда прошло столько лет... Было и былшем поросло...

Джандос Тлепов женился в сорок первом году. Их свадьба с Зейнеп была двадцатого июня, в пятницу, а двадцать второго грянула война. Уже в июле Джандос учился командовать взводом, носил по кубарю в петлицах. Он ходил и косил взглядом на воротник гимнастерки: блестит кубарь или нет? Ему хотелось, чтобы потускнел, чтобы думали — он уже давно в лейтенантах...

Джандос рвался на запад, где всюду полыхала война, но их почему-то придерживали в резерве, и Тлепов, как и другие вновь испеченные офицеры, переживал: вдруг и впрямь быстро, малой кровью и на чужой территории закончится война и он не успеет. Писал домой жене, которая жила с его матерью в Алма-Ате, длинные нежные письма. Послал фотографию. На обороте красиво вывел: “Дорогая Зейнеп! Помни и никогда не забывай! Джандос 3. 08. 1941”.

Он-то помнил, а она... Прошло три года, но будто тысяча лет пронеслась... Джандос вернулся с фронта неожиданно для всех — его считали погибшим. Родной дом показался чужим: мать умерла, Зейнеп вышла замуж за Ердена, которого демобилизовали по ранению. Джандос вошел в свою комнату, оглядел ее: ничего из того, что помнил, в ней уже не стояло. Разве что фотография? Не-

знакомый юноша в необмявшейся гимнастерке смотрел на него с картонного прямоугольника. Лицо округлое, едва ли не детское. Глаза мечтательные. Неужели он когда-то был таким?

“Отгулялась сучка. Бобик сдох!” — почему-то вспомнилось ему грубое присловье командира партизанского отряда, в котором он воевал.

Джандос потер щеку жесткой ладонью. Была ли другая жизнь, кроме той, что прожил на фронте?

Смутно догадываясь, что главное — не думать, не вспоминать то, что когда-то было, Джандос деланно бодро сказал:

— Ну что, молодожены... Обедом-то покормите гостя?

— У меня все готово! — откликнулась Зейнеп и загремела посудой, собирая на стол.

Ерден с беспокойством наблюдал за Джандосом. Словно заведенный приговаривал:

— Главное, что мы живы... Понимаешь, живы!

Голос был благостный. Призрачная улыбка играла в углу рта. Он за эти годы почти совсем не изменился. Так же красив, представительен, даже некая важность появилась в нем.

В комнате звонко тикали часы. Они сели втроем за стол, который Зейнеп накрыла красивой, как до войны, скатертью. Они ели, пили спирт, привезенный Джандосом. Говорил больше Ерден — у него был дар увлекать слушателей, и, наверное, в институте, где он преподавал, студенты любили его лекции.

— А ты стал совсем другой... — повторяла, краснея, Зейнеп, обращаясь к Джандосу. — Когда вошел — я даже не сразу поняла...

Он смотрел на нее, пытаясь отыскать в полноватой женщине, сидевшей напротив, черты той девушки, что когда-то признавалась ему в любви. Сейчас она была чем-то неприятна ему.

Ерден все говорил и говорил без конца, словно потоком слов хотел заглушить тревогу, неловкость, сожаление... Теперь он вспомнил тот бой, когда Джандоса ранило, а боец, вытаскивавший его из траншеи, был убит... Через несколько минут в траншею ворвались фашисты и, как все решили, добились его...

Примерно так и случилось с Джандосом. Только не дострелили его, и он выжил, очнувшись в погребке, куда притащили раненого

женщины из ближайшего села. Они-то и выходили Джандоса, а потом переправили к партизанам. Воевал, снова был ранен. Подлатался в лесном госпитале, опять встал в строй. И вот вернулся...

В соседней комнате заплакал ребенок. Да так жалобно... Зейнеп кинулась к нему. Что-то говорила, успокаивая. Потом вернулась с малышом.

— Сын! Мы назвали его Женис!¹

Ребенок открывал круглый розовый рот, морщил на свету смуглое личико. Зейнеп ласково похлопывала его. Руки у нее были красные, шершавые — она работала на обувной фабрике, и Джандос больше всего в тот вечер запомнил почему-то эти руки. Потом, гораздо позже, когда вспоминал свой приход домой, ему виделись ладони Зейнеп — сухие, бесцветные, покрытые шелушащейся кожей. Эти руки лучше всяких слов убеждали: Зейнеп пришлось нелегко, — и мог ли он судить ее?

Ерден спросил, что он собирается делать? Джандос и сам не знал, но уверенно ответил, что едет в Актюбинск, в геологоразведку. Там-де живет фронтовой товарищ... Ерден, а за ним и Зейнеп почему-то стали уговаривать остаться в Алма-Ате, и, чем настойчивее доказывали, почему именно он должен остаться, тем решительнее настаивал на своем Джандос. Втроем они вели какую-то игру, вроде той, что бывает в детстве, когда слышишь одно, а передаешь другое. Игра называлась “испорченный телефон”. Их разговор в тот вечер и был таким телефоном, искажающим подлинный смысл... И все же ни Зейнеп, ни Ерден не могли скрыть, как ни старались, своей радости и облегчения, когда, наконец, уверились: Джандос действительно уедет!

Он поднялся, попросил свою фотографию — ту, что стояла в его бывшей комнате. Зачем она ему — он и сам бы не мог объяснить, но почему-то ему хотелось, чтобы Зейнеп не отдала, оставила на память. Но она тут же согласилась, и сама торопливо протянула давнишний снимок.

Джандос увязывал вещмешок, прислушиваясь к разговору. Словно его уже не было, Ерден говорил о каком-то ордере, по ко-

¹Победа.

тому им выделили пружинный матрац, но что кто-то — он назвал фамилию, Джандос не разобрал и даже для чего-то переспросил, впрочем, тут же забыв ее, — этот ордер не подписал, и надо перед кем-то хлопотать. И опять называлось лицо, от которого зависело получение матраца. Джандос кивал головой, поддакивал. То ли от выпитого, то ли от усталости — его развезло. Он перехватил взгляд Зейнеп, с жалостью смотревшей на него, и все понял: вот сейчас и надо уйти, но не было сил, и он все тянул, топчась с мешком в коридоре, и сам себе был ненавистен, слушая про матрац и другие семейные дела. Ерден, как ни в чем не бывало, рассказывал о работе и сослуживцах: что-то не очень лестное. Неуловимая улыбка играла в углах рта, а Джандос словно оглох, как бывает, когда рядом разрывается мина или снаряд, — видишь людей, их шевелящиеся губы, но не можешь разобрать ни слова.

Наконец, собрав всю свою волю, он распрощался. Ночь лежала перед ним как безнадежность. Еще никогда мир не казался таким пустынным, а он в нем — затерянным, одиноким, никому не нужным. Ни одной душе на всем белом свете. Нетвердо он прошел несколько шагов, свернул в первый же переулок — ему хотелось быстрее уйти с улицы, где когда-то жизнь казалась беззаботной, счастливой, бесконечной.

“Куда идти? Зачем вообще жить?” Ужас охватывал его. Он беззвучно заплакал. “Если бы была жива мама...”

Он и сам не знал, что было бы, если бы мать дождалась его, но свято верил: все сложилось бы по-другому! Надо идти на вокзал. Он же едет в Актюбинск!.. Спотыкаясь, Джандос поплелся сквозь ночь. Алма-Ата вовсе не была большим городом, но казалось, что ей нет ни конца, ни краю. Темные окна, запертые двери, глухие ворота леденили душу. Над головой шумели черные тополя, сливавшиеся с аспидным небом, проколотым мерзлыми звездами. Где-то на полпути он понял, что не дойдет. Сел у арыка, вспомнил: “Есть фляжка!” Развязал вещмешок, достал посудину. На дне и впрямь плескалось. Выпил не разведенный спирт, не почувствовав ничего, кроме сухости в горле. Стало спокойнее и безразличнее.

“Плевать! — сказал он сам себе. — Плевать! — повторил снова. — Плевать! Плевать! Плевать!”

Он твердил как заклятье, и в одном слове вмещалось для него столько муки, горя, безысходности, что в эту минуту он желал смерти как избавления; жалел, что его не убило тогда в траншее под Долгим Бором и еще потом, в мерзлом псковском лесу. Почему смерть обошла его? Зачем ему теперь жизнь?

Опять приложился к фляжке. И еще, еще... Остальное помнил кусками. Обнимался с каким-то небритым человеком — хорошо помнил, что щетина неприятно колола губы. Кажется, бывший артиллерист... Рассказывал про Зейнеп и себя. Тот сочувствовал: “Давай сейчас пойдем к ним и врежем прямой наводкой! Раздолбаем, и кранты!” “Пойдем! — соглашался Джандос. — Раздолбаем!”

Они и, правда, куда-то шли. Пели. “Земля бежит, бежит на грудь... Меня родная не дождется...” От этого было еще тоскливее. Потом артиллерист потерялся. Или он, Джандос, отстал. Начал искать ночного друга. Не нашел. Очень устал.

Очнулся Джандос от голоса матери. Она была рядом и говорила: “Сынок, зачем ты так,— и в голосе у нее не было укора, а только боль и страх за него.— Если все время будешь помнить о горе, то не увидишь жизни...”

Наверное, она хотела еще что-то сказать и вдруг пропала, вернее, истаяла. Но голос ее остался в нем, и когда, совершенно трезвый, будто и не пил, открыл глаза, увидел перед собой голубой и зеленый мир, услышал свист иволги и звон воды в арыке, — какой-то другой человек, будто родившийся в нем, помог удержать это мгновенье и запомнить его навсегда.

И потом еще не раз, когда голос матери звучал в его душе, он мысленно говорил ей что то страшное, едва не случившееся с ним ночью, больше не повторится, потому что уверенность в счастье, - а он верил: впереди его ждет долгая, счастливая жизнь! — ведет его, помогает ему, и благодарил ее за то спасительно утро. Эта уверенность жила в нем неприкосновенно, тайно, и, когда в его присутствии находили разговоры о несчастьях, которые будто бы нельзя пережить, Тлепов никогда не спорил, только слабо улыбался, покачивая головой: в конце концов, каждый по-своему понимает, что такое горе, счастье и сама жизнь...

В кабинет вошел Юрий Алексеенко и первым делом поискал глазами графин с водой: он, хоть и вырос на Мангышлаке, не мог привыкнуть к жаре и едва ли не больше всех страдал от жажды. Юрий налил в стакан теплую мутноватую воду — выпил залпом, и тут же вода снова забулькала из графина. Отдуваясь, Юрий сел на стул. Выпитая вода стала медленно выступать на его лице, шее, загорелых руках.

— Я с буровой... У Халелбека был.— Юрий крутанул головой.
— Там такое...

— Что еще стряслось? — встревожился Джандос.— Колонна не оторвалась?

После того как все попытки поднять колонну закончились неудачей, решили взрывчаткой обрубить трубы, чтобы спасти хоть тот инструмент, который еще можно было вытащить, и как раз Алексеенко командовал этой операцией.

— Нет... С колонной порядок. Торпедировали. Двенадцать свечей подняли. Дальше шуруют.

— Ну, а в чем тогда дело?

— Понимаешь,— Юрий замялся.— Халелбек вроде как не в себе.

— Не понимаю: что значит не в себе? Да чего крутишь,— говори прямо.—Он пристально посмотрел на Юрия.

Дней десять назад у Алексеенко родился сын. Вчера он как раз доставил жену и новорожденного домой и по этому поводу мог выпить с Халелбеком: они, как и их жены, давно были дружны. Еще с Эмбы.

“Нет, не похоже на то, чтобы Алексеенко был пьян”.

Юрий повел плечами, поеживаясь:

— Сидит в вагончике. Никого к себе не подпускает. Бурильщики, было, сунулись зачем-то — он их так понес...

— Да не может быть, — удивился Джандос.—Такой выдержанный мужик.

— Все мы выдержанные... Горько пить вино, а обнесут, горче того,— хмуро заметил Алексеенко.

— Постой-постой...—догадка мелькнула в голове Джандоса.
— А ты его не пробовал утешать? Ну, по дружбе...— Глепов сделал

такое лицо, будто выпил водки и поморщился, перед тем как закусить...

— Чего? — Юрий обиженно отвернулся.—Если бы так, то и не пришел бы... Сами не маленькие: разобрались бы. Трезв как стеклышко. Говорю ему: сын родился. Зову вечером на шильдехану¹, а он...

— Ну?

Юрий почесал голову: она была у него большая, круглая, величиной с добрый кавун.

— Рывкнул что-то. Не разобрал даже. То ли послал подальше, то ли поздравил.—Добродушно рассмеялся,— Я и не стал больше приставать. — И уже серьезно, явно переживая, добавил: — Взбесился из-за этой аварии. Ладно... Трубы потеряли, время... Но турбобур — жалко. Впору хоть самому в скважину лезть — только бы выручить машинку...

— Чего ж теперь... После драки кулаками.

— Как это — после драки?— вскинулся Алексеенко.— Неужто так и оставим? Малкожин скважину заперол, а мы — молчок.

— Не пыли,—поморщился Джандос.—Малкожин, Малкожин... Самим дураками не надо быть.

— Мы же и виноваты, выходит? Интересно получается.— Юрий протянул руку к графину, но там на самом дне плескалась одна желтая муть.— Пить охота — прямо как из пушки... Мы вчера с батей отметили это дело. Пацан такой крепкий. Палец протягиваю, а он, стервец, уже цепляется за него. Батя с ходу определил: в нашу породу. Бурильщиком, говорит, будет. Вон как палец ухватил. Словно трубу. Ты сам-то вечером зайдешь к нам?

— Постараюсь,— сказал Тлепов.

— Чего там “постараюсь”... Никаких отказов не принимаю. Ежели не придешь — враги на всю жизнь. Как с Малкожиным... — и ухмыльнулся.

— Приду, приду.

— Ладно. А что с Халелбеком делать? — озабоченно спросил Алексеенко.— Измаялся мужик. Как бы не того...

¹ Торжество по случаю рождения ребенка.

— Ничего. Успокойся. Будет работать дальше. Нервы сдали.

— Да, этот Малкожин кого угодно допечет... Была бы моя воля — докладную в министерство накатал бы... железно! Пусть разберутся!

— Докладную?

— Конечно! — страстно сказал Алексеенко. — Все расписал бы, как было...

— Написать-то просто, — сдержанно отозвался Тлепов. — Только тем же концом да по тому же месту. Скажут в министерстве: а вы куда смотрели?

— Малкожин же воду замутил! — выкрикнул Юрий.

— Малкожин...

Джандос явственно увидел тонкую улыбку Ердена, в которой таился яд.

— Во-первых, устное распоряжение. Во-вторых, вахта сама напоролась. Зачем без мастера, вопреки прямым его указаниям, начали бурение? Вахте в первую голову и влетит. Да и нам тоже...

— Подожди-подожди... Не понял. Получается, что Малкожин из воды сухим выйдет? А совесть? Есть у него или нет?

Джандос с минуту молчал, перекладывая стопку бумаг с одного края стола на другой.

— Послушай, Юрий Михайлович! — сказал он официально, скрипучим голосом. — Ты чего меня агитируешь? Совесть — как думают некоторые люди — атавизм. Ее к докладной не подошьешь. — Он насмешливо поглядел на Юрия. — Нет, Юрий Михайлович, о совести нас никто и спрашивать в данном конкретном случае не станет. Спросят о другом: почему допустили аварию, как угробили инструмент да когда наверстаем упущенное. Это будет деловой разговор. И в данной ситуации, на мой взгляд, наиболее правильное месторождение разбуривать, а не кивать на кого-то, кто якобы помешал нашей работе.

Алексеенко хмуро слушал. В его упорядоченном мире что-то вдруг пошло наперекос. Он чувствовал себя беспомощным, как ребенок, которому втолковывают прописные истины.

— Человек беспокоился за план. С буровых не вылезал. Старался помочь, а мы на него телегу, значит, готовим? С какой

целью, разрешите спросить? Прикрыть собственную беспомощность? Неумение? Халатность?

— Ты что меня пытаешь?

— Я не пытаю... Говорю, что есть... Вернее, как это дело со стороны выглядит...

Юрий поморгал короткими выгоревшими ресницами.

— Ничего, я Малкожину при случае сам врежу. Прямо. Без всяких докладных...

— Не советую. Знаешь поговорку? Верблюда спросили: “Почему у тебя шея кривая?” — “А что у меня прямое?” — ответил верблюд.

— И все равно — врежу! Такой снаряд угробили! Аж муторно становится, как вспомню...

Юра встал, поболтал графин. Желтизна укрыла прозрачные стенки.

— Ладно, пошел,—сказал он невесело. — Хоть воды где-нибудь найду. — Но сам не сдвинулся с места, поглощенный какой-то задачей, стоявшей перед ним. Он только нетерпеливо переминался с ноги на ногу, ожидая чего-то.— Как же с Халелбеком-то быть? Ничего не придумали...—сказал он растерянно. — Все Малкожин, Малкожин...

— Сейчас поеду к нему на буровую, — решил Джандос.

— Правильно! — обрадовался Юрий.—Сидим, края у сети латаем, а мужик один пропадает.

— Не дадим пропасть, — уверенно сказал Джандос. - Жди нас на шильдехану вечером. Уговорю сокола... Есть у меня одно средство.— Он подмигнул.

Когда Джандос подъехал к буровой, там шел подъем инструмента: бурильщики вытаскивали из скважины те трубы, которые еще можно было спасти после аварии. Тлепов поздоровался. Ребята коротко кивнули, захваченные работой. Джандос постоял немного рядом с Тюниным — бурильщик еще в Жетыбае работал с Халелбеком, потом уходил в армию и, отслужив, с полгода как вернулся в бригаду.

Невысокий, худощавый, похожий на подростка, Тюнин работал у тормоза с уверенностью виртуоза. Наблюдать за ним

было для Тлепова истинным удовольствием. Глаза Тюнина вроде как пустые, отвлеченные, но Джандос понимал, что они видят все: показания приборов; неловкость молоденького помбура, чуть опоздавшего с приемом очередной “свечи” и виновато втянувшего голову в плечи; и то, как на самой верхотуре, где устроены полаты, верховой рабочий накидывает пеньковый аркан на слишком короткую “свечу”, и даже щенка, по кличке Шпиндель, который вертится у буровой. Тлепов хорошо знал, как это непросто: видеть и приборы, и инструмент, и всех своих ребят, ощущая в то же время дыхание скважины, вес колонны, усилия двигателей, напряжение лебедки и работу насосов. Да еще каким-то боковым зрением отметить игру щенка, гонящегося за ящерицами, и ухмыльнуться его забаве. И в этом всевидении настоящего мастера его тайна, его талант, его гордость.

— Пошла! — предупреждающе кричит Тюнин.

— Есть, пошла! — по-военному откликается с полатай верховой.

Его не видно. Только иногда мелькнет голова в каске. Или предостерегающе взмахнет ладонь в рукавице.

— Пошла! — подтверждают помбуры.

Тысяча с лишним метров стальных труб поползли вверх. Взывает дизель. Лязгают челюсти автоматического ключа. “Свеча” отвернута. Помбуры ставят ее на “подполатах, верховой прилаживает ее за свечник” на пальцы.

Вахта работает сосредоточенно и споро, без лишних движений и суеты. Тюнин подает точно, быстро. Только поспевай поворачиваться. Только не зевай, — лови бесконечные “свечи”. Трубы стоят на “подсвечнике” ровно, тесно, как сигареты в пачке. Сигареты в десятки килограммов весом.

Тюнин смахивает со лба крупные капли пота.

— Дождь пошел, — шутит он.

У помбуров рубахи на спине тоже потемнели от пота. Пока лебедка тащит колонну, они высовываются за брезентовый полог — так прохладнее. Пыльные вихри гуляют по узекской впадине. Ветер гудит, обтекая буровую, и временами кажется, что вышка летит по пустыне туда, в желтое бесконечное пространство.

— Иной раз смотрю и думаю, — роняет вдруг Тюнин, — запрячь бы этот ветер в работу. Чего он зря песок гоняет? Пусть трудится для пользы. Помню, в детстве у нас под Шетпе ветряк стоял. И свет давал. И воду из колодцев доставал. Потом забросили это дело почему-то...

Он рассуждает вроде про себя. Привык говорить сам с собой: у тормоза-то он один стоит всю вахту.

И без всякой связи добавляет, отвечая на какие-то свои мысли:

— Если бы не авария — давно бы новую скважину заканчивали.

Затаенная досада звучит в голосе, и яснее ясного — не выходит из головы бурильщика нелепая неудача.

— Халелбек там? — кивает Джандос в сторону стоящего поодаль вагончика.

— Угу. И домой не едет. Аж почернел весь. Говорим ему: “Иди отоспись. Отдохни малость!” Не слушает. Сидит как сыч в балке. Ждет, пока мы все “свечи” не выдернем...

— Управитесь за вахту?

— Поживем, — увидим, — уклончиво говорит Тюнин. Лицо его сосредоточенно, спокойно, и упрямая воля читается на нем. Видно, мастер про себя решил, что доведет дело до конца, преодолевает противодействие породы.

— В нашем деле ведь как? — рассуждает Тюнин. — То все через пень-колоду идет: тут не клеится, здесь промахнулись, там напортачили... А разозлишься, врежешься, — будто сам собой крутится станок.

Шипящий песок бил и бил по стальному телу буровой, хлестал по брезенту, надувавшемуся как парус, свистел в такелаже. Ветер безжалостно гнал шары перекати-поля, и они, как живые, прыгали, сталкивались, догоняя друг друга, и опять разлетались, чтобы, наверное, уже никогда не встретиться.

— Футбол! — кивнул Тюнин на колючий шар, наткнувшийся на штабель труб и пытающийся перескочить через них. — Думаю с ребятами команду сколотить. Я ведь в армии играл... За округ выступал...

— Футбол? — переспросил Тлепов. — Ну-ну... — Он покачал головой. Странно ему было: в пустыне — и футбол. “А почему бы и нет? Народ у нас молодой. Пусть играют...”

— Надо это дело обмозговать, — сказал он вслух. — Солидно поставить. Значит, и команда должна быть соответственно...

— А как же? Еще на первенстве республики выступим! — уверил Тюнин. — Увидите...

Пыльная буря не утихала, но ни Тюнин, ни его вахта не обращали на нее никакого внимания: работали себе, и все. Словно не обволакивало их облако песка, тонкого как пудра, не рвал легкие раскаленный воздух. Тюнин поддавал и поддавал темп, так что со стороны казалось, что работу и мощность двигателя он хочет сравнять с работой песчаной бури, возможно, втайне гордясь этой мыслью.

Чисто, мощно ревел дизель, перекрывая свист ветра. Этот рев где-нибудь в городе или ином месте только бы раздражал, но здесь, как ни странно, действовал успокаивающе, и Джандос, пока шел к вагончику, обдумывая, как лучше начать разговор с Халелбеком, почему-то уверился: все будет хорошо и Бестибаев непременно согласится...

В каждой скважине, сколько бы ты их ни пробурил в жизни, всегда есть самые тяжелые метры, которые надо пройти. Одолеть, несмотря ни на что. Вопреки стихии, аварии, нелепому случаю...

Тлепов толкнул дверь вагончика, — она подалась не сразу, словно что-то мешало. Надавил сильнее и едва не упал, споткнувшись о табуретку. Халелбек протянул руку, поддержал.

— Салом алейкум! — поздоровался Тлепов. — У тебя тут прямо баррикады.

— Ассалом! — негромко отозвался Халелбек, отчужденно взглянув на гостя, словно видел его впервые. Он даже показался Тлепову меньше ростом — так согнуло его.

Джандос обвел взглядом помещение. Табуретки перевернуты, единственный железный стул вбит под раскладушку: тонкие ножки торчат, как пики. На столе в миске застыла, подернувшись жиром, картошка с кусками мяса. Рядом лежали ломти нетронутого, успевшего заветреть хлеба. Поодаль стояла алюминиевая кружка с

недопитым компотом, вокруг которого гудели осы. Со стены улыбалась актриса Гурченко. Ее портрет, вырезанный из журнала, был прихвачен большими плотницкими гвоздями.

Джандос стоял у косяка, и словно острый луч осветил давно прошедшее мгновение. Всплыла лесная землянка, куда его втолкнули после того, как с завязанными глазами водили вокруг партизанской базы, чтобы на всякий случай запутать. Сняли повязку, и Джандос увидел бородатого человека с беленькой, вырезанной из консервной банки звездочкой на ушанке. Полный обиды и ярости, что его, командира Красной Армии, словно врага, водили по лесу да еще тыкали в спину винтовкой, он тут же взорвался:

— Что у вас тут — одни дураки?! Не видят, кто к ним пришел! Надо наказать! Могли и прикончить запросто... Я офицер...

Слова срывались, и он бежал за ними вдогонку. Не мудрено, что он запутался, сбился, стараясь сразу все выложить, рассказать о себе, о том последнем бое...

Человек, прищурясь, смотрел на него и, разломив картошку, которую держал в руке, стал жевать. Челюсти двигались равномерно, лицо же было неподвижно и бесстрастно. В котелке, стоявшем перед ним, лежала еще одна картошка — особенно круглая, гладкая, с шелковистой коричневой кожицей, — Джандос сглотнул слюну и отвернулся. Бородач показал на котелок:

— Угощайся!

Но Джандос затряс головой и, наконец, взял себя в руки. Вытянулся, звонко, как на смотре, отрапортовал, что лейтенант Тлепов прибыл в распоряжение отряда бить фашистских оккупантов, потом достал документы. Человек полистал их, без особого, впрочем, интереса, и, не спеша, доев картошку, начал форменный допрос. Причем с пристрастием и намеками: почему уцелел в бою, и как получилось, что взвод отступил и бросил раненого командира? Человек спрашивал с мужицкой основательностью. Как он потом узнал, командир отряда до войны был рядовым колхозником, но не хуже опытного следователя дотошно выпытывал подробности, буравя его синими глазами. Джандос рассчитывал, что его встретят ну, положим, не как героя, а хотя бы по-человечески:

посочувствуют, расспросят дружески, что и как с ним произошло. Он расскажет, душу отведет. А тут — допрос. Потом, когда схлынула обида первого дня и он поближе узнал командира, понял: иначе в лесной партизанской жизни поступить нельзя... И теперь, глядя, как мечется перед ним товарищ, тяжело переживая случившееся, потому что уверен: поставлены под сомнение не только его опыт или профессионализм, накопленные долгими годами работы, но и сам авторитет в бригаде, в экспедиции, — Тлепов вдруг догадался, что надо делать, и, решительно шагнув от двери, подошел к Халелбеку.

— Слушай, у меня времени в обрез, — сказал он строго и вместе с тем доверительно. — Надо с тобой посоветоваться.

Он выждал, пока мастер осознает его слова, и, показав на валявшиеся табуретки, предложил:

— Может, сядем? Дело серьезное... Халелбек проворно вскинул бритую голову:

— Дело? Какое еще дело? — но все же наклонился, поднял и поставил табуретки.

— У нас в ауле рассказывали такую байку, — усмехнулся Тлепов, будто и не заметив настроения мастера.— Алдар-косе попросил у жадного соседа аркан на время. Сосед замялся: “Не могу дать”. Почему?” — спрашивает Алдар. “На аркан жена муку расстелила”. Алдар-косе смолчал. Через некоторое время на соседа напали барымтачи. Услышал Алдар крики, схватил в одну руку палку, в другую — булыжник, прибежал. Стоит у кибитки, смотрит и пальцем не шевелит, глядя, как воры волокут добычу. Сосед, ограбленный до нитки, укорил его: “Что же ты? Струсил?” — “Э-э-э, зачем унижаешь? ответил Алдар-косе.— Посмотри сам: чем мне сражаться-то — руки заняты”.

Халелбек через силу, но улыбнулся. Лицо его немного оттаяло.

— И, правда. Зачем муку на аркане расстилать... Садись.

— Положение такое: квартальный план после аварии на твоей буровой,— жестко начал Тлепов, не боясь, что разбередит рану,— мы завалили. Даже если поднажмем и все будет идти без происшествий — годовой план не вытянем. Как ни крути! Так что Малкожин был в этот раз прав...

— План! План! — зло выдохнул Халелбек.—Только и слышишь с утра до вечера: “Давай! Нажми!” А как да чем нажимать — никому дела нет. То без воды сидим. То химреагентов нет. То труб не поставили... А ты знай, вкалывай. И еще...—Он прямо задохнулся.—Каждый может приехать на буровую и распоряжаться, словно у себя дома.

Он бы снова вскочил, если бы Джандос мягко, но настойчиво не удержал его:

— Погоди, погоди... Зачем в одну кучу все валить? Снабжение — одно. Малкожин — другое. Гидрогеологи отстают — третье... Есть и пятое, и десятое... Дай мне договорить. Так вот, насчет плана. Его надо выполнить, как бы ни было трудно. Не для тебя или меня... Москва, Урал, Украина — вся страна ждет от нас нефть. Без нее, сам знаешь,— никуда. Нет металла. Электроэнергии. Химии... Да что объяснять.

— Я и сам не хуже тебя могу растолковать значение нефти в народном хозяйстве,— съязвил Халелбек.— О другом веду речь: когда начнем нормально работать?

— Честно? Не знаю, хотя бы должен знать,— откровенно сказал Тлепов, испытующе поглядел на Халелбека. — Слишком трудно идет разведка. Никогда на Мангышлаке не было столько людей, техники, такого разворота работ. Знаешь, иногда думаю: как на фронте в наступлении. Вырвались вперед, захватили плацдарм, а тылы отстали. Что делать? Отойти? Бросить то, что досталось ценой стольких жертв? Или вцепиться изо всех сил и держаться, пока не подойдут резервы...

— Знаешь, Джандос, я тоже пороху понюхал... Никто без подготовки не наступает. Разведка должна сведения принести. Интенданты — боезапас обеспечить. Саперы — мины снять, проволоку порезать. Артиллерия — раздолбать противника... Много чего. Штабисты не зря сидят...

— Правильно. Но наступление всегда риск. Так и в нашем деле...

— Риск-то риск...

Джандос в душе был доволен: Халелбек его слушал. И только горечь от неудачи и, быть может, от стыда, что он, всегда такой

хладнокровный, рассудительный, сдержанный, и вот сорвался,— еще жила в нем. В узких рамках буровой Бестибаев видел остро, пронизательно, а вот взять шире, подняться над точкой зрения буровика — пока не мог или не хотел. А именно этого ждал от него Тлепов.

Еще до приезда Малкожина Джандос думал, как вывести экспедицию из прорыва. Авария на буровой Халелбека, снова отбросившая коллектив назад, дала новый толчок его размышлениям. Он понимал, что и других беспокоит то же, что и его, и когда на партбюро вышел со своим предложением — одной бригадой попробовать работать сразу на двух станках! — его поддержали почти все. Да, в Азербайджане, в Башкирии или Поволжье подобного еще не было, хотя там нефтяники тоже с умом и опытом... Но что из того? Кто-то должен начать?!

Не один вечер сидели, обмозговывали, что к чему да как спланировать работу. Сколько вахт создать в такой укрупненной бригаде? Как лучше организовать монтаж буровых? Снабжение материалами, водой... Одна проблема тянула за собой другую, и казалось, их никогда не решить. Увлеченные идеей, они рано или поздно находили выход и медленно, но неостановимо продвигались вперед, исподволь готовя технику. По крохам, урезая себя, создавали запас деталей, солярки, труб... Наконец вроде все расписано. Остановка за одним — кто возьмется?! Как будто легко: буровые мастера наперечет. Их квалификация, знания, характер, привычки — все известно. Но непросто на такое дело найти человека.

Нет, не кандидатуру. Человека. Настоящего мастера! Первое, конечно, чтобы буровик был знающий, опытный, толковый. Не новичок. Во-вторых, чтобы дело свое любил и мог выложиться до конца. Тут середнячок не годится. В старательности, усердии он, вполне возможно, сумеет превзойти мастера, но в особом чутье, интуиции, преданности ремеслу — никогда. В-третьих, человек должен быть внутренне готов к работе по-новому. Тут дело такое — нельзя ошибиться. Кровь из носу, — а сделай. Иначе вся идея пропадет, и снова возвращаться к ней — после поражения — трудно, почти нереально...

Была и еще одна тонкость. Бригада должна быть самая обычная. В том смысле, что собирать в нее одних асов — ни к чему. Работать на двух станках нужно обычным бурильщикам. И если эксперимент удастся, то каждому станет ясно: соседи смогли, — а мы чем хуже? Рекордное достижение одной бригады — штука нехитрая. Вот сделать, чтобы потом другие сработали, — задача посложнее...

Но пока это еще были мечты. О них Тлепов не только товарищам, себе не признавался. Рано, рано... Сначала надо доказать, что его идея вовсе не фантастика. Не завиральная, как любит выражаться Малкожин...

— Халелбек! Есть одна штука... Если получится, то за год можно проходить двадцать... тридцать тысяч метров. Может, даже больше. Одной бригадой!

— Термобур, что ли? — насмешливо спросил мастер.

О термобуре, который должен был заменить старый испытанный метод бурения, еще недавно много говорили и писали, но он так и не пошел.

— Нет. Какой термобур?! Другое... Бурить одновременно на двух станках. Понимаешь?

Джандос увидел глаза Халелбека близко-близко. Они смотрели прямо, не мигая, и никакой мути в них не было и в помине, а читался живой интерес.

— Смысл в том, чтобы бригада не теряла времени: набирала и набирала темп! Один цикл сменяет другой. Положим, на одном станке подходишь к проектной отметке, а на другом уже буришь под кондуктор. Вот смотри...

Джандос вынул авторучку, взял лист бумаги, расчертил его на графы.

— Работу можно организовать примерно так...

Халелбек слушал не перебивая. Он быстро схватывал суть дела, думал про себя: как же ему самому эта идея не пришла в голову? Вокруг да около ходил. Вроде все так просто, а не додумался...

Джандос закончил пояснения.

— Ну? Как считаешь? Пойдет или нет? — спросил он с тревогой. — Одно дело на бумаге, другое...

Халелбек молчал, разглядывая схему. Темным ногтем — видно, чем-то ударил или прищемил палец — отчеркнул на бумаге сомнительные, на его взгляд, места. Было над чем поломать голову: за такое еще никто среди нефтеразведчиков не брался.

— Дело! — наконец уронил он.—Если по уму все организовать, должно пойти. Только вот...— сомнение было в его голосе — Вышкомонтажники. Слесари. Каротаж... Если как сейчас работают — лучше не заводиться. Проку не будет. Как ни крути — голую овцу не острижешь...

— В том-то и фокус! — жарко сказал Джандос.— Идея стреляет дальше твоей бригады. Она заставит все службы подтянуться. Все! Оплату собираемся поставить в зависимость от конечных результатов: метража, качества проходки, испытания скважин...

— Хорошо бы, коли так...— Халелбек покачал головой. Он пристально разглядывал схему, набросанную на бумаге.— Вот тут, мне кажется, лучше бы изменить...

Все было решено в тот августовский ветреный день. Они вышли из вагончика, когда ночь упала на пустыню. По-прежнему ощутима была сила ветра, — он налетал порывами, толкая в спину, разбиваясь о стены вагончика, свистя в переплетениях буровой.

Ликующее чувство освобождения пришло к ним обоим. Ветер словно сдергивал с их душ усталость, нервное напряжение, изнурительный труд последних месяцев. Волшебство, щедрость, радость жизни снова охватывали их. Ревущий воздух, обтекающий их тела, словно омыл, вернул Джандосу и Халелбеку чистоту зрения и души. Вечная ликующая сила земли вливалась в них, придавая уверенность во всем, о чем только что думали и беседовали.

Халелбек прислушивался к работе буровой. Долгие годы изошрили слух мастера, и он по реву двигателей, лязгу и звону металла, по другим звукам, говорящим только ему, определял, как идет дело.

— Закончат сегодня подъем,— уверенно сказал Халелбек.— Начнем бурение... Толковый этот Тюнин. Ты на него глаз положи. Мастер будет — что надо! — и лицо его в сумрачном свете приняло

то теплое выражение, которое бывает у людей, думающих о чем-то хорошем.

— Тюнина держу на примете, — откликнулся Джандос. — Подучится людьми руководить — и мастер. Отпустишь его?

— Жалко! — сознался Халелбек. — На подмену ему нет никого, — добавил он тише.

— Что? — не расслышал Джандос и нагнулся, шагнув ближе к Халелбеку. — Черт возьми! — ругнулся он, споткнувшись о трубу. Страшная сила изогнула ее в форме латинской буквы “S”. Даже во тьме “макарона”, вытащенная из скважины после аварии, зловеще чернела.

Джандос с досадой наступил на нее ногой.

— Увезли бы отсюда в утиль. Чтобы глаза не мозолила.

— Нет. Пусть полежит. Я бы эту штуку вообще к нашей бригаде навечно приписал. Перевозил бы вместе с буровой. Как память...

— Память? И верно! — Джандос рассмеялся. — Представляешь, раскопают археологи когда-нибудь эту хреновину и начнут спорить. Откуда? Какой век? Для чего служила? Красивую табличку присобачат: “Загадочный предмет космической эры”.

— Да, они уж докопаются... — рассеянно сказал Халелбек. Он прислушивался к чему-то, вглядываясь в темноту. Джандос тоже посмотрел в ту сторону, куда повернулся мастер. Вдали мелькнул и пропал свет фар. Наверное, машина огибала холм, вдоль которого шла дорога.

Халелбек поднес близко к глазам мерцающий циферблат часов.

— Вахта сейчас будет. Минут через пятнадцать подъедут ребята.

— Хорошо. На этом автобусе и вернемся в Узек.

— Ты поезжай, а я здесь останусь. Погляжу, как бурение пойдет.

— Ты что? Нас же Алексеенки ждут! Сын у Юрия родился. Той у них сегодня. Забыл?

— И верно... Со всеми этими делами — замотался... — он протяжно вздохнул. — Нет уж, поезжай-ка ты один...

— Не прощу! Нехай живет теперь, как хочет! — Джандос очень, похоже, изобразил Алексеенку. Они засмеялись.

— Ехать, что ли? — не мог решиться Халелбек. — Ведь точно обидится.

— Конечно, поедем! Чего мудрить?!

Джандос стоял рядом с мастером, чувствуя то особое расположение, душевную общность, что бывает между людьми одной работы, одной судьбы. Такое случается нечасто, потому что каждый человек привык глубоко в себе прятать самые сокровенные порывы, затаенные и гордые мысли. Но бывают минуты, когда вдруг открывается истина: рядом с тобой не просто друг или единомышленник... Нет, рядом с тобой человек удивительно близкий.

Так размышлял Джандос, а Халелбек вполголоса разговаривал с Тюниным, который подошел посоветоваться. Они говорили негромко, и звуки человеческой речи естественно и мягко вливались в гул буровой. Он то усиливался, когда вытаскивалась очередная “свеча”, то затихал... И это напоминало рокот моря.

В делах людей, думалось Тлепову, бывают разные периоды. Как бы отливы и приливы. От чего они зависят? От биологических ритмов, которым подчинено каждое живое существо на земле? Возможно. Это как часы Земли, заведенные самим Космосом, и когда задумываешься об этом, то видишь свою жизнь, маленькую, короткую, которая втекает в общее, громадное Время.

Похоже, что сейчас их властно захватил прилив — так чисто и радостно на сердце, — и теперь важно использовать эту мощную волну, копить уверенность в себе и в успехе дела, которое они задумали. Тогда ничто на свете не покажется трудным, невозможным или непреодолимым. Это как свет звезд. Он идет долго. Даже страшно подумать, какое расстояние приходится преодолевать лучу. Но все равно звездный свет доходит до земли. Джандос запрокинул голову. Мгновенные искры чертили небо. Это падали августовские звезды, и, как в детстве, глядя на проносящиеся светлячки-метеоры, он загадал желание.

— Звездопад! — вслух проговорил Тлепов. Ему хотелось, чтобы Халелбек и Тюнин тоже взглянули на небо.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Халелбек не любил шумных застолий. Даже не то чтобы не любил, — старался избегать. И если уж приходилось сидеть в компании, то держался в стороне, незаметно и тихо. И не потому, что был сухарь или черствый человек, а больше из-за того, что все это сидение за столом как-то уже мало интересовало его. Он наперед представлял, как все будет... Кто-то напьется, и придется его вытаскивать на воздух и отхаживать; какая-то семейная пара поссорится, и сначала на них не будут обращать внимания, но жена или муж, в зависимости от того, у кого меньше выдержки, начнут прилюдно обвинять друг друга, и те, кто случится при этом, почувствуют жгучий стыд, словно их заставили подглядывать в замочную скважину; третьи весь вечер станут толковать о работе, вспоминая новые и новые случаи, из которых с неумолимой ясностью вытекает, что если бы не они — настоящие трудяги, то производство давно бы остановилось, потому что другие поплевают в потолок; четвертые, основательно налившись вином и обведя присутствующих туманным взглядом, вдруг припомнят настоящую или мнимую обиду, мрачно загудят себе под нос и, притиснув первого попавшегося гостя, начнут жаловаться или выяснять отношения...

Конечно, за столом будут и те, кто любит праздники и умеет веселиться от души, но Халелбек, как ни старался ради жены — Жансулу, в отличие от него, она была человек компанейский, любила ходить по гостям, сама с удовольствием принимала друзей у себя, заставляя стол снедью и напитками,— не мог переломить себя, и вечеринки тяготили его...

Было и еще одно, о чем Халелбек не любил вспоминать, а застолье напоминало: одно время он сильно пил. Вернувшись в Кульсары после фронта, Халелбек не мог из-за ранения приняться за прежнюю работу на буровой и пока устроился слесарем в механические мастерские. Он исполнял свое дело аккуратно и строго, надеясь, что здоровье поправится и в его жизни произойдет перемена, но время шло, рана ныла и ныла, и он по-прежнему занимался тем, к чему не лежала душа. Радость ожидания настоя-

щей работы постепенно угасала, зато накапливалось глухое раздражение, смутное чувство, что он живет не так, как хотел и как думалось на фронте. Халелбек и сам бы, пожалуй, не мог объяснить, собственно, на что он рассчитывал, но беспокойные мысли о другой, пусть трудной, но радостной и красивой жизни бередили душу. Однажды он зашел в пивную. Там был свой лихой и яркий мир. За столиками, залитыми пивом, сидели знакомые и незнакомые люди, и среди них такие же фронтовики, как Халелбек, которые с ходу приняли его в компанию, и вскоре он почувствовал себя с ними свободно и просто, словно знал их много лет. Забывалась душевная смута и неустроенность, куда-то уходило напряжение, оставалось только чувство, что он свой среди своих. Здесь все равны, по-братски, как на фронте, делятся последней папиросой и копейкой, и рядом с тобой — вот сейчас ты его можешь стукнуть по плечу — черноволосый капитан, с которым, оказывается, воевал на одном участке фронта, а с другой — угрюмоватый сапер без руки. Тоже надежный кореш... Да и о чем грустить-печалиться? Разве не вернулся живым из пекла? Разве не свободен как птица? И разве не рядом друзья-фронтовики, которые понимают тебя с полуслова, полувзгляда? Так живи, пока живется...

Дни шли за днями, похмельные, путавшиеся друг с другом, как свалявшаяся овечья шерсть. Халелбек все реже и реже думал о буровой, о перемене в судьбе и уже нетерпеливо ждал часа, когда уйдет из мастерской, переоденется, пробежит улицей, не замечая ее, и рывком откроет дверь в пивную, за которой шла своя жизнь, все глубже затягивавшая его. У окна было облюбованное законное место, и Халелбек садился прочно, кося глазом, ждал, когда разольют, а чаще, чтобы не обделили, сам брал бутылку, наливал в склянь; захватывал стакан твердой, широкой ладонью ипил торопливо, жадно; пьянел быстро, радуясь этому...

Так и катилась жизнь, легкая как пивная пена, до тех самых пор, пока не послали его вместе с бригадой в подшефный колхоз "Майдан" пробурить артезианскую скважину. Работа была срочная, нужная — колхоз осваивал новые пастбища, а воды не было. Халелбек работал усердно, испытывая полузабытую радость, что

его труд оживляет землю, обращая омертвевший грунт в источник жизни. Он глядел на весеннюю степь сияющими горячими глазами, ощущая, как пот на рубахе высыхает под ветром и вновь выступает. Он не чувствовал усталости от работы и, если бы не ночь, вовсе бы не уходил со скважины. Никто не мог угнаться за ним, и напарники ворчали: “Рвет, дьявол! Прямо двужилый! Загонял всех!”

Халелбек не понимал их досады, думая про себя: разве от счастья можно утомиться?..

Как-то вечером, возвращаясь с работы, он увидел девушку. Она шла, и что-то напевала, словно птица, выпорхнувшая из густой зеленой травы. Жансулу только-только исполнилось семнадцать, и она во все глаза смотрела на мир и на широкоплечего рабочего, который за аулом управляет чудесной машиной: она даст земле воду. Конечно, у них есть джигиты красивее, чем этот приезжий, но разве умеют они заставить работать такую громадину?

— Как тебя зовут? — спросил Халелбек, загораживая дорогу.

— А что? Хотите написать мне письмо? — озорно ответила девушка, и щеки ее, тугие, алые, как спелые яблоки, покраснели еще больше.

— Конечно.

— О чем же?

— О-о-о! Пока тайна... Как же тебя все-таки звать? А то письмо не дойдет.

— Жансулу, — ответила она застенчиво.

— Какое красивое имя: Жан-су-лу, — повторил он отдельно. — Куда же ты убегаешь? — Испугался он, увидев, что девушка уже собралась уходить.

Жансулу покосилась на женщин, судачивших у колодца: в ауле не принято, чтобы девушка останавливалась и разговаривала на улице с джигитом, да еще незнакомым.

— Мне пора, — тихо сказала Жансулу и осталась на месте.

— Приходи завтра вечером к буровой, — сказал Халелбек, слыша торопливый стук своего сердца. — Буду ждать. Слышишь?

— Хорошо, — пообещала Жансулу, убегая.

Сколько в мире девушек, которым семнадцать! Но почему тебя волнует только одна, и ты вспоминаешь ее голос, глаза, длин-

ные ресницы, и она кажется тебе самой красивой на свете, самой желанной? Она говорит с тобой, целует или обнимает, и тебе так хорошо, что все бы отдал, только бы быть с ней. Ты и живешь только для нее — этой черноглазой красавицы с пунцовыми щеками.

С этой встречи все изменилось в жизни Халелбека, словно и впрямь в его руки попала чудесная птица счастья. Зарубцевалась, наконец, рана на ноге, и медкомиссия сочла, что он может работать по старой, довоенной специальности. Халелбек устроился в нефтеразведку, к осени его назначили буровым мастером, и он, как обещал, приехал в “Майдан” за Жансулу. Перед ноябрьскими праздниками они сыграли свадьбу. И все стало общее: прошлое и будущее, радости и печали — вся жизнь до самого последнего вздоха. Разве может что-нибудь сравниться с этим, когда человек, дорогой для тебя, всегда рядом, и ты знаешь: что бы ни случилось в жизни, он поймет и поддержит тебя. Наверное, это и называется любовью и счастьем?

Когда Джандос, Халелбек и Жансулу, за которой они заехали, вошли в дом Алексеенко, первой их встретила Зина — жена Юрия. Невысокая, сухонькая, быстрая, она, по обыкновению, зачастила, не давая и слова вставить:

— Ой, как хорошо, что пришли... Уж мы ждали-ждали. Что же вы в дверях-то стоите? Проходите-проходите! Юра! Посмотри, кто к нам пришел! — крикнула она на веранду, откуда доносились громкие голоса, а сама, помешивая в казане, уже укоряла Жансулу, с которой дружила — обе они работали операторами: — Что ж ты, подруга? Обещала прийти помочь... А о тебе ни слуху, ни духу. Собралась к тебе бежать, — не случилось ли еще чего, — говорила Зина участливо, помня об аварии на буровой Халелбека, о которой рассказывал муж.

— Сама сидела как на иголках, — ответила Жансулу, глядясь в зеркальце и поправляя волосы. — Халелбек обещал приехать в восемь часов... Жду-жду. Девять — нет. Десять — тоже. Извелась вся. Когда ждешь — час месяцем кажется.

— Посмотри только! — уже тянула ее Зина в комнату, где в кровати лежал новорожденный. — Знаешь, грудь сразу взял. И

деснами так сжимает-сжимает... Да, еще забыла: в магазин туфли привезли. Чешские. Белые лодочки. Твой размер... Пойдем завтра померяем...

Зина была переполнена каким-то неумным, бурным нетерпением.

— И все время спит. Наестся — и тут же засыпает. Прямо чудо какое-то.

Она говорила, а сама уже ловко меняла пеленку.

— Видишь — снова глаза закрывает... А крепенький какой. Правда? В алексеевскую породу... И похож на Юру. Гляди, какие брови. А нос? Точно Юркины. Вот рот — мой... Верно?

Жансулу кивала, не успевая и слова вставить. А Зина тащила ее на веранду:

— Пусть спит! Пошли за стол. Я так рада, что сын... С девочками — морока. Мать рассказывала: я орала не переставая. Замучились со мной.

Она усадила Жансулу рядом.

— Пусть мужики друг за другом ухаживают, а мне с тобой поболтать охота... Давай ешь, ешь. Салат замечательный. По книге готовила...

Жансулу смотрела на гостей. Почти всех, кто пришел поздравить Юру и Зину, она знала. Только молодящегося седовласого человека в модном голубом костюме и миловидную женщину с ним рядом видела впервые. Они чем-то неувовимо похожи: то ли выражением лица, на котором читалось удовлетворение жизнью, то ли тем, как прямо и принужденно сидели за столом, и Жансулу решила, что это отец и дочь.

— Кто они? — тихо спросила она у Зины, кивая в их сторону.

— А-а-а, это? Ученый с женой. Из Алма-Аты, — шепнула та.— Салимгирей. Женился недавно. Умора! Она ничего. Только ноги подкачали...— Зина ехидно засмеялась.— Кривоватые... Продай, мама, рогачи — вышли денег на харчи...

Жансулу уткнулась в тарелку, чтобы не расхохотаться: “Ну и язычок у Зины... Как шило!”

— Да ты что смеешься?! — толкнула легонько Зина.— Еще подумают, что мы над ними... Неудобно! И уже громко, для соседей:

— Что ж вы ничего не кушаете?! Рыбу! Рыбу попробуйте! А пампушки с чесноком! Сама готовила! — похвасталась она.— Берите, берите. Здесь вот голубцы... А тут — каурдак...

— У вас там налито? — справился Юра, подмигивая Джандосу и Халелбеку. — Ну, давайте! Будем здоровы!

— Погоди-погоди... — Джандос взял рюмку.—Как сына-то назвали?

— Да пока еще никак,— ответила за мужа Зина. Она все успевала: потчевать гостей, говорить с Жансулу. прислушиваться к разговорам и вступать в них.— Все думаем! — и, играя глазами, покосилась на свекра.

Старик Алексеенко сидел во главе стола, как в президиуме торжественного заседания: черный праздничный костюм, белоснежная сорочка и при орденах.

— Ясно! Имя человеку дать непросто, — сказал Джандос.— Михаил Михайлович! Ваше слово! Просим и ждем.

— Предлагаю назвать мальчика — Михаил! — звонко выкрикнул Саша — шофер Тлепова. И, выдержав значительную паузу, добавил: — В честь деда!

Словно ток прошел по застолью. Саша удовлетворенно продолжал:

— Какое имя хорошее — Михаил! Кутузов — Михаил! Лермонтов — тоже... Один полководец. Другой — великий поэт...

Саша говорил громко, чтобы все слышали. И особенно — Тана. Краем глаза он смотрел на нее. Видел ее нежную шею, губы. Крепкие, красиво вырезанные. Конечно, она тоже слышит, как он рассуждает про Кутузова и Лермонтова...

— Глинка —тоже Михаил! —перебил чей-то голос.— Композитор.

— А Ломоносов?!

— А у меня друг — Михаил! — загудел буровой мастер Шилов.— В Саратове живет. Летчик. Миллион километров налетал...

— Без посадки? — попытался кто-то сострить.

— Что за шутки? — обиделся Шилов.

— Я еще не закончил...— Саше никак не удавалось снова привлечь к себе внимание. В комнате стоял шум. Гости говорили

вместе, и друг с другом, и вперекрест. А также перекликались через стол.

— Товарищи! Друзья! — Джандос постучал ножом по тарелке.— Минуточку внимания. Давайте послушаем хозяина. Нашего дорогого Михаила Михайловича!

Алексееенко по-стариковски несуетно, снисходительно оглядывал гостей. Выцветшие серые глаза посверкивали из-под изломанных бровей. Он медленно, с достоинством поднялся, помолчал.

— Дети! Дети мои. Не обижайтесь, что я вас так называю. Восьмой десяток живу. Так что многие из вас и, правда, годятся мне в сыновья и дочери. Спасибо, что пришли к нам в такой день... Я рад. Мы все рады...— Словно собираясь с мыслями, он круто оборвал речь. Потом задумчиво продолжал: — Имен на свете много. Кажется, выбирай любое. Но не так это просто. Не зря говорится: хорошее имя — половина счастья,— произнес он по-казахски.

Салимгирей наклонился к Жалелу:

— Он знает казахский?

— Как украинский и русский. Алексееенко давно здесь живет. Еще до революции приехал. Царь сослал...

Жалел, отвечал, натянуто, не глядя на Салимгирея, потому что боялся встретиться взглядом с Гульжамал, которая сидела рядом. Присутствие Гульжамал волновало и, вместе с тем, злило Жалелла. При одном звуке ее голоса все в нем замирало, и он, как ни старался, не мог освободиться от этого, досадуя на себя, на нее, на стыд и двусмысленность такого положения.

Жалел все больше и больше мрачнел, так что Зина, заметившая это, не замедлила толкнуть мужа: “Посмотри: Жалел как в воду опущенный. Что с ним? Иди потолкуй с человеком. Сидишь, словно к стулу прирос”.

Юрий, готовый в этот вечер обнять весь мир, забеспокоился. Тут же налил два фужера, подошел к товарищу:

— Старик, да ты совсем не пьешь сегодня... Обижаешь, обижаешь. Ну-ка, давай примем.

Как Жалел ни отнекивался, упрямый Алексееенко не отступился, пока не влил в него оба фужера и, довольный, снова сел на свое место.

— У моего друга-казаха в пятьдесят лет родился сын,— продолжал Михаил Михайлович.— Конечно, по обычаю его надо бы назвать Елубай¹.

— Здорово! Значит, нашего новорожденного окрестим Жетписбай²,— раздался звонкий голос Саши.

— Куда поперек батьки! — осадил его кто-то.

— Да я...— Но огромная рука Шилова опустилась ему на плечо, и Саша притих.

— Но друг мой решил иначе...

Старик как-то подобрался, расправил усы, глубоко вздохнул.

— Он назвал сына Василием. В память о Василии Петровском, с которым строили новую жизнь здесь, в пустыне. Он и погиб в песках от вражеской пули. Но память о нем — с нами. Вот и думаю я, что внука надо назвать... Жалау! В честь незабвенного моего дружка-товарища Жалау Мынбаева. Сколько с ним вместе пережито. Все было. И радости. И горе... И от смерти меня спас... Умер рано. Сгорел от туберкулеза в двадцать девятом. Тогда Жалау работал уже не на Мангышлаке — был председателем Казахского ЦИКа... Достойный и добрый человек был. Пусть память о нем живет в нашем внуке. Пусть парень растет похожим на него!

— Хорошо сказал!

— Ну, Михаил Михайлович, дай тебя расцелую!

— Поднимем бокалы за новорожденного!

— А я бы назвал Михаилом!

— Всех удивил старик!

— За деда пью!

— Я знал Жалау. Настоящий революционер. Себя не жалел...

Гости говорили, а Михаил Михайлович сидел, подпершись рукой, и по лицу его пробегали тени. Оно казалось вырезанным из меди — крупное, побитое морщинами; легкие седые волосы облачком клубились надо лбом. Что виделось в эту минуту старому механику? Белые пески, по которым мчались с Жалау? Яростные стычки у колодцев? Бедные аулы, в которых они устанавливали

¹ Счастливый в пятьдесят лет.

² Счастливый в семьдесят лет.

новую, народную власть? Или вспоминалась гулкая темнота трюма, в котором пахло ржавчиной, тухлой водой, острым человеческим потом... Ночью баржу должны были вытянуть в море и затопить. Но Жалау успел, опередил врагов и спас товарищей. Голос его, полный тревоги, надежды, разгоряченный схваткой, разнесся в ночи: “Товарищи! Вы свободны! Миша! Алексеенко! Ты здесь, друг?” — до сих пор звучит в ушах.

Прожитая жизнь казалась Алексеенко такой прекрасной и такой короткой. Он смаргивал набегавшую на глаза старческую слезу, с затаенной грустью смотрел на молодые, раскрасневшиеся лица.

“Что это я? Ведь живу! Живу! И внука вот дождался”, — думалось ему.

Поднялся Салимгирей. Его лицо, фигура дышали притягательной своеобразной силой и сразу властно приковывали к себе внимание.

— Друзья! Мы с Михаилом Михайловичем почти ровесники. Поэтому разрешите от имени всех, кто здесь находится по такому торжественному и радостному случаю, поблагодарить нашего хозяина, чудесной души человека, за те добрые слова, которые мы только что слышали...

Салимгирей приложил руку к сердцу, склонил ухоженную голову.

— Великий Абай говорил, что, когда заспорили Сила, Разум и Сердце, кто из них важнее для человека, то никак не могли прийти к согласию и обратились тогда за помощью к Науке...

Саша с нетерпением ждал, когда кончит говорить Салимгирей. Великолепный, потрясающий тост вертелся у него на языке. Он слышал его от одного грузина, — а они понимают толк в таких вещах! — и, помнится, в компании тот кавказский тост произвел на всех ошеломляющее впечатление...

— Выслушав всех троих, Наука сказала: да, Сила важна для человека. Без нее немислима жизнь. Так же как и без Разума человек беспомощен... Но царь человеческой жизни — все-таки Сердце. Ты, Разум, велик, но одобряет твои решения Сердце. Ты, Сила, могущественна, но только Сердце может удержать тебя от

недобрых дел. Вот почему царь человеческой жизни — все-таки Сердце. В нем справедливость, совесть, благодарность и милосердие. Так поднимем же бокалы за то, что Сила, Разум и Сердце так счастливо слились в одном человеке — Михаиле Михайловиче!

Еще не успели взяться за рюмки, как Саша опередил всех. Тана, занимавшая все его воображение, вдохновляла парня и сейчас. Ему казалось, что девушка, несмотря на все его старания не проронившая за весь вечер ни слова, посматривает на него, молчаливо одобряя его красноречие. Саша простер длинную руку над столом:

— Минуточку! Присоединяюсь к замечательному тосту! Только одно маленькое добавление...

Он обвел всех круглыми, лихорадочно блестящими глазами, но гостей различал нечетко, словно они плавали в тумане. Только одну Тану видел отчетливо: закушенную губку, которая казалась в электрическом свете почти черной; глаза, прикрытые пушистыми ресницами; узкую руку, покойно лежащую на скатерти.

“Как киноактриса!” — восхищенно успел подумать Саша и выпалил:

— Предлагаю осушить бокалы за Силу, Разум, Сердце и... за гроб!

Мгновенная тишина повисла на веранде. Все с беспокойством смотрели на парня. Явственно послышался шепот:

— Готов! Успел нализаться!

Саша и бровью не повел. А может, и не слышал, увлеченный своим торжеством.

— Да, за дубовый гроб! — повторил он ликуяще. — Только пусть он будет сделан из дерева, которое я посажу через пятьдесят лет!

Он запрокинул голову и залпом выпил.

Веселье закипело дальше. Начали петь, потом завели музыку, стали танцевать. Салимгирей пригласил на танго Гульжамал, и она склонила белокурую, аккуратно причесанную головку ему на плечо.

Жалел вышел покурить. Рядом тренькала домбра. Кто-то пел: “Прекрасней мест, чем Гурьев, не видал...” Его перебили: “Что

твой Гурьев... Разве сравнить с Актюбинском. Это город..." Засмеялись. Потом чиркнула спичка, осветив лица парней.

— Вот вы где? — Тана подошла к Жалелу. — Почему не танцуете?

— Не хочется. Да и не большой любитель...

— Какие люди хорошие. Так весело. И этот Саша... Вот смешной. Как он про гроб начал. Я прямо испугалась...

— Угу,—ответил Жалел, чтобы хоть что-нибудь сказать. Он жадно затыкнулся.

— И еще эта женщина. Жена Салимгирея. Красивая, правда?! И так смотрела на вас...

— На меня?

— Разве вы не заметили?

— А-а, все это ерунда.— Он бросил окурок, рассыпались красные искры.

— Что ерунда? — она стояла близко-близко. Слышался запах незнакомых духов.

— Так. Все-все. Кроме любви! — Он неожиданно притянул ее к себе. Поцеловал. И еще раз крепко-крепко. Даже дыхание перехватило. Тана не противилась, не делала попыток уклониться. Наоборот, приникла к нему.

— Тебе хорошо со мной?

Вместо ответа она прикоснулась губами к его губам и быстро оттолкнула Жалела.

— Пойдем потанцуем,— сказала она просто.

Жалел с Таной вышли из тьмы на веранду и зажмурились, — яркий свет брызнул им в глаза. Ревел проигрыватель. Стол был разрушен. Да за ним никого, кроме Михаила Михайловича, Салимгирея и Гульжамал, не было. Все танцевали.

— Хотите вина? — спросил он Тану.

— Хочу! — отважно сказала она.

Он налил ей и себе. Чокнулись. Какая-то ранка саднила у него в душе.

— Жалел! — Он весь сжался.— Жалел! — сипло повторила Гульжамал.— Когда женщина обращается к мужчине, нужно повернуться к ней лицом...—сказала она с расстановкой.

Как бы и впрямь захваченный ее низким голосом, он медленно обернулся и сразу понял — Гульжамал пьяна. Он не любил в ней это, зная, что в такие моменты она становится крикливой и резкой.

— Хочу выпить! За твое... — голос ее сорвался. — Твое счастье! — Она то ли засмеялась, то ли всхлипнула, с вызовом посмотрев на Жалела и Тану. словно они наверняка должны были понять, что она хотела сказать этим тостом.

Жалел беспокожно и смущенно попятился, и, если бы рядом не находилась Тана, он повернулся бы и ушел — так ему было не по себе от всей этой демонстрации Гульжамал.

Она нетвердо держала налитую рюмку, и красные капельки падали на скатерть. Но вот она решилась, залпом выпила и закашлялась. Рюмка выпала из руки.

— К счастью! К счастью! — закричали гости, обернувшиеся на звон стекла.

— К счастью? — недоуменно повторила Гульжамал, длинно и скучно оглядывая веранду и гостей, словно удивляясь, зачем она здесь. В ее растерянном взгляде хорошо читались ревность, утрата, досада, и Жалел, быть может как никогда, хорошо понимал в эту минуту то, что было у нее на сердце.

Гульжамал побледнела и вдруг, закрыв лицо руками, разрыдалась. Салимгирей мгновенно очутился рядом, склонился над ней, пряча страдающие глаза, погладил по голове.

— Ну не надо! Не надо! — тянул он ласково и певуче. — Зачем ты пила? Ведь знаешь: тебе нельзя!

— Да, да, — кивала она, всхлипывая.

— Разве так можно? Вытри слезы...

— Сейчас, сейчас, — с готовностью соглашалась она. — Это все жара. Пройдет. Только... Моя сумка...

“Ребенок! — думал о жене Салимгирей. — Слишком спешит жить!” И тут они чем-то похожи. Не скупятся. Не откладывают на черный день, на последнюю минуту. Разве и он сам не был таким в ее годы? И разве, женившись на ней, не остался верен себе?

А Гульжамал уже капризно повторила:

— Где моя сумка?

Она достала платочек, пудреницу и через несколько минут стала почти прежней — молодой, красивой, довольной жизнью и внешне беспечной женщиной. Только припухшие глаза да покрасневший носик напоминали о слезах.

Вечер продолжался своим чередом. Жалел и Тана ушли в дальний угол веранды и там, словно отделившись от всех, танцевали, вернее, топтались под музыку.

— Она знала тебя раньше? — спросила Тана и слегка отдалилась от Жалела: ей нужно было видеть его глаза.

— Да.

— Я так и подумала. Помнишь то совещание, когда ты выступал с проектом? Уже тогда догадалась...

Какая-то тень — предчувствие, печаль, неуверенность — промелькнула по лицу, и она прильнула к нему, откровенно, не стесняясь, словно они были одни не только на этой ярко освещенной террасе, но и во всем мире.

— Тебя не отнимут у меня? — шептала она.— Правда, ведь? Правда! Скажи!

— Нет-нет,— торопливо произнес он.— Нас никто не разлучит! — И, вспомнив, что похожие слова он когда-то говорил Гульжамал, сжал плечо Таны: — Дай слово, что ты моя. Только моя!

— Да-да,— задыхаясь, сказала она.— Вся! До последней капельки!

Она сказала это так убежденно, что Жалелу на мгновение стало страшно.

— Я никогда... Слышишь, никому и никогда этого не говорила.

Что-то дрогнуло в его душе, сдвинулось. Еще студентом он как-то переходил весной речку — а уж лед разбух, потемнел, покачивался под ногами, пока он перебежал на другой берег. И было жутко, весело, отчаянно бежать по колеблющемуся льду, чувствуя, как он прогибается и волнуется.

— Люблю тебя,— сказал он и потерся щекой о ее косу, тяжело лежавшую на плече.— Люблю!

Она смотрела нежно и трогательно, повторяя:

— Говори! Говори еще!

— Люблю!

Он еле заметно шевелил губами, но она все равно угадывала это слово, впитывая всем своим существом, как приворотное зелье. Прекрасная музыка все громче и громче звучала в ней, делая Тану еще привлекательнее, прибавляя изящества, гибкости, тонкости.

Саша быстро уловил перемену, понял, отчего она, произошла, и был жестоко уязвлен. Он неприкаянно мотался от гостя к гостю. О чем-то спрашивал, встревал в чужие разговоры, пытался острить и первый громко смеялся, надеясь, что Тана все же заметит его, перекинется с ним словом или — вдруг?! — пойдет с ним танцевать. Но девушка, ничего не замечая, видела лишь одного Жалела... Не только Саша, расстроенный невниманием Таны, заметил ее увлечение. Жансулу и Зина, перебивая косточки гостям, не обошли и Тану.

— Улести-ил! Улести-ил! — притворно сокрушалась Зина, поглядывая на Жалела и Тану. — Пропала девка! Готовься к свадьбе, Жансулу.

— А что — пара неплохая.

— Еще бы! Он — худой, она — тонкая. Дети как былинки уродятся, — смеялась Зина.

— Ничего. Лишь бы любили друг друга. Да и мне веселее будет.

— Надеешься, что у свекрови не хватит зубов двух невесток поедом есть?

— Не беспокойся! У моей зубов хватит! Приходи в гости почаще! Увидишь и почувствуешь! — насмешливо произнесла Жансулу и посмотрела на подружку, которая склонилась над столом, прикрывая хохочущий рот.

...На следующий день, рассказывая, свекрови о торжестве. Жансулу как бы между делом упомянула, что кайны¹ весь вечер танцевал с одной и той же девушкой.

— Кто такая? — насторожилась свекровь.

— Весело было... Столько гостей пришло... А уж еды наготовили — стол ломился! — Жансулу нарочно, чтобы позлить свекровь, не торопилась отвечать.

¹ Брат мужа.

— Да расскажи толком, что за девушка? — рассердилась свекровь.—Откуда взялась?

— Инженер! Из Москвы приехала после института. Одевается как куколка.

— Звать-то как?

— Жанбозова. Тана. Воду ищет. Гидрогеолог...

Свекровь пренебрежительно махнула ладонью:

— Воду ищет... А кто нашу верблюдицу доить будет? Печку топить? Золу выгребать? Воду таскать? Эти образованные не очень любят работать.

Жансулу опустила глаза: камешек был и в ее огород.

“Домработницу будешь искать, — дождешься, что каины, как и ты, согнется крючком...”

А вслух смиренно произнесла:

— Девушка симпатичная. И каины, мне кажется, понравилась.

— Мало ли что...— свекровь уже спешила с новостью к мужу. Бестибай, услышав об увлечении сына, обрадовался, загомонил:

— Жанбозова! Вот хорошо! Род уважаемый. Девушка хорошая. Молодец, Жалел. Весь в меня: сам нашел невесту.

— Значит, это ты меня нашел? — с негодованием перебила жена.— Ну-ка вспомни, кто тебя из дырявой юрты вытащил?!

Бестибай не стал спорить, ни тем более пускаться в воспоминания — они были не в его пользу. Нажимал на хороший род.

— А-а-а, забыл, как родичи с тебя шкуру спускали! — сердилась жена.

— Давно забыл,—пел Бестибай.— Все говорят: девушка умная.

— Видно, и ты на старости лет у нашей невестки ум занимаешь, — рассердилась жена.—Та твердит: “Ученая, ученая...” И ты тоже. Нашли чему радоваться. Будет лицо мазать да наряжаться. Нам под старость нужна девушка работающая, тихая. А эта в Москве училась... Но Бестибай не слушал.

— Пойду-ка к Сары! С таким делом тянуть не надо. Девушка на выданье — как спелое яблочко: вмиг сорвут.

Но Бестибай еще и чапан не надел, а Сары уже сам стучался в дверь. Не напрасно говорят: торопись, когда угощаешь гостя, едешь на ярмарку да выдаешь дочь замуж...

Старики сели за чай, разговаривая о том, о сем. Наконец, после десятой пиалы, Бестибай тонко заметил:

— В твоём доме, Сары, видел чудесную тростинку. А в моем есть чистое масло. Если соединить их да сказать доброе слово, вспыхнет огонь, который осветит обе наши кибитки.

Сары улыбнулся, если можно назвать улыбкой то, что он раздул широкие ноздри.

— Не знаю. Современные тростинки любят загораться и потухать сами. Без нашей помощи...

— Хочешь сказать, что мы с тобой настолько стары да немощны, что и огня в своих юртах разжечь не сумеем? — не отступал Бестибай.

Сары прикрыл глаза, задумался:

— Как ни сгибай зеленую тростинку — она все равно распрямится. Зачем же зря усердствовать?

Но Бестибая не переговоришь. Недаром столько лет водился с Басикарой.

— Слепому закрытые глаза уснуть не помогают. Разве не так, Сары?

Гость закричал, заерзал на месте. Бестибай подложил ему под бок еще одну подушку, и Сары, устроившись поудобнее, спросил:

— А что? Разве вести не вода принесла?

— Э-э-э, Сары. Горячую кашу во рту не удержишь. Весь Узек уже говорит о наших детях...

— Весь Узек? Что ж, пусть дочь сама решает. А я что? Только безумец противится счастью детей.

— Так и я о том же,—схитрил Бестибай.—В одну пиалу наши глаза глядят.

Сары отозвался с усмешкой:

— Не рано ли? Шелк портит тот, кто торопится... — Бестибай не успел ответить — вошел Халелбек, вернувшийся с буровой. Он уважительно поздоровался с Сары, и тот, явно обрадовавшись,

что трудный для него разговор прервался, быстро перевел его на другое. Халелбек умывался на кухне, прислушиваясь к рассказу Сары:

— Прoshлый раз ты спросил: встречался ли я с сыном Туйебая, когда тот скрылся? Скажу тебе — видел его дважды!

— Ты встречался с Ажигали?! А тогда отперся: “Не видел! Не знаю! Не слышал!” Ну, Сары...—затряс головой Бестибай.

— Язык без костей. В какую сторону ни поверни — все вертится, — сказал гость, довольный произведенным впечатлением.— Да-а-а... Было это на Бузачи. Только перекочевали, поставили юрты, легли отдыхать. Ночью услышал топот. Подумал: волк гонит испуганного жеребенка. Вышел из юрты, подскакивает джигит. “Сары?! Ты это?” Я голос сразу узнал: Ажигали! Зову в юрту, но он и повод не бросил. “Нет времени объяснять, что я и где... Поможет аллах, встретимся, — все расскажу. Горе у меня, Сары. Сына укусила песчаная змея. Помогите!” Молчу. Что могу сделать? Верблюды подыхают, если его кусает песчанка...

“Сары! Сын еще жив. Ногу перетянул ремнем. Положил ребенка в молоко. Нужна хорошая лошадь. В Кайнаркудуке живет старик, лечит травами. Надо его привезти. А на этом,— Ажигали ткнул кулаком под брюхо мерина,— только кизяк возить...” У меня был конь. Гнедой. Готовил для себя к скачкам. Пасся он за юртой. Отдал гнедого. Ускакал Ажигали. Загнал скакуна, но сына спас. Потом весть подал... Писал, что до самой смерти не забудет мою помощь... Останется, жив — отблагодарит. А помрет — сыну накажет...

— Где же скрывался Ажигали? ОГПУ долго его искало...

— Разве степного волка найдешь?! Сегодня — здесь, завтра у туркмен. Я и сам не знал, где он кочует...

Сары потер ладонью голову. Лицо его было бесстрастно. Словно то, о чем он говорил, происходило не с ним, а с другим человеком и в незапамятные времена. Только тогда, когда вспоминал про гнедого, сухие губы его морщились, и что-то похожее на жалость звучало в голосе.

— А второй раз, где виделись? — спросил Бестибай.

— В Караганде. Там меня Ажигали нашел. Переночевали с сыном. Тому уж десять лет было. Помогал мне конюшню чистить.

Крепкий парень. Только молчаливый. Смотрит, слушает, а слово зря не уронит.

— Куда же они пробирались? — нетерпеливо спросил Бестибай.

— Не сказал. В Россию, наверное. Документы у них были выправлены на Ажигаленко...

— Вон оно что. Хитрый волк,— протянул Бестибай.— В Ажигаленко превратился.

“Ажигаленко... Ажигаленко... Что-то знакомое...” — Халелбек брился, стараясь припомнить, где слышал эту фамилию. Отвлекла Жансулу.

— Ужин готов. Спроси: будут с тобой есть? — и уже шепотом добавила: — Отец хочет, чтобы наш каины женился. На дочери этого черного старика...

— На Тане? Хорошая девушка,— одобрил Халелбек.— Я бы на месте брата не раздумывал...

Фыркая, он быстро умылся, вытерся полотенцем, которое держала Жансулу.

— Вижу, и тебе она покоя не дает. Не успела в Узеке появиться эта куколка — всем голову заморочила...

— Что ты говоришь? — Халелбек налил в ладонь “Шипр”, провел по лицу, словно стирая накопившуюся за день усталость. — И почему куколка? Симпатичная, молодая... И человек серьезный.

— А я, значит, старая? Легкомысленная? — притворно сердясь, сказала Жансулу.

— Ты у меня самая лучшая на свете! — Халелбек хотел обнять Жансулу, но она увернулась.

— Что это ты вдруг? — спросила она с сомнением и передразнила: — “Самая лучшая...” А буровая? Только про нее и слышишь, что днем, что ночью...

— Кстати напомнила: мне надо позвонить после ужина. Скважину испытывать начали...

Жансулу надулась:

— Скважина... Испытание... Совсем про меня забыл. А дети? Без тебя растут...

Слова были обычные, которые Халелбек не раз слышал от Жансулу: лишь тон, каким они были сказаны, заставил его пытливо взглянуть на нее. Но тут же разговор между отцом и гостем снова привлек его внимание.

— Больше о них не слышал,— донесся до него рокочущий голос Сары.— Как сквозь землю провалились. И только потом,— помнишь, я говорил? — приезжал сын Петровского погостить — узнал от него, что Ажигали...

...Ажигали... Ажигаленко... Не тот ли это детина, что стоял, сунув руки в карманы, когда они парились на буровой, подводя фонтанную арматуру?! Тогда все, кто был поблизости, — строители, шоферы, вышкомонтажники — сбежались помочь. Только этот парень, раскорячив громадные ноги, обтянутые зелеными вельветовыми штанами, безразлично наблюдал, как они работают. Ни словом, ни жестом не показал, что хотел бы помочь им. Покуривал, поплевывал, глядя, как они бегают по буровой. Халелбек покосился на него, но ничего не сказал: есть совесть у человека — сам поймет; если же нет — толковать бесполезно, только время терять. Халелбек работал и вместе с тем ощущал присутствие этого парня. В том, как он вел себя, были вызов, насмешка, презрение... Дескать, вкалывайте, а я посмотрю... Парень все так же холодно наблюдал издали, а они — усталые, грязные, злые — ворочали трубы, которые, как нарочно, не садились на отведенное им место.

Потом Халелбек в азарте забыл о нем, как и обо всем другом, кроме дела. И только когда закончили работу — вспомнил о парне, поискал его глазами. Но детины уже не было.

“Кто такой,—поинтересовался Халелбек. — Красовался тут в зеленых штанах...”

“Ажигаленко... Строитель. Как наряды закрывать — первый приходит. Требуется, чтобы всем поровну. А как работать — не найдешь. Из уголовников. Вот и неохота с ним связываться...”

Из уголовников... Халелбек, конечно, знал, что существует этот мир, бесконечно далекий, непонятный и жуткий. Где? На каких мрачных чердаках, в каких глухих закоулках или грязных подворотнях гнездилась эта мразь? И вот оказывается, рядом с ним ходит парень... Оттуда, из неизвестного ему мира. Ненавидит.

Презирает их работу. Кто он? Где вырос? Какая тьма вскормила его? Рассудок, сердце отказывались понимать этого получеловека. И вот оказалось — он внук Туйебая, сын Ажигали. Что ж, тьма рождает нелюдей...

Жансулу терпеливо ждала, что ответит муж на ее укоризненные слова.

— Извини, задумался. — Халелбек виновато посмотрел на жену. Глаза ее были полны слез.

— Что с тобой? — Халелбек ласково погладил ее по плечу. — Что случилось?

— Ты и разговаривать со мной разучился, — всхлипнула Жансулу.

Он не знал, что ответить. Конечно, он мало бывает дома. И с детьми видится редко. Но ведь это — Узек! Пройдет какой-нибудь год — и все устроится, наладится. Узек! Это же месторождение, о котором настоящий бурильщик мечтает всю жизнь — да не каждому выпадает разбудить его. И разве хотя бы из-за этого не стоит здесь жить, работать, не жалея себя? “Как же объяснить ей это? Какие найти слова?” Но ничего путного, как нарочно, в голову не приходило.

— Знаешь что, — наконец проговорил Халелбек, как мог нежно. — Помнишь, ты как-то хотела поехать на Черное море в отпуск? Куда-нибудь в Гагры или Сочи...

Он притянул ее к себе.

— Давай съездим. Вот только немного полегче станет — возьму отпуск. Отдохнем. Покупаемся. А?

Халелбек обнимал ее. Она чувствовала его тепло, и ей не хотелось говорить: только бы он был рядом...

Жалел и не подозревал о той бурной деятельности, которую развил отец, узнав о Тане. И тут у Бестибая были основания не говорить сыну о сватовстве. Старик помнил первую встречу с Сары и то явное недоброжелательство, если не враждебность, которые вдруг проскользнули у Жалела по отношению к будущему тестю.

“Пусть он ничего пока не знает!” — решил старик и ни намеком, ни словом не обмолвился о своих переговорах с Сары. И старухе, и особенно болтливой Жансулу строго наказал ничего не

говорить Жалелу. Он вспыльчив и может испортить все дело в самом начале.

Жансулу все же не выдержала.

— Ходят слухи в Узеке,— вроде шутливо заметила она, выбрав подходящий момент,— что вы собрались жениться?

Но Жалел только рассмеялся в ответ:

— Пока не сдадим Узек промысловикам — о женитьбе и не думаю!

Жансулу поддакнула, а сама подумала: “Ох уж эти мне ученые каины... Все о работе да о работе. Можно подумать, что сливки пьет, а губ и не забелит...”

Но Жалел и впрямь не помышлял о женитьбе. Больше того, между Таной и им был какой-то холодок, отделивший их друг от друга.

Виделись они урывками, большей частью на людях; но даже в те немногие минуты, когда оставались вдвоем, Жалел чувствовал себя несвободно. В нем как бы жило два человека. Один твердил, убеждал: “Торопись! Уйдет мгновение и никогда уже не воротится. Будешь жалеть о нем, вспоминать...” А другой, чистый и строгий, останавливал: “Взгляни на нее. Как она тиха, прекрасна, задумчива. Она вся как хрупкий сосуд. Его можно сохранить, только не прикасаясь к нему...”

Жалел отводил одурманенные глаза, и уже не Тана, а казахская девушка Катя-Ботагоз, нарисованная гениальной рукой Шевченко, сидела с ним рядом. Тот же необыкновенный взгляд. Тонкая рука, губы, хранящие тайну... Девушка как бы ожила, сошла с портрета через много-много лет и вот доверчиво смотрит на него. Так разве это возможно?! Словом, жестом, прикосновением разрушить все? Не сберечь в себе прекрасное мгновенье?

Но другой человек, сидевший в нем, говорил: “А как же тот вечер у Алексеенко, когда ты танцевал и чувствовал такую слитность, такую необычайную близость? Было это или приснилось? И как просто, естественно держалась тогда сама Тана, как сияли ее глаза... Разве не помнишь?”

Жалел, встречаясь с девушкой, держался, натянуто, говорил о пустяках, мучился, прятал глаза, и только когда Тана уходила, и

окончательно побеждал первый человек, радостно и печально до сердцебиения становилось ему и думалось: “Пусть идет все так, как идет. В жизни все связано и переплетено необычайно крепко, и, может быть, нам только кажется, что мы действуем, на самом же деле случай властвует над нами. Вот приехал в Узек — и встретил Тану. А если бы не вернулся? Если бы остался в Алма-Ате, послушавшись Гульжамал?”

Ему делалось не по себе, словно кто-то накидывал на него липкую тонкую сеть, запутывал его, и нужно было немедленно освободиться, разорвать крепкую паутину, снова стать свободным. Хотелось движения, действия, общения с людьми, и Жалел бросал кабинет, ехал на буровые. Он разглядывал керн, только что поднятый из глубины, разговаривал с мастерами, советовался, и ему было хорошо. Ведь нашли нефть! Подумать только! Нефть! Их нефть!

Стоит наклониться, зачерпнуть — и она маслянисто задрожит на ладони. И сразу все забывалось — споры, неурядицы, бессонные ночи, аварии и десятки других не очень веселых вещей, которые знакомы всем, кто работает в нефтеразведке. О них и вспоминать не хочется — не то, что говорить. Потому что вот она, нефть, еще хранящая тепло твоих ладоней. И тебе светло и радостно, и кажется, что весь мир, вместе с этой буровой, крутится вокруг тебя. По крайней мере, сегодня, когда фонтанирует скважина.

В один из таких вечеров Жалел возвращался в Узек. Он отпустил машину — она должна была заехать за Юрием Алексеенко, который сидел на самой дальней буровой, у Аширова. Метод газолифта, который предложил применить Юрий, чтобы повысить давление в пластах, никак не шел. Но упорный, верный себе Алексеенко не отступал, не жаловался на неудачи, работал размеренно и увлеченно. И Жалел думал, что скорее весь Узек вместе с буровыми провалится в тартарары, нежели Юрий сдастся.

Жалел шел в поселок пешком. Тяжелая круглая луна всходила над горизонтом, как таинственный космический шар. Пустыня в ее багровом свете казалась вылитой из бронзы. И, глядя на этот необычный свет, Жалел вспомнил такой же вечер, уже далекий,

ушедший, — когда вместе с археологами он ехал по берегу залива Сарыташ. Подземный храм Шахбагата остался за спиной, но все разговоры и мысли вертелись вокруг того, что они видели и пережили.

Такая же громадная яркая луна вставала тогда над горами и морем, и, глядя на нее, на застывшие волны-горы и на серебристые валы, бьющие о берег, Жалел отдавался на волю какого-то большого планетного времени, уже не годами или столетиями измеряя его, а эпохами, периодами. Отдельные человеческие жизни, прошедшие через святилище, были всего лишь песчинками, но свет — тот, что сиял над миром или пылал в светильнике, — незыблемо и вечно освещал путь поколениям его предков. Творческая воля и гений степняков вовсе не были раздавлены суровой пустыней. Более того, искусство было для них одной из форм борьбы. И разве сегодня, когда все они, работающие в Узеке, пытаются заглянуть в глубь земли, не тот же свет помогает им? Не это ли вечное пламя преодоления сжигает их? Тлепов, Алексеенко, брат... Разве не жжет их тот же огонь творчества и дерзания, что сжигал революционера Петровского, о котором не раз вспоминал отец? Или Жихарева, открывшего Жетыбай?!

Если только представить на мгновение, что люди отказались бы от попыток заглянуть в неведомое, перестали дерзать и мечтать, — не случилось бы с ними того же, что произошло с потомками древних майя, о которых ему рассказывали археологи?

Испанцы-конкистадоры разорили цветущее государство, и некогда талантливый, отважный народ теперь все силы свои положил на то, чтобы уцелеть. Они решили выжить любой ценой, и одно из племен — лакандоны — ушло в леса, затерявшись в джунглях. Отделившись от внешнего мира, лакандоны постепенно забывали о тех временах, от которых остались всего лишь живописные руины. Обсерватории, шахты, каналы, храмы стирались из памяти, словно их никогда и не существовало. Да и, кажется, для чего они? Достаточно быть сильными, ловкими, хитрыми, мужественными охотниками, чтобы выжить.

Но они ошибались. Чтобы продлить жизнь народа, одной заботы о насущных сегодняшних потребностях оказалось мало.

Лакандоны скитались по югу Мексики, угасая с каждым поколением¹. Своей судьбой они как бы говорили, что мысль, не принявшая материальную форму, утрачивается, а знание, не закрепленное пером, резцом, печатным станком, исчезает бесследно, так же как духовный опыт, не переданный детям, ничему не служит.

Потомки некогда могущественных майя уходили в небытие. Их умирание, как думалось Жалелу, началось с той самой минуты, когда вечный инстинкт познания мира уступил место другому — стремлению сохранить себя в постоянном и неизменном виде. Как бы законсервироваться во времени. Но круг замкнулся, и в нем для гибнущего народа не осталось ничего — ни прошлого, ни будущего. Только жалкое прозябание.

“Все движется в мире!”—ответили его предки венгерскому путешественнику, забредшему в адаевский аул. Теперь, когда Жалел сам старался сделать родную землю богаче, он быстрее и глубже почувствовал смысл этого неукротимого и вечного движения. Его народ сумел сохранить и развить дальше древнюю цивилизацию, созданную кочевниками азиатских степей. Предки никогда не забывали прошлое, но и не отворачивались от настоящего, четко сознавая свое место в мире... Огонь в светильнике горел всегда!

Хорошо думалось в этот вечерний час на пустынной дороге, и, когда на краю поселка из тени, которую отбрасывал склад, отделилась фигурка женщины, Жалел с удивлением узнал в ней Гульжамал. И тут же услышал знакомый картавый голос:

— Жалел! Я ждала тебя... Ведь... Хотелось увидеться с тобой. Послезавтра мы уезжаем...

— А-а-а,—горловым звуком откликнулся он, как всегда, когда встреча с человеком была ему неприятна. Но Гульжамал не обратила на это внимания.

— Не сердись,—продолжала она просто.— Это выше меня...

Он не знал, как вести себя, и спросил первое, что пришло в голову:

— Как чувствует себя Салимгирей?

¹ В шестидесятых годах нашего столетия лакандонов насчитывалось всего около двухсот человек.

— Прекрасно! — Она наклонилась к нему, и золотистые волосы упали на лоб.— И знаешь почему?

— Нет.

— Тогда послушай...— она рассмеялась.— Жили два старика. Один с женой, ровесницей, на которой женился в юности, а другой — с молодой. Встретились. Тот, у которого жена старая, и сам еле ходит: сгорбился, исхудал, волосы вылезли. Обезьяна обезьяной. Зато второй помолодел, посвежел, бегает петушком. “Слушай,— спрашивает он.— Что с тобой случилось? Не заболел?” “Я-то здоров,— отвечает приятель.— Старуха болеет. Ни днем, ни ночью покоя нет. Стонет, кашляет, кричит. На одних лекарствах держится. А ты, я вижу, как молодой жеребчик. Небось, жена холит и нежит тебя...”

“И то правда,—соглашается тот. — Молодая не беспокоит меня. Как уйдет вечером, так только утром и возвращается. Сплю себе вдоволь... Так чего же мне стариться?”

Гульжамал опять засмеялась: беспечно, с грубоватым намеком...

— Вот так и у нас. Давай-ка сядем. А то ненароком пройдет кто-нибудь, а мы под самым фонарем...

Она не пошла вперед, а подождала, пока Жалел сядет на доски, лежавшие на земле, и уж потом, как бы выражая этим зависимость от него, устроилась рядом.

Жалел испытывал неловкость и молчал. Гульжамал вздохнула:

— Ты сердишься на меня?

— С чего ты взяла? — пробормотал он.

— Я чувствую...

Жалел вдруг разозлился:

— Если хочешь знать, то ты поступила...—он не сразу подобрал слово. У него на языке вертелось ругательство, и он еле удержался, чтобы не сказать его.— Гнусно. Непорядочно. Теперь я многое понял. Ты играла. Актриса! Ну и играй в своей пьесе дальше. Только без меня.

Жалел думал, что она сейчас поднимется и уйдет, но Гульжамал сидела как ни в чем не бывало. Даже, кажется, теснее придвинулась к нему.

— Да-да...— согласилась она.— Я так одинока. Только недавно поняла, какую ошибку совершила. Будь хоть ты, дорогой, счастлив с этой девушкой!

— А уж это не твоя забота! — отрезал Жалел.

— Конечно, конечно,— поспешно сказала она.— Я просто пожелала от души... Ведь ты мне небезразличен...

Жалел, будто не слышал. Смотрел вниз на загорелую ногу Гульжамал в изящной замшевой туфельке.

— Мне пора.

— Да?! И мне тоже. Они поднялись.

— Жалел! — почти неслышно проговорила она и положила ему голову на плечо.

От волос пахло сладко и знакомо. Он погладил ее по руке, которая в темноте матово светилась. Пальцы были прохладные, длинные с черными капельками на ногтях. “Это же лак!” —подумал Жалел.

Гульжамал поцеловала его как раньше, и все было как раньше...

На какой-то миг она стала дорога и близка. Словно вернулось то время, когда они только что познакомились. Он вспомнил первый поцелуй и то, как вдруг загромыхали чьи-то шаги, раздались чужие голоса, а они, хохоча, вынеслись из подъезда и бежали до угла и только там перевели дух и остановились. Все как раньше. Только она жена другого.

— Я пойду вперед, а ты немного подожди,—сказала Гульжамал чужим, деловым тоном и поцеловала его в щеку, как клюнула.— Дураки мы с тобой... созданы друг для друга, а мучаемся...

Она быстро, не оглядываясь, пошла вперед. Жалел достал сигарету. Спички ломались. Наконец прикурил. Сигарета показала кислоту.

“Черт... Хоть бы курево привозили нормальное... Смолишь всякую дрянь”.

Ее голос звучал в ушах: “Бросай этот Узек. Что он тебе? Ты свое сделал. Теперь на виду. Возвращайся в Алма-Ату. Защищай диссертацию. Хочешь, я поговорю с Салимгиреем? Он ценит тебя...”

“Нужен я ему... Ценит?! Тебе я нужен”.

Вдруг он ясно понял, что произошло. Даже передернулся, когда вновь все представил.

...Ах, Тана, Тана! Как посмотрит ей в глаза!

Ему стало жалко себя. Сигарета потухла. Он раскурил снова, нервно затянулся пару раз, бросил, втоптал каблуком.

“Тряпка! Только поманили, и готово: спекся!”

Он пошел по дороге. Все было как и полчаса назад, та же пустыня, звезды, луна, но Жалел ничего не замечал. Только подходя к своему дому и увидев налитые желтым светом окна да неровный осколок черного стекла, лежащий на земле,— остановился, соображая, что это там, внизу.. Наконец догадался: лужа. Наверное, водовозка приезжала, и вода пролилась.

Он с облегчением вздохнул и уже протянул руку, чтобы открыть калитку, как его окликнул Салимгирей.

— Добрый вечер! — сказал тот учтиво. И голосом хорошо воспитанного человека пояснил: — Не спится. Да и Гульжамал куда-то пошла. Решил поискать. Не встречали ее?

— Нет.— Почему-то рот был полон кислой слюны; хотелось сплюнуть, и было неловко.

“Что он делает около моего дома? Или догадывается о чем-то?”

— Какая замечательная ночь,— продолжал Салимгирей.— Знаете, даже спать обидно. Тишина. Звезды. Такой покой бывает только в пустыне. И осенью. В преддверии зимы. Поверьте мне — здесь, в Узеке, по-настоящему отдыхаешь душой.

— Да... отдыхаешь,— пробормотал Жалел, соображая, как бы избавиться от собеседника. — У нас — неплохо. Иногда даже и хорошо...

— Что вы! Не просто хорошо — замечательно! — восторженно воскликнул Салимгирей.— Неужели вы не чувствуете бездонности и красоты пространства? Ведь вся арабская любовная лирика родилась в пустыне. У номадов. Лейли и Меджнун. Джамиля и Бусейн... Послушайте только:

Ужели в этом жарком Джаре, где рвут шатры в извечном споре
Восточный вихрь и ветер юга,— мое неслыханное горе?

Что мне до них! Аллах великий все караваны пусть погубит:

Ведь караваны разлучают тех, кто страдает, тех, кто любит!
Сошлись в условленное время и в путь пустились утром рано...
Куда с моим несчастным сердцем ушли верблюды каравана?

Жалел попытался взглянуть в лицо: шутит? издевается? Но Салимгирей поднял голову к небу и смотрел словно замороженный. Наконец он перевел взгляд на Жалела, и глядел долго, наверное, целую минуту, точно на что-то невиданное или странное.

— Составьте компанию,— попросил старик.— Давайте немного погуляем...

Жалел, не мог отказать и поплелся по той же самой лунной дороге, по которой прошел несколько минут назад, а перед тем простучала каблучками Гульжамал. Если приглядеться, то, наверное, еще можно заметить в пыли следы ее маленьких ног.

Жалел покраснел и рад был, что сейчас ночь; она хоть и лунная, но все-таки темновато, и вряд ли Салимгирей без очков разглядит его багровое от стыда и досады на себя лицо.

— Нет, человек не понимает, что такое настоящее счастье,— философствовал Салимгирей, легко шагая рядом.— Когда-то для меня слава, положение казались самыми главными в жизни. Добьюсь их — и не будет счастливее человека... А вот сейчас, когда жизнь прожита, я думаю по-другому. Счастье в том, чтобы дать его другому человеку...

Жалел с любопытством слушал. Салимгирей будто размышлял вслух: не поучая, не спрашивая, не навязывая свое мнение.

— Вот если другой человек не оценит или не поймет, что я желаю ему добра,— тогда это подлинная беда. Я не говорю о людях, которые сознательно хотят досадить другому, причинить боль, унижить... Нет, речь не о них... Они подобны скользким червям, всю жизнь ползающим в темноте и старающимся, чтобы и другие жили, как они, в зловонной, мрачной норе.

Жалел шел как на казнь. Голос Салимгирея хлестал по нему, и вся кровь отхлынула от щек. Трудно было поверить, но человек рядом с ним — холеный, благодушный с виду старик — оказался дьявольски жестоким. Это было непостижимо, будто в тяжком кошмаре: голос Салимгирея прорезал воздух, словно удар бича, и не увернуться от него, не уйти, не убежать.

— Они могут обмануть за грош, готовы на все за подачку; не успеешь моргнуть — и они оговоят тебя, украдут жену, нашепчут другу... Да, хватит о них. Эти черви не стоят плевка... Нет, жизнь настоящего человека проходит иначе. Конечно, она не прямое шоссе, по которому можно мчаться без остановок, не железнодорожная магистраль с накатанной колеей... Человек не знает, что будет завтра. И это прекрасно. Потому что жизнь — дорога в будущее.— Салимгирей неожиданно остановился, тронул Жалела за руку: — Наверное, вы хотите спросить: зачем я говорю это вам?

Он стоял улыбающийся, румяный, воплощение благожелательности, обращенной ко всем на свете.

— Помните то совещание, на котором обсуждался ваш проект? Честно скажу — в нем немало огрехов. Но идея! Идея здоровая. Как вы понимаете, мне ничего не стоило сказать “нет!”. Но я сказал “да!”. Почему? Вы не задавались этим вопросом?

Жалел, не ответил. Ему открывалось сейчас в жизни такое, о чем он и не подозревал.

— Прекрасно быть глупцом! — торжествуяше воскликнул Салимгирей.— Прекрасно ошибаться! Прекрасно не замечать ошибок других! Все это прекрасно и человечно. Первое, чему я научился как ученый, было то, что не надо бояться выглядеть глупцом. Если бы я не постиг этой мудрости, то вряд ли стал бы ученым.

Салимгирей быстро, ловко наклонился к Жалелу, так что тот невольно отшатнулся, и обычным своим изысканным голосом продолжал:

— Когда вы поймете эту истину — вы станете не только хорошим инженером... Но позвольте вам дать один совет. Жизнь одна, и истина одна. Если хочешь познать ее — подходи к ней с чистыми намерениями. Другого пути нет. А чистые намерения — это, прежде всего чистая совесть...

Они прошли еще несколько шагов и, немного не дойдя до штабеля досок, охряно светившихся в темноте, повернули обратно. Салимгирей молчал. Жалелу тоже не хотелось ни о чем говорить. Они сухо попрощались. Жалел постоял, тупо глядя в спину старика, уходящего в темноту. На мгновение ему показалось, что

земля заколебалась. Ощущение было настолько реальным, что Жалел схватился за проволоку, которой был огорожен участок. Земной шар явственно поворачивался под его ногами. Со всеми своими горами, пустынями, морями, лесами — всем, что расположено на нем от века, и всем, что прилепил к нему человек, — летел в бесконечность. А он — теплый, жалкий комок плоти — стоял на самом краю, и перед ним разверзалась бездна.

“Какой глупец! Романтик безмозглый! Рассуждал о каких-то забытых людях и богом индейцах, а о тебя тем временем вытерли ноги. Одна использовала как тряпку, а другой изысканно наплевал в глаза, да еще прочитал нотацию, словно нашкодившему школяру... Как это говорится: у бесстыжего скулы не устают. Воистину так!” Губы у него дрожали. Рубаха была мокрая, хоть выжми. “Если бы рядом была Тана... Ее чистота, тайна, доверчивость”. Никогда еще он не был таким беспомощным. И никто, никто в мире, кроме этой девушки с огромными, бездонными и печальными глазами верблюжонка, не был нужен ему в эту минуту. В ней сосредоточились его надежды и сущность мира.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Осень стояла в Узеке долгая и теплая. “Бабье лето” все не кончалось: днем ходили в рубахах и только вечером надевали куртки — северо-восточный ветер, задувавший после обеда, нес с собой холодок. Но настоящая стужа бродила еще где-то далеко, на севере. Там, где синеют вечные льды, полыхают полярные сияния и сквозь пургу мчатся легкие нарты, запряженные собаками...

Халелбек, слушая по радио сводку погоды, представлял те далекие места — в прошлом году случилось ему ездить в Западную Сибирь, обмениваться опытом с тамошними нефтяниками, и он, пожалуй, впервые так явственно почувствовал необъятность родной земли. Летишь над страной час, другой, третий... Вспыхивают россыпи огней — это города; проплывают ниточки — это дороги; отливают сталью кривые лезвия — это реки... Сразу за Уралом, с его домнами, градирнями, коксовыми печами, над которыми поднимается багровый дым, начинается таежная земля с ее лесами, мхами, непуганой дичью, сопками, редкими селениями. Болотистые пространства, покрытые лесами, тянулись на сотни километров. Их прорезала Обь — громадное, разветвленное дерево. И корни, и ствол, и вершина этого дерева состояли из рек, речек, речушек, ручьев, протоков, а между ними, будто драгоценные камни, впаяны голубые, зеленые, желтые, коричневые и разных других цветов и оттенков тихие чистые озера. Воды было столько, что суша казалась всего лишь островком, плавающим в безбрежной водной стихии.

“Дайте хоть немного воды нам”, — говорил Халелбек своим новым сибирским знакомым. “А вы нам тепла подбросьте”, — отшучивались буровики.

Шутки шутками, но Халелбек, посмотрев, в каких условиях работают на Обском Севере нефтеразведчики, проникся к ним большим уважением. Он считал, что уж лучше жариться на солнце, чем сидеть летом в болотах, съдаемым полчищами гнуса, или зимой бурить в такую стужу, что птицы падают, замерзая на лету.

Сибиряки же, приезжавшие с ответным визитом на Мангышлак и как раз подгадавшие в самый зной, смотрели на узекских

коллег как на необыкновенные существа, работавшие в таком пекле, что железо голой рукой не возьмешь — обожжешься. Почему-то всегда, кажется: твое дело не самое трудное на свете, тогда как то, которое делают другие,— намного сложнее, тяжелее, ответственнее...

Но как ни крути, и к Узеку подбиралась зима. Уже запрягла она своих бешеных белых коней и вот-вот примчится — никому не даст отсрочки, ничего не простит. Много забот везет она в своих корджунах. Каждый промах использует, каждый недогляд. Торопиться, торопиться надо.

Главное, что беспокоило нефтеразведчиков, — испытание скважин. От этого теперь зависела дальнейшая и самая важная работа: подсчет запасов нефти в Узеке и их защита в Государственном комитете. По проходке экспедиция вышла из прорыва. Перелом наступил, как и предвидел Глепов, после того как бригада Бестибаева взялась работать на двух станках. Первый же месяц показал преимущества нового метода: сделали столько, сколько ни разу за всю историю освоения Мангышлака не удавалось ни одному коллективу: 2352 метра! Валентин Шилов, а за ним и осторожный Аширов тоже перешли на два станка. Число пройденных скважин возросло, а вот их испытание — отставало.

Узек преподнес еще одну неожиданность: слабое давление пласта. Еще сегодня скважина фонтанирует, выбрасывая через семимиллиметровый штуцер¹ восемьдесят, а то и все сто тонн нефти в сутки, а пройдет несколько дней — фонтана и в помине нет. Еле-еле выбивается из-под земли хилая струйка. Кто поверит, глядя на нее, что еще недавно здесь пенился черный поток?!

Как же получить в таких условиях нужные для подсчета запасов данные? Не одну неделю ломали головы инженеры и мастера. Испытанных способов несколько, но почти все связаны с водой, а где ее сейчас взять? Гидрогеологи воду нашли, скважины бурятся, но еще не готовы. А ждать некогда...

Юрий Алексеенко предложил газолифт; слетал в Баку, посмотрел, как этот способ транспортировки нефти на поверхность

¹ Шайба с отверстием.

действует у соседей, и решил, что он вполне подходит и для Узека. Юрий не вылезал с опытной скважины, но своего пока не добился, и дело шло медленно.

“Голову вытащим — хвост увязнет”, — думал Халелбек. Но ни горечи, ни разочарования не было в нем. Он считал, что нет таких трудностей, которые бы не мог одолеть человек. Всю жизнь, работая в пустыне, Халелбек видел, как она менялась. Там, где проходили верблюды, теперь по шоссе мчатся машины; стояло несколько покосившихся мазанок — вырос поселок; горели костры чабанов, а сейчас посмотришь ночью — светло от электрических огней...

Нет, человек — самое великое существо на земле. Сколько опасностей подстерегало его на длинном пути с того момента, когда он выпрямился и пошел по земле. Страшные звери, геологические катастрофы, холод и голод, эпидемии, войны... Он все преодолел, даже саму смерть. Он умирает, как и все сущее, но род его пребывает во веки веков. И дела его остаются. Добрые или злые, они живут после него. Но добрых дел больше. Иначе человечество бы погибло. А оно велико, славно и прекрасно. Так разве есть на свете то, чего не смог бы одолеть человек силой своего разума?

Халелбек не получил регулярного образования, добывал знания трудно и потому, что они достались ему так нелегко, ценил их больше всего. Он и сынишке говорил в минуты откровенности: “Все меняется в мире: стираются горы, мелеют реки, ржавеет железо... Но знания, добытые человеком, накапливаются и накапливаются с каждым годом. Выучишься, — будешь самым сильным на земле человеком...”

“Самым сильным? — спрашивал мальчик. — Могу верблюда поднять?” — “Не только верблюда — Один умный человек сказал: дайте мне рычаг, — и я подниму землю... Голова твоя будет сильной. Ведь подумай только: сколько людей жило в давние времена, и теперь их ум передается тебе...”

Мальчик еще плохо понимал то, о чем говорил отец; но Халелбек был уверен: наступит время — поймет. Доброе семя долго лежит впотьмах, прежде чем даст росток. Не так ли было и с

ним? Давно, когда он еще подростком работал в Кара-Бугазе, Петровский разговорился с ним и так объяснил, что такое коммунист, когда Халелбек поинтересовался новым, услышанным на собрании словом: “Коммунист — значит умный, научный человек”. И когда Халелбек вступал в партию, он повторил эти слова, ставшие за много лет как бы его собственными, выношенными в сердце.

Свою работу он старался организовать по-умному. В бригаду не брал случайных или нерадивых людей: от них не дождешься основательной увлеченности делом. Конечно, не все были асы бурения, такие, как Тюнин, но каждый вносил свое, и, наверное, поэтому у них было меньше, чем у других, непутевой, бесполезной работы. “Бурение — дело тонкое”, — повторял Халелбек. И когда приходил новичок, он говорил ему об этом, а парень, глядя на тяжелые грубые инструменты, не верил. Тогда Халелбек вручал ему разводной ключ и просил подтянуть гайку на треть ниточки. Парень старался выполнить нехитрое задание, а иногда и перевыполнить: рвал на пополам или на целый оборот. Мастер проверял его и, если задание выполнено неточно, не брал. “На треть! А ты куда рванул?” И никакие уговоры не помогали. Бурение — дело тонкое!

Халелбек слыл среди буровиков человеком любознательным, или, как говорили в старину, любомудрым. Он любил задумываться над, казалось бы, простыми вещами: почему ветер в Узбекистане дует после обеда с северо-востока? Или как маленький кустарничек — жузгун¹ — одолевает кочующий бархан и заставляет его остановиться? Или что такое время? Вопросы были такими интересными, что Халелбек понимал: живи он две жизни или больше — все равно не смог бы найти объяснение тем вещам, которые занимали его. Сначала в глубине души он очень огорчился: проживешь жизнь, а не узнаешь всего. Но потом поразмыслил: вечное стремление к знанию — в этом-то и есть главная штука!..

Подумать только: вот умирает человек. Вокруг кошмы, на которой он лежит, собрались дети. Старик через мгновение испустит последний вздох, но взор его по-прежнему горит: в нем жажда

¹ Семиколенник.

жизни, а значит, познания. Что из того, что годы его прошли в трудах, муках или нескончаемой суете? Человек и умирая, все равно любит жизнь. Как говорится, никто по своей воле в ад не пойдет... И то, что даже перед лицом смерти человек остается человеком, — великая победа...

В тот день с утра Халелбек был в механических мастерских — договаривался о том, чтобы быстрее отремонтировали насосы, и только к обеду пошел на буровую. За поселком он встретил отцовскую верблюдицу — третье поколение той, уже легендарной в семье верблюдицы, которую когда-то Туйебай отдал его отцу за двенадцать лет работы. Верблюдица отдыхала, жевала не спеша колючку. Для стороннего взгляда в этом не было ничего необычного. Но Халелбек посмотрел на животное с беспокойством. Во-первых, верблюдица легла, хотя до обеда она обычно паслась в зарослях биюргуна. Во-вторых, шея животного была вытянута в сторону Узека. Халелбек взглянул на горизонт — белесый, выцветший, он был однообразен, если не считать темной полосы, едва заметного мазка у самого края земли.

“Никак, туркмены ковры трясут!” — подумал Халелбек, имея в виду надвигающуюся песчаную бурю. Рукавом куртки протер верблюдице запыленные глаза, и та, как ему показалось, благодарно посмотрела на него. Халелбек похлопал ее по шее, приговаривая: “Какая ты красивая да разумная!” — и быстрее зашагал по дороге. Он шел и оглядывался. Уже не узкая полоса, а густо-черное корпе¹ застилало край неба. Туча росла и росла на глазах.

В пустыне нет ничего быстрее надвигающейся бури. Ни резвый гепард, ни стремительный сайгак не могут убежать от нее и, как все живое, стараются найти укрытие, чтобы спрятаться от ее яростной силы.

Первые вихри, крутя столбики пыли, пронесли по дороге. Воздух был душный, неживой. Словно масло разлилось над поверхностью земли, и Халелбек плыл в нем, почти не чувствуя, что движется. Мелкий песок ударил по куртке, которую он нес в руке, — Халелбек понял: через несколько минут не будет ни степи,

¹Одеяло.

ни неба, ни горизонта — все поглотит черный вихрь. Впереди, шагах в пятидесяти, как волчьи зубы, белели обломки известняка.

“Добежать бы до них и там переждать бурю”, — подумал Халелбек, но уже стало так темно, что и камни скрылись в клубах песка, и в какой они стороне — определить было невозможно.

Халелбек бросился на песок, ногами к ветру, закутал голову курткой и так лежал, вжавшись в землю, как, бывало, на фронте, пережидая обстрел. Песок с грозным ревом, свистом, шипением катился через него. Это пела пустыня, и звуки повторялись снова и снова, будто чья-то безумная рука настраиwała кобыз. Халелбек подумал, что эти звуки знакомы ему давно, но он раньше не прислушивался, пропуская их мимо сознания, не понимая этого великого движения природы, жившей своей сложной жизнью. Он представил пустыню такой, какой видел с самолета: бесконечную серо-бурую или желто-коричневую облезлую баранью шкуру, по которой ветер гнал клубы стонущего песка. Говорят, что пустыня похожа на море: глинистые холмы или песчаные барханы напоминают застывшие волны. Но связь между пустыней и морем еще глубже, думал Халелбек. Как со дна Каспия не может вырваться ни одна галька, ни одна крупинка, если, конечно, человек не вычерпает их оттуда, так и из громадной пустынной чаши, лишенной стока, не уходит ни одно зернышко, ни один камешек, пока ветер не подхватит и не унесет отдельные пылинки. И море и пустыня как бы замкнуты в своих границах. Желтые песчаники, белый мел, пестрые мергели, разноцветные глины — все эти породы, которые тысячи раз столбиками керна проходили через его руки, ровесники другого времени, когда земля еще была молодой. И вот сейчас его короткая жизнь сталкивается с этими песчинками, когда-то бывшими горами, как с давно прошедшим временем. Ну, все равно как если бы он сейчас увидел перед собой живого динозавра или мамонта...

Так размышлял Халелбек, и это успокаивало, заглушая досаду: песчаная буря помешала, и жалко было, что время, которое он бы провел в делах на буровой, проходило бесполезно. Он не успел до конца осмыслить связь своей жизни с жизнью вот этого ветра, песка, земли, на которой лежал, потому что зменное шипение бури

ослабело, и мастер поднял голову. Серая поземка медленно стелилась по земле, а впереди и уже далеко крутились высокие мрачные столбы, свитые из песка,— буря скатывалась в сторону Каспия.

Халелбек поднялся, вытряхнул из одежды песок, и, когда поднимал куртку, что-то ударило его. Ключ! Гаечный ключ, который он сунул в карман куртки еще в мастерской и забыл вынуть. Он обрадовался этой мелочи: не потерял по дороге — и подумал, что ключ надо вернуть...

Он шел по дороге сквозь сумрачный ветер. Стало светлее, и уже видно было в воздухе, как висели белые пылинки. Он шел сквозь них, словно в метель, прикрываясь рукой, потому что пыль забивала нос, глаза, лезла во все поры. Дорога была чистой, гладкой. Она звенела под сапогами — так яростный ветер подмел ее. Даже одинокие былинки были сжаты под корень словно серпом.

Когда Халелбек поравнялся с камнями, грудой возвышавшимися в стороне от дороги, из-за них вдруг показался рослый человек в голубой рубаше и вельветовых штанах. Халелбек сразу узнал его.

“Ажигаленко! Наверное, тоже пережил бурю”, — подумал Халелбек, и тут же слабый полустон-полукрик донесся до него. Кто-то плакал рядом, вернее, даже не плакал, а тонко, протяжно подвывал.

Халелбек поглядел на Ажигаленко, но тот спокойно шел по дороге в Узек. Жалостный вой все плыл в воздухе, и когда мастер подошел к камням, то увидел девушку в разорванном, скомканном у шеи цветастом платье. Она лежала на земле, судорожно царапая глину, так что побелели костяшки пальцев. Халелбек склонился над ней: это была Тана.

Он не совсем понял еще, какая связь между истерзанной, извивающейся на земле девушкой и Ажигаленко, как ни в чем не бывало идущим по дороге, но предчувствие чего-то страшного будто толкнуло его, и он крикнул:

— Эй, парень! Погоди-ка...

Ажигаленко нехотя обернулся, задержал взгляд на Халелбеке, словно на каком-то забавном жуке, и процедил:

— Чего орешь, мужик! Сгинь, сука...

Ажигаленко выплюнул слова привычно, ожидая, как часто бывало в колонии, что человек, услышав это, засуетится, залебезит и вмиг пропадет, забьется в щель — лишь бы его не достал кулак. Но человек в брезентовой рабочей куртке не испугался, не заюлил, а упрямо шел на него, и Ажигаленко ткнул его в грудь, чтобы остановить. Ударил несильно, но резко и, главное, неожиданно.

Халелбек, потеряв равновесие, упал на спину, стукнувшись затылком о землю.

— Куда лезешь, падла, — услышал он над собой хриплый голос, и громадная нога в грубом ботинке саданула ему под ребро, — Учишь вас, учишь, — приговаривал Ажигаленко, снова заноса ногу для удара, — а вы, гниды...

Но не успел закончить: Халелбек рванул ногу на себя, и парень грохнулся навзничь. Он моментально вскочил, кинулся к Халелбеку.

— Что? Жить надоело?

— Гад! Что ты сделал с девушкой...

Со стороны они напоминали сейчас двух разъяренных топтавшихся верблюдов, выбирающих момент, чтобы начать схватку. Секунду или две они прыгали друг перед другом. Ажигаленко был моложе и быстрее. Он сделал вид, что хочет ударить Халелбека в лицо, и, когда тот поднял руку, чтобы защититься, получил страшный удар в живот, согнувший его пополам. И сразу же на затылок обрушился кулак Ажигаленко.

Только в кино драки длятся минутами, и противники долго носятся друг за другом на глазах замирающих от страха зрителей. В действительности же решающий удар наносится едва ли не с первой или второй попытки.

Если бы Халелбек испугался, если бы его тело не было закалено годами тяжелой работы и если бы он вдруг не понял, что Ажигаленко может сейчас убить его, то, наверное, получил бы такой роковой удар,

“Ты же прошел фронт”, — мелькнула мысль, и, хотя в голове словно застрял колючий кустарник, а земля плыла перед глазами, Халелбек уже нашарил в кармане куртки гаечный ключ. Холодное

бешенство овладело им, и он, как сжатая пружина, распрямился навстречу Ажигаленко, двинул его ключом. Парень медленно опустился. Его лицо залилось кровью.

— Не убивайте! — донесся до Халелбека умоляющий голос.— Не марайте рук!

Тана стояла рядом, слезы текли по распухшему, похожему на маску лицу.

— Не убивайте! Не убивайте! — шевелились запекшиеся губы.— Он не стоит смерти. Свинья!

— Не собираюсь! Пусть сам ответит за все... Тварь!

Он накинул куртку на дрожащую девушку, взял ее под руку и повел в поселок. Кошмар этих нескольких минут, только что им пережитых, не отпускал Халелбека. Страшная теснота мыслей обступила его.

— Как вы здесь очутились? — спросил он, наконец.

— Возвращалась с буровой, а он подкараулил меня... — Тана тряслась, словно шла босиком по снегу.

— Какой мерзавец!

Он представил на миг, что такое же мускулистое, тупое животное напало на Жансулу, и злоба, ярость, гнев снова ослепили. Если бы не Тана, уцепившаяся за него, он вернулся и прибил бы этого парня. Но девушка, словно угадавшая его мысли, держалась за него обеими руками, не отпуская Халелбека от себя ни на шаг.

— Агатай! Не рассказывайте никому! Прошу вас! — твердила Тана, захлебываясь от рыданий.— Прошу вас! Именем матери закливаю, — не говорите никому! Я не переживу...

Халелбек выдавил из себя:

— Что же... И такая мразь будет ходить по земле... Без наказания... Нет!

Тана остановилась. Руки ее повисли как плети.

— Лучше убейте меня! Сами — убейте! Убейте! — она заби- лась в истерике.

Халелбек отвел глаза. Голос у него прерывался:

— Хорошо, хорошо... Не скажу. Слышите? Не скажу! — Он взял ее за плечи — они были худенькие, словно бесплотные, легонько тряхнул: — Ну, успокойтесь! Не надо! Прошу...

Достал платок, попытался вытереть ей слезы, но они все бежали и бежали по ее лицу.

Страшный день и еще более страшную ночь пережила Тана. Отец сидел у кровати и, не отрывая сверлящего взгляда, повторял:

— Скажи мне: кто это сделал? Жалел? Только скажи! Он?!

Полуживая, то в дремоте и беспамятстве, то, внезапно приходя в себя, она вновь и вновь переживала случившееся. Снова и снова возвращался кошмар. Слышался треск раздираемого платья, запах чеснока и водки застывал в ее ноздрях, клейкие губы впивались в шею... Все это неотвязно точило разгоряченный мозг, а слова отца, доносившиеся словно сквозь туман, падали как камни.

— Кто эта свинья? Скажи! Слышишь? Я должен знать - кто!

Но, прорываясь сквозь весь этот бред, скорбно смотрели на нее глаза Жалела; прохладные пальцы касались щеки, и тогда электрическая лампочка над кроватью дробилась, дробилась и пропадавала.

Мутноватым утром Тана открыла глаза. Постаревший за одну ночь отец все так же смотрел на нее и, увидев, что она проснулась, разлепил губы:

— Кто? Скажи мне, дочка!

Тана протянула руку, коснулась широкого запястья.

— Обещай мне, что ты ничего ему не сделаешь?

— Клянусь!

Тана вытерла ребром ладони скользкий лоб.

— Ажигаленко.

Сары стал белее снега.

— Он? У-у-в...—затряс головой, словно пытаюсь, что-то сбросить с себя, освободиться от какой-то тяжелой ноши.

Тана села на кровати. Каменно сказала:

— Завтра я уеду.

Глаза Сары уставились на нее.

— Куда?

— В Форт. Шетпе. Гурьев. Куда угодно.

Она оглядела комнату, словно уже прощалась с ней навсегда. Стол. Шкаф. Полка с книгами... Раскрытый томик Абая и отчеркнутые строки, поразившие ее своей безысходностью и тоской:

Сердце, полно тебе колотиться,
От насмешек людских не уйдешь.
Разве ты не смогло убедиться,
Что везде лицемерье и ложь?
Горевал сиротливый ягненок,
Успокоился, щиплет траву.
Только сердце — тревожный ребенок —
Не утихнет, покамест живу...

Что бы ни было — книги оставались с ней. Так же как отец, как серенькое осеннее небо за окном.

Она оделась, с застывшим сердцем вышла на улицу, добрела до конторы экспедиции и, не спрашивая разрешения, вошла в кабинет Тлепова. Он обрадовался ее появлению.

— Уже выздоровели?! Ну и прекрасно... Тут гидрогеологи без вас скучают. Говорят, работа никак не идет,— попытался он пошутить, видя ее нахмуренное, бледное лицо.

— Я завтра уезжаю из Узека,— твердо сказала Тана.— Вот заявление. Подпишите!

— Да вы что? Разыгрываете меня?

Она исподлобья взглянула на Тлепова.

— Нет. Мне не до розыгрышей.

Тлепов вгляделся в ее лицо. Оно было восковое, неподвижное, и какая-то черта безнадежности особенно ясно проступила в углах губ, крыльях носа, тонкой морщине, пересекавшей лоб.

— Не понимаю ничего.— И так же как недавно отец, стал мучить ее вопросами: — Наверное, вас обидел Жалел?

— С чего вы взяли?

— Ну... Он такой вспыльчивый... Как теперь говорят — ранимый... Так остро на все реагирует. Я и подумал...

— Простите, но у меня мало времени... Подпишите заявление, пожалуйста.

Тлепов откинулся на спинку стула.

— Об этом не может быть и речи. Я вас просто-напросто не отпущу. Вы молодой специалист... Обязаны отработать там, куда вас послали по распределению.

Все это он проговорил быстро, рыская глазами по столу, зава-

ленному бумагами. Совершенная тишина наступила в кабинете. Слышно было, как в приемной мужской голос рассказывал: “А лисицу берут так... Натягиваешь конский волос и водишь по нему бумагой. Туда-сюда, туда-сюда. Она-то думает, что мышь,— и лезет под выстрел. Дура-а-а...”

— Джандос Нумухамедович! Если у вас есть дети...— голос Таны пресекался. Но она взяла себя в руки.— Разве вы бы хотели, чтобы ваш ребенок мучился всю жизнь? Если останусь здесь...— Она сложила ладони, словно молилась.— Поймите... Не прихоть... Мне очень плохо.

Тлепов задумался. Что он мог сказать? Чем утешить? Прелестная девушка, которой он не раз любовался, сидела перед ним, и он был бессилён что-либо понять... Только чувствовал: Тане нужно помочь и лучше всего дать ей уехать.

— Хорошо,— вздохнул он.

Тлепов взял заявление, еще раз перечитал, крупно, в углу написал: “Не возражаю. В приказ”,—и поставил дату. Потянулся к телефону. Тана встала и, задышавшись, произнесла:

— Я вам так благодарна... Спасибо.

— Тана Жанбозовна! — Джандос вскочил из-за стола.— Куда же вы? Подождите! Дайте я хоть в трест при вас позвоню. Договорюсь. У них как будто было вакантное место гидрогеолога...

Тана моргнула, слезы закипали на глазах, она выбежала из кабинета.

И была еще одна мука — разговор с Жалелом. Он примчался, когда она собирала чемодан.

— Ты с ума сошла! — крикнул он с порога.— Мне на буровую позвонил Тлепов... Думал, шутит. А ты оказывается...

— Не кричи,— строго сказала Тана.— Сядь и послушай.

Она показала рукой на стул, и Жалел послушно побрел к нему.

— Все уже решено. Объяснять не могу и не хочу.

Она говорила механически. Без всякого выражения. Жалел было дернулся, хотел спросить... И не решился: такой Тану он не только никогда не видел, но и не представлял, что девушка может быть столь сухой и жесткой.

— Дай мне, пожалуйста, напиток! — попросил он. Она налила в чашку воды, подала. Сморщился, будто выпил касторку.

“Ясно. Ей кто-то рассказал о последней встрече с Гульжамал. И отсюда — все”.

— Послушай, Тана. Но как же я... Хорошо, ты решила за себя. Но я...

Отчаяние и страх были в его словах.

— Исправить ничего нельзя! — деревянно проговорила и облизала сохнувшие губы,—Еще одна просьба: пожалуйста, не провожай меня. Сделай это ради... —она не закончила.

Тана отдалялась, уходила от него. И это было хуже смерти. Потому что, наверное, смерть —это покой и безразличие, а он оставался жить со своей мукой, горем, несчастьем и еще тем, что называется совестью,

— Хорошо, — сказал он.— Раз решила... Позволь поцеловать тебя,— и, не дожидаясь ответа, шагнул к ней, хотел коснуться ее щеки, но она в ужасе отшатнулась:

— Нет! Нет! Прошу тебя — уйди!

Она видела в окно, как Жалел, сгорбившись, шел по улице. Мимо пустой цистерны, брошенной на обочине, тонких деревьев-прутиков, колеблемых ветром; мимо выкрашенных желтой краской одинаковых щитовых домов, вытянувшихся в шеренгу. Серыми пыльными клубами пустыня накатывалась на поселок, и казалось, сама земля бьется в судорогах.

Тану провожал в Форт-Шевченко отец. Как она ни отнекивалась, как ни говорила, что сама прекрасно доберется,— он был с ней неотлучно. Весь путь Сары каменно просидел рядом, не проронив ни слова, и, когда приехали в город и дочь пошла в трест, чтобы договориться о работе, Сары терпеливо ждал ее у входа в здание. Большой, грузный, в чапане из верблюжьей шерсти, он величественно расположился на скамейке, прикрыв веками глаза, сложив разбитые, оплетенные узлами руки на коленях. Служащие, шоферы, посетители с любопытством смотрели на приезжего: кто такой? чего сидит? какие у него могут быть дела в гидрогеологическом тресте? Потом кто-то решил, что это известный колодецкопатель, отыскивающий воду с помощью чудесной

зеленой лозы и приглашенный для консультации,— на том и успокоились. Какой-то вертлявый снабженец подсел к Сары для разговора, но Старик так грозно взглянул на него, что тот заерзал, зашарил по карманам, ища папиросы и спички, и, якобы не найдя, тут же исчез, — будто ветром сдуло.

“Профессор! Академик! — врал он потом приятелям.— Сказал мне, что воду под землей чует метров за сто! А то и поболее... Да-а-а... Вся семья у него такая была. Дед, отец... А вот сын — не в него. Потерял нюх. Пил, говорит, потому и потерял... Водка-то, она, значит, нюх отбивает...”

А Сары сидел в тягостном раздумье: что теперь делать? Чему посвятить остаток дней? Нет, не думал, не гадал, что придется снова бежать из родных мест, да еще с опозоренной дочерью. И кто обесчестил? Сын бывшего покровителя, которого он спас когда-то от смерти. Воистину ни одно доброе дело не остается безнаказанным!

Что делать? Как поступить?! Не послушать дочь и подать заявление в суд? Пусть власть накажет. Но тогда все узнают о его позоре. Все. Отомстить самому? Но как? Что он может, ставший дряблым, как мясо, сваренное в казане? Ажигаленко-то молодой, сильный. Прибьет как муху и глазом не моргнет. Поездить по аулам, поискать джигита, чтобы тот... Нет, в таком деле не должно быть посторонних. Да и разве успокоится его сердце, если месть будет совершена чужими руками?!

Самому, самому надо справиться с обидчиком. Но как? Как? Сары не находил ответа, и бессилье грызло старика, разъедало душу. Неужели его раздавили? Неужели грязный пес будет безнаказанно ходить по земле? Неужели он и впрямь превратился в немощного старца, которого можно топтать безнаказанно, а он только вздыхает да охает? Сама мысль о том, что он, Сары из уважаемого, гордого рода жанбоз, стерпит такое унижение, приводила старика в ярость. Нет, нет и нет! Не стерпит, не простит, не опустит головы. Пусть лучше погибнет в схватке с врагом и испустит дух в смертельном поединке, чем сидеть вот так, бессильно опустив руки. Если потеряна честь, то зачем-же тогда жить?

Сары затравленно посмотрел на свои ладони — худые, старческие, покрытые какими-то коричневыми пятнами. Неужели это его руки? Они ли, бывало, на всем скаку, словно пушинку, подхватывали с земли козлиную тушу и, играя ею, хвастаясь силой, быстротой, ловкостью, перекидывали увесистую тушу из одной руки в другую. А охота на волка! Как молния сверкал соил, и он одним точным, резким ударом приканчивал настигнутого хищника. Или взять борьбу? Скольких джигитов бросал он на землю, словно пустые корджуны! И не счесть... До сих пор стоят в ушах одобрительные крики зрителей: “О-о-о, Сары! Молодец! Настоящий батыр!”

А теперь? Куда все делось? Словно и не было ни силы, ни ловкости, ни быстроты, ни удалства. Все! Отрыгался конь. И никто, никто в мире не сможет помочь ему, успокоить сердце, рвущееся на части. Так и сойдет в могилу опозоренный, с собой унесет на тот свет стыд, горечь, ненависть? Сары тихонько взвыл. Неужели он человек только до тех пор, пока есть руки? Разве нет у него глаз, сердца, головы? Или они только придача к рукам? Была сила в руках — человек. Не стало — навоз... Он вскинул голову. Темная точка плыла в небе. Беркут! Свободная, смелая, сильная птица. Говорят, когда беркуты теряют силы и не могут брать добычу — камнем бросаются с высоты, разбиваясь о землю. Верно, или нет — Сары не мог сказать определенно. Но в предание верил. Беркут кормится только свежим мясом. К падали не подлетит, не посмотрит, даже если бросишь ему, голодному, кусок, от которого слышен запах тлена... Это уж точно. Сары держал беркутов, охотился с ними на лисиц и хорошо знает характер, повадки этой знаменитой и теперь такой редкой у охотников птицы.

Сары наблюдал за беркутом, высматривавшим с вышины добычу. Птица парила в высоком осеннем небе и вдруг с высоты пошла вертикально вниз — видно, разглядела зазевавшегося сурка или зайчишку. Сары сразу же потерял птицу из виду, но хорошо представлял себе — сколько раз на охоте он видел эти мгновения: вот глаза беркута становятся дикими, страшными и он, взмыв с его руки, одетой в длинную, до самого локтя, кожаную рукавицу,

набирает высоту, а потом падает на зверя и у самой земли, вытянув когтистую лапу, хватается жертву за спину или шею, а другой, когда зверь, огрызаясь, повернется, обхватывает голову. Беркут, который служит охотнику, не ломает зверю позвоночника, не выклевывает глаза и не раздирает шею,— все это выдумки. Беркут держит жертву до тех пор, пока не подъедет хозяин. Если, конечно, это ловчий настоящий беркут. Кыран называют такую птицу. Значит, зоркая, верная, гордая... И еще одно название есть у нее: кюйсыз. Кюй — мелодия, настрой. И если кюйсыз охотника и птицы звучат вместе, слитно, как один голос, то нет такой хитрой лисицы, которую они не могли бы одолеть.

Давно исчез беркут, но старик все так же, задрав вверх жесткую бороду, смотрел в небо, не замечая и не слыша ничего вокруг. Хриплое рычание грузовиков, проносящихся мимо, людские голоса, трели телефонных звонков, стук пишущих машинок, хлопанье дверей — обычная рабочая суета, доносящаяся из здания, так же как крики мальчишек, гоняющих мяч на пустыре,— не доходили до его сознания, проскальзывали мимо. Будто сидел он не в центре города, под развесистым тополем, а в степи, да еще накрытый глухим стеклянным колпаком, и ни один звук не доносился до него.

Не оформившаяся окончательно мысль, догадка, предположение бродили в голове Сары. Словно он в тумане увидел клочок яркого неба и всматривался в него, опасаясь, что еще несколько мгновений — и голубизна пропадет, снова затянутая серой пеленой. Мысль была смутной, неуверенной, но чем больше он думал, прикидывая и так и эдак, поворачивая и рассматривая ее с разных сторон, тем больше верил в нее. Внутри будто кто-то заводил и заводил тугую пружину, и она, сжатая в комок, готовая в любой момент распрямиться, своей скрытой сдержанной энергией толкала его к действию.

Сары уже с нетерпением поглядывал на дверь, ожидая Тану. Каждое уходящее мгновение могло лишить его надежды. Время! Только оно одно могло помешать достижению цели, которая стояла перед ним. Успеет ли он сделать так, как задумал, теперь зависело от того, сколько дней и сил отпустил ему аллах. И еще немного —

от везенья. Но разве удача и аллах не помогают святым делам? Время! С того мгновения, как счастливая мысль пришла Сары в голову, оно становилось ему врагом. А может — и другом. Трудно сейчас сказать наверняка. Но одно знал твердо: теперь нельзя терять ни минуты.

Когда Тана, наконец, вышла из здания и увидела отца, то поразилась перемене: перед ней сидел не сгорбленный, мрачный старик, судорожно сцепивший руки, а решительный, твердый и уверенный в себе, как прежде, мужчина, Это был снова ее отец, каким она знала его всегда. Защитник, опора, друг, наставник — самый близкий и дорогой после матери человек.

Едва Тана сказала, что получила назначение в Шетпе, в тамошнюю экспедицию, отец, полный энергии, какого-то не совсем понятного для нее волнения или скорее яростного нетерпения, проговорил: “Хорошо! Не будем терять времени. Поехали...” И огорчился, узнав, что необходимые документы будут выправлены только завтра. Пока они шли к трестовской гостинице и потом, сидя у постели дочери — Тане нездоровилось, — отец, едва ли за все время обронивший несколько фраз, был оживлен, общителен, вспоминал, как в молодости охотился с беркутом и какая это чудесная птица — умная, преданная, бесстрашная.

— Волк брал. А уж лисиц — без счета. — Говорил отец, и глаза его блестели.— Стояли мы тогда на джайляу у колодца Белеулы...

Тана представляла себе спокойно пасущиеся стада. Юрты, похожие на воздушные шары, прилепившиеся к холму. На лошадях чабанов, поющих бесконечную песню о баранах, волках и степи. И, наконец, серого разбойника, его сверкающую серебром шерсть, и то, как осторожно, припадая брюхом к земле, он ползет к отаре. Подкрался, прыгнул. Жалобный стон ягненка разносится в прозрачном воздухе.

— Эй-эй! Эгей! Волк! — перекликаются люди, седлая коней.— Волк!

— Сколько зарезал?

— Трех! Да покалечил столько же...

— Волк! Волк!

И показывают в ту сторону, где мелькнула серая тень. А отец с беркутом на руке уже едет по следу...

Она слушала отца, стараясь не думать больше ни о чем, а главное — о том, что с ней случилось, и иногда ей это удавалось. И тогда Тана как бы растворялась в прошлой отцовской жизни, как бы парила в ней, плыла в каком-то бездумье, и ей не хотелось возвращаться к самой себе.

Сары чувствовал жадный интерес дочери и рассказывал, рассказывал охотничьи истории, которым не было конца. Он испытывал нежность к Тане, такую щемящую, глубокую и горькую, что, если бы в этот момент ему сказали — отдай жизнь, вот прямо сейчас, сию минуту, и то, страшное, что произошло, исчезнет, словно его и не было, — он бы, не раздумывая, согласился.

— Был у меня беркут — Медный Коготь. В схватке, когда он еще был молодым, лис откусил ему коготь, и пришлось взамен выковать медный. Он и с таким когтем зверей ловил. Сколько подарил мне рыжих плутовок! С больной-то ногой... Однажды, в начале зимы, поехал на охоту. Только лег первый снег. Время под вечер. Пустил его: зверь где-то близко был. Пока доехал до места, где, по моим расчетам, беркут должен держать лисицу, — стемнело. Езжу, зову птицу — нет и нет. Ночь опустилась — пришлось вернуться домой. Утром снова поехал. Искал везде — нет. К вечеру, уже, когда к дому начал подаваться, слышу шум крыльев. Едва руку успел протянуть — сел. Весь в сосульках. Ночевал, видно, в снегу. Ждал. Верил, что не брошу...

Тана слушала. Голос отца звучал в ней, унося ее туда, где прошла отцовская молодость. Под его голос она и заснула. Ей приснилась черная птица, летящая на нее, закрывающая полнеба. Это была то ли ворона, то ли орел. Она кричала на лету так громко и страшно, так неотвратно мчалась на нее, выпустив острые загнутые когти, что Тана проснулась. В комнате было полутемно. Отец ровно дышал на кровати, которая стояла у окна. Через открытую форточку доносился вороний грай: хриплый, резкий, неотвязный.

Она лежала с открытыми глазами, чувствуя, как утекает ночь, а вместе с ней — время ее жизни, когда-то такой счастливой, а теперь ненужной и несчастной.

Она вспомнила Жалела и тихо заплакала. Тана слышала, как встал и подошел отец. Увидела его профиль: сухой крючковатый нос, напоминающий клюв, губы, виновато, растерянно шевелившиеся.

— Не надо, дочка! — услышала она срывающийся голос.— Не надо! Все будет хорошо.—И добавил, словно самое тайное: — Клянусь тебе.

Какая-то дрема навалилась на нее. Она закрыла глаза, потом открыла: отец все еще стоял рядом: ей показалось, что щека у него мокрая и блестит в сумрачном вечернем свете.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

После отъезда Таны Жалел не находил себе места. Все валилось из рук, и ни к чему не лежала душа. С постели поднимался с трудом, невыспавшийся, хмурый. Утренние прогулки и те забросил. Нехотя брился, умывался, односложно отвечая, матери, которая готовила завтрак.

— Твои любимые! — мать вносила горячие баурсаки.

Он безразлично кивал: ему было все равно, что есть. Мать отворачивалась, чтобы сын не видел расстроенного лица, смагивала набегавшие слезы. Но он и не замечал их, поглощенный собой, своими мыслями и переживаниями. Рассеянно смотрел в окно, за которым брезжило утро, или шуршал газетой, мало что в ней понимая.

Дни тянулись серые, унылые, как и небо, затянутое низкими свинцовыми облаками. Была поздняя осень. Ждали снега. Но его все не было и не было. Только временами, когда задувал северный ветер, вместе с колючим песком неслась по степи снежная крупа. Ночами прихватывали заморозки, вода в умывальнике подергивалась прозрачной корочкой, а дым от костерка — его все так же на заре разводил отец — вился тонкой, прямой, как карандаш, струйкой.

“Скорее бы зима”, — думал Жалел. И представлялась светлая заснеженная степь за окном, синеватые тропинки, косые лучи солнца, празднично лежащие на полу. В доме тепло, и все они — отец, мать, Халелбек с детьми и Жансулу — собрались вместе. Отец наигрывает на домбре какие-то полугрустные-полудремотные кюи; Халелбек мурлычет под нос, а он лежит, слушает простой и близкий напев. Покойно на душе, и вспоминается что-то далекое, милое...

“Быстрее бы зима!”

Но тусклая осень все не кончалась, тоска все прочнее захватывала душу. Жалел, двигался, говорил, работал... Вроде все как раньше, и вместе с тем стал суше, жестче, нередко срывался. Подчиненные ему геологи мгновенно уловили эту перемену: уже не было ни шуток, ни юмора, которые Бестибаев вносил в деловые

отношения, — а только четко очерченные служебные рамки. Жалел, заметил, что ребята не приходят к нему в перерыв или в конце дня, чтобы посидеть, поговорить, а если вызывает их — входят настороженно, неохотно, и, едва, заканчивается, разговор, спешат уйти.

Несколько дней назад он накричал на Усанова — молодого инженера, допустившего промах: неверно составил геолого-технический наряд.

“Не можете работать! Подводите! Почему не посоветовались?!”

Усанов, бледный как полотно, мялся, пыхтел, наконец, выдал из себя: “Вы были не в настроении... Я и не зашел...”

“Что за чушь!” — и тут же спохватился. Внимательно посмотрел на парня, на его измятое переживанием лицо... Неужели подчиненные боятся и не любят его? Нечего сказать — доработался. Рядом с ним не манекены, не автоматы — люди! Зачем он орал сейчас на Усанова? Криком не поможешь, не исправишь. Неужели вот так постепенно черствеют, погружаются в бездушную формалистику, отгораживаются от людей, от живого дела?..

И вместе с тем было какое-то злое удовлетворение: выместил досаду! Пусть и другой почувствует, что значит постоянно носить в себе боль. Взвинченность переходила в безразличие: словно засыпало песком, а ты и пальцем не шевелишь, чтобы выбраться из-под желтой горы.

“Неужели так будет всегда? И зима ничего не изменит... И весна...”

Жалел даже подумывал: не бросить ли Узек? Не поехать ли рядовым геологом в какую-нибудь партию, где тебя никто не знает и ты никого? Начать все заново, с чистой страницы. А прошлое — затушевать, зачеркнуть, забыть. Но куда ехать? И главное — зачем? Чего искать? Уйти от самого себя еще никому не удавалось. Да и не хватит сил расстаться с Узекком. Разве можно бросить дело, которое для него не служба, а сам смысл существования,

“Надо что-то менять в себе самом. В отношении к людям и к жизни...”

Разлука с Таной заставила Жалела посмотреть на себя со

стороны. И в этом взгляде смешались холод, отстраненность и какой-то болезненный интерес. В нем опять жили два человека: один судил другого, беспощадным скальпелем рассекая поступки, чувства, мысли, едва ли не само сердце.

Нет, Жалел вовсе не хотел оправдаться. Наоборот, чем больше проходило времени, тем все более низким казался собственный поступок. Скорбные глаза Таны, как бы слившиеся с очами несчастной Ботагоз с рисунка Шевченко, неотступно следили за ним: “Я верила тебе. Верила! А ты...”

От одной мысли об этом становилось так безысходно, что Жалел поневоле начинал завидовать мошенникам, злодеям, предателям — всем тем, кого испокон века клеймили как самых бесчестных существ. У них, быть может, и находились хоть какие-нибудь смягчающие вину обстоятельства, у него же — ничего. И потому его не коснутся ни месть, ни ненависть, ни презрение. Даже проклятия он оказался недостоин, потому что единственный человек, который мог сказать эти справедливые слова, покинул его, навсегда вычеркнув из своей жизни. Живи, дыши, влачи дальше постылое существование.

Жалел, как бы затаился в себе, потихоньку отделяясь от всех. Странные фантазии приходили на ум: грустные и вместе с тем какие-то смешные, едва ли не детские. То он представлял, что тяжело заболел и Тана, узнав об этом, немедленно приезжает, ухаживает за ним, спасая от гибели. Дальнейшее рисовалось смутно, но он знал, наверное: теперь они никогда не расстанутся.

Счастливая минутная уверенность, что Тана еще любит его, быстро пропадала, и он пытался найти выход в другом. Воображал, например, что Гульжамал ушла от Салимгирея и они поженились. Живут не очень счастливо, но дружно. Да и что проку от любви? Гораздо крепче простая привязанность, уважение друг к другу. И вот через много лет случай его сводит с Таной. Она признается, что была несправедлива и жестока к нему. Но слишком поздно. Ничего ни поправить, ни изменить уже нельзя.

Мечты обрывались, словно он смотрел фильм из чьей-то чужой жизни: кадры, кое-как слепленные друг с другом, беспорядочно проходили перед ним — без конца и начала. Вернее, он

боялся думать о конце, ибо в нем трепетала надежда — беспокойная, тревожная, а он приспособивался жить, глядя на себя со стороны равнодушными пустыми глазами.

Да и жил ли он? Можно ли назвать жизнью оцепенение? Горе завертело его, словно осенний лист, закружило и швырнуло на землю. Но вместо тверди оказалась пустота...

Родные видели состояние Жалела, но чем они могли утешить его? И Бестибай и мать робели перед ученым сыном, да и не очень хорошо понимали его, не зная доподлинно, что же произошло между ним и Таной. Халелбек же, говоря обычные слова сочувствия, ощущал их неубедительность, едва ли не фальшь, потому что за ними не стояло правды. Но мог ли он выдать чужую тайну? И будет ли легче, когда брат узнает, что невеста его опозорена и не он виноват в отъезде Таны? Сомнения мучили Халелбека, и он инстинктивно старался меньше говорить об этом, опасаясь, что не выдержит, расскажет...

Бестибай, с тревогой наблюдая за сыном, делал вид, что ничуть не сожалеет о поспешном отъезде Сары и его дочери.

“Уехала невеста? Ну, что же, свет клином на ней не сошелся. Мало ли других...” — сказал он Жансулу, которая не без яда спросила, почему это свадьба, которую все так ждали, расстроилась...

Но Жалел истаивал на глазах, и Бестибай не на шутку обеспокоился: если нет в человеке жажды жить — пропадет. Надо что-то делать, как-то помочь.

“И в кого он пошел? — рассуждал старик. — Разве можно так изводить себя из-за девушки? Доведись бы до него — глазом не моргнул.”

Вспоминалась покойная сестра: тонкая, бледная, с горящими глубокими глазами, словно внутри билось жаркое пламя: “Не ее ли кровь?” За свою жизнь Бестибай слышал немало историй о несчастных влюбленных. Но происходили они в незапамятные времена в тридесятом царстве. Да и случались ли они в жизни? Не сочинили ли все это жирау? Кто не знает, что сладкоголосые певцы после кумыса и жирного бешбармака наплетут сорок сороков небылиц? Да так искусно, что слушаешь, развесив уши...

Но живут не по песням и сказкам... Сколько он помнил себя — ни в Майкудуке, ни в Кара-Бугазе, ни в других местах не сходили с ума от любви. Убивались из-за скота. Лилась кровь из-за родовых распрей, но из-за любви... О таком не слыхивал.

Случалось, конечно, что девушка играет глазами с одним, а в степь ходит с другим. Ну и что? На то ты и джигит, чтобы не терять головы. Не сумел удержать птичку — не сетуй, что сеть дырявая.

Припоминался Бестибаю давнишний случай, когда Жалел — он уже в школу ходил, читать умел — переживал из-за пропавшего верблюжонка. Сколько слез пролил! Горевал так сильно, что Бестибай не вынес: съездил на соседнюю зимовку, подыскал похожего и, хотя хозяин заломил несуразную цену, купил верблюжонка, подстроив потом так, что сын сам нашел пропажу. То-то радости было! Дите, оно и есть дите. Но нынче, когда Жалел командует Узекон, к лицу ли ему выказывать недостойную настоящего мужчины слабость? Только и разговоров в поселке о расстроившейся свадьбе. Судят-рядят и о Бестибаевых, и о Жанбозовых... Не то чтобы старик придавал значение досужим разговорам, но сын человек уважаемый, у всех на виду — зачем же давать пищу злым языкам? Пролитое исчезло, ушедшее ушло. Какой смысл понапрасну изводить себя, да еще так, что каждому заметно?

Конечно, беспокоило старика и другое — причина отъезда Таны. Почему Сары так поспешно, будто спасаясь, исчез из поселка? Дочь потянула за собой или сам решил уехать? Странно, что Халелбек как будто что-то знал или слышал, но, как ни допытывался Бестибай, старший сын ничего определенного не сказал. С ним известно: нашел уздечку, — молчит; седло потерял — тоже не узнаешь...

Оставалось одно: поговорить с самим Жалелом. Осторожно, помня о его вспыльчивости, стараясь не причинить боль, не показаться навязчивым, Бестибай попытался узнать у сына, что же произошло. Жалел, твердил одно: “Сам виноват! Сам!” — и дальше толковал столь мудрено, что старик и сам был не рад затейному разговору. Бестибай терялся в догадках... Чем его

ягненок мог оскорбить девушку? Из-за чего казнит себя столь лютыми словами, словно хуже его злодея нет и не было? Разве дело шло к свадьбе не по обоюдному согласию?

Конечно, кто спорит — сын горяч, но джигит и должен быть таким. Что пользы от молодого человека, коли он только топчется вокруг казана? Человек слеплен не из холодной глины, а из плоти и крови. Да и с кем не случается греха в молодости? Только ханжи притворно поджимают постные губы и твердят: “Вот она, современная молодежь! Ничего святого нет! Мы в ее годы такими не были...”

“Э-э-эх! Да помнят ли эти говоруны, что скрипят как сухое дерево, свою молодость? Или, едва появившись на свет, уже засохли, не успев расцвести?”

И все-таки что-то подсказывало старику: дело не в горячности Жалела. Тот, кто умеет стыдиться, тот умеет быть верным. А у сына душа чистая, стыдливая. Вон как перевернуло джигита — кожа да кости. Разве бесчестный человек стал бы так страдать? В счастье каждый виден только наполовину, в беде раскрывается весь. Нет, Жалелу не стоит казниться. Эти современные тростинки — Сары не зря предупреждал, а уж кому, как не ему, знать повадки дочери?! — любят загораться неожиданно и быстро потухать. Девушка выросла в городе, училась в Москве, — не встретился ли ей на пути другой джигит, к которому она более благосклонна? Не связывала ли ее с ним тайная договоренность, о которой отец мог и не знать? Но как ни скрывай мускус — не утаишь. Взять нашу невестку... Дома тише воды, ниже травы, слова поперек не вымолвит. Но едва муж за порог — не узнать скромницу: глазами стреляет, как из двустволки, а уж кости перемыть родственникам да знакомым — только слушай... Похоже, что и дочь Сары недалеко от нее ушла. Хороша была бы невестка, у которой в голове ветер. А уж коли так, то всем известно: куда дунул ветер, туда подол и завернуло...

Все это Бестибай высказывал жене. Та безучастно слушала, подпершись сухонькой рукою. Даже когда зашла речь о Жансулу — не проронила ни слова, словно и не было между ними неприязни... Но разве угадаешь, о чем думает женщина? Когда и

слов у Бестибая не осталось, жена укорила: “Чем воздух сотрясать — съездил бы в Шетпе. Разузнал бы хорошенько у Сары, из-за чего дело расстроилось. Разве не видишь, как мучается сынок? Сердце обливается кровью...”

Бестибай и язык прикусил. Однако спорить не стал: сколько ни взбивай воду — масло не собьешь; сколько ни убеждай жену — не убедишь.

Опустив плечи, путаясь в полах длинного зимнего чапана, побрел к очагу. Разжег костерок, поставил на огонь чайник, долго сидел, глядя на сухую чистую степь, на неяркое осеннее солнышко, не замечал, что давно закипела вода, а угли в костерке подернулись пеплом.

“Может, на этот раз, верно, рассудила старуха? Что худого, если поговорить с Сары по-свойски? Ссоры между ними не было. Авось дело еще сладится. Чего не случается в жизни...”

Так и решил Бестибай, засобиравшись в Шетпе, будто проведать дальнюю родню, но беда одна не ходит: получил письмо из Майкудука, что Басикара совсем плох. Выписали его из больницы, и будто бы врачи сказали, что надежды нет. Бестибай заволновался: застать бы старого друга в живых! На попутной машине поспешил на родину. И жена с ним поехала, хоть и разрывалось сердце: как Жалел останется без них? Но понимала, что и Бестибая нельзя отпустить одного — захудал совсем, далеко ли до беды...

Опустел вагончик — временное, но уже такое обжитое пристанище, и Жалел, приходя с работы в пустой, холодный дом, чувствовал щемящее одиночество. С нежностью вспоминал мать, отца, мучаясь сознанием вины: последнее время, занятый собой, он отдалился от них и теперь удивлялся собственной слепоте, глупой отчужденности от близких. Конечно, они были рядом, и он знал это, но странно, что человеческая душа, которая может вместить, казалось бы, столь многое, на самом деле ничтожно мала. Едва в твою жизнь вступают новые люди, как неизбежно вытесняют кого-то, и с этим ничего не поделаешь, потому что тебя не хватает на всех. Но близкие... Самые дорогие люди... Его как прожгло: почему же он так несправедлив и бессердечен к ним? Не в этом ли корень того, что и Тана покинула его?

Не выдерживая одиночества, шел к Халелбеку, чтобы скоротать долгий вечер. С Жансулу не заскучаешь — язычок, как шило: так и норовит уколоть. Как бы, между прочим, расспрашивала о Тане. О том, почему она уехала из Узека. Будто само собой разумеющееся, сообщила, что у Таны в Шетпе — жених. И откуда только взяла?

Жалел, не стал разубеждать: жених так жених. Не все ли равно... Возился с племянником, отшучивался, делая вид, что разговоры о Тане ему безразличны. Но разве проведешь Жансулу?

— Чем так переживать — поехали бы к ней да поглядели, что там за женишок выискался. Может, еще...

Она не договорила: на крыльце послышались шаги мужа. При нем Жансулу лишнего слова не произносила: ступала неслышно, накрывала на стол бесшумно. Жалел посматривал на нее, удивляясь перемене: “Ну и Жансулу!”

Брат приходил с буровой веселый, с азартом рассказывал о делах. Две скважины Халелбек провел с большим ускорением, и главное — пласты оказались очень продуктивными. Видно, и впрямь месторождение вытягивало крыло к юго-востоку, где и предполагалось в новом году развернуть основные работы.

Последнее время Жалел, встречаясь с братом, чувствовал себя несвободно. словно между ними легло нечто тягостное и горькое, мешавшее прежним искренним и доверительным отношениям. Эту натянутость Жалел объяснял тем, что брат в глубине души, наверное, осуждает его — не может не осуждать! — но не желает обидеть и потому старается не касаться обстоятельств, которые привели к разрыву с Таной. Как будто между ними на этот счет существовал молчаливый уговор — не трогать эту тему. При всем том Халелбек ни словом, ни намеком не давал понять, что не одобряет его поведение. Наоборот, несколько раз Жалел замечал в глазах брата сочувствие и какую-то затаенную печаль. Неужели и до него дошел слух о его встречах с Гульжамал? Что знал брат? И почему не хочет ясно и прямо, как раньше, сказать то, что думает?

За ужином они разговаривали больше всего о работе — благо, тема была неисчерпаема. В Халелбеке постоянно билась живая, ищущая жилка. Только недавно Жалел помогал рассчитывать

приспособление, облегчающее спуск и подъем инструмента, а Халелбек зажегся новым замыслом: как добиться, чтобы многократно использовать раствор? Технические идеи буквально роились у него в голове. Одна из них, на взгляд Жалела, была абсолютно бесперспективна, но тем не менее брат вместе с Тюниным взялись за ее осуществление.

— Ну зачем, спрашивается, заниматься укороченным квадратом, когда он не оправдал себя? — наступал Жалел.

— Надо своими руками пощупать. Вдруг оправдаем? Жалел заводился:

— Вечный двигатель изобретаешь. Смотри, смеяться будут. И над тобой, и над Тюниным. Да и зачем вам лишние хлопоты? И так с буровой не вылезаете...

— Авторитет укрепляю! — Халелбек поднимал палец, указывая им в пространство.—Зайдешь в контору — везде сидят парни с “поплавками” на пиджаках. Пусть видят: и мы, бурилы, не лыком шиты.

— Слушай, а что такое авторитет, по-твоему? — задумывался Жалел.—Из чего он складывается? Вот у Тлепова или Аширова он точно есть... А у меня?

— Не думай ты об этом. Все придет. Будешь как Салимгирей. Важный, седой...

— Нет, серьезно! Взять того же Малкожина... — Жалел взглянул на брата и не договорил: Халелбек аж позеленел.

— Ты мне про этого деятеля и не поминай!

— Случайно вспомнил,— пытался оправдаться Жалел.— Ты все-таки ответь.

— Авторитет, по-моему, вот что... Это когда бой и надо поднять людей в атаку. Ни криком, ни руганью не возьмешь. Перед смертью все равны. Давай, брат, сам из окопа первым выпрыгивай... Вот и весь авторитет.

В глазах его, темных-темных, возник переменчивый блеск и пропал, словно морозным инеем присыпало или, скорее, пылью белой запырило. Что видел сейчас брат? Что вспоминалось ему? И сколько же раз вот так, наяву, в воспоминаниях или снах приходилось ему первым вымахивать из траншеи или подниматься с

земли и идти под пули? И разве он, не воевавший, видевший войну в кино, может понять, что это такое?

“Эх, брат, брат! Родной ты мой человек!” Посидев немного, Жалел, прощался и, хотя Халелбек уговаривал остаться, шел домой. Свои у брата дела, свои заботы. Зачем еще добавлять...

Приходил в стылый вагончик, заваливался спать в чем был: свитере, тренировочных штанах, а если не спалось — пытался работать.

Но и работа не спасала от тяжелых раздумий. Более того, сомнения в правильности расчетов, произведенных ранее, — он определял новые точки для бурения — вдруг вспыхивали с необычайной силой. Приступ страха накатывался на него: зимой, когда каждый пробуренный метр дается с таким трудом, люди будут работать впустую! Он лихорадочно принимался за проверку исходных данных. Ошибки, кстати не очень серьезные, находились, но они казались непоправимыми. В бессилии рвал бумагу: “Бездарь! Безмозглое существо!”

Пытаясь успокоиться, откладывал работу. Ходил из угла в угол, внушая себе: “Взгляни на вещи трезво. Две жизни все равно не прожить, а ту, что дана, усложнять ни к чему. Тана не вернется, и с этим надо смириться. Остается работа, и ее надо сделать как можно чище. Разве нечто подобное тебе уже не приходилось переживать? Посмотри, какой путь пройден: разве ты прежде не сомневался? Тогда, когда работал с Жихаревым в Жетыбае, и потом, здесь, в Узеке, составляя первый проект разбуривания? Время все поставит на свои места. Но не давай себе распускаться. От неуверенности — один шаг до бессилия. Только никудышный человек может вести себя так, как ты. Работай, стиснув зубы!”

Беседы с собой Жалел называл психотерапией. Но помогали они мало. Правда, злость проходила. Оставалась горечь. Словно обманул кого-то или сам обманулся. Ложась спать, он не понимал, что же с ним происходит: нелепые жесты, неверные поступки... Пустота...

В один из таких приступов отчаяния его застал Джандос. Последние дни они почти не виделись: Тлепов занимался, как шутили в экспедиции, “танцем вокруг печки”. Она предназначалась

для прогрева устьев скважин, и когда ее изготовили, то агрегат скорее напоминал пушку на колесах, но прежнее название прилипло, и даже в официальных документах сооружение проходило как ПТА-1 (Печка Теплова — Алексеенко, первая).

От этой печки зависело, тем не менее, многое. Дело в том, что лабораторные исследования показали: узекская нефть высокопарафинистая и быстро застывает. Буровикам это ясно и без анализов: едва спала жара — нефть, хранившаяся в земляных амбарах, смерзлась, и ее можно было грузить лопатами, словно глину или битум. Нефть забивала скважины, и испытатели, чтобы начать работу, специальными ершами вышибали густые пробки. И такое узекским летом. Что же будет тогда зимой, когда нагрянут настоящие холода? Мангышлак, конечно, не Сибирь, но морозы и на полуострове крепкие: бураны же по ярости не уступают полярной пурге.

Для добычи вязкой нефти существуют различные способы, но для этого нужно специальное оборудование. Заказы на него размещены и по плану должны быть поставлены в первом квартале будущего года. Но не останавливать же буровые?! Теплов и оба Алексеенки придумали паровую печку, которая бы разогревала скважины. Она долго не шла, после доработок и усовершенствования “печку” все же раскочегарили, и Теплов, довольный: пошло дело! — после очередных испытаний решил заглянуть к Бестибаеву.

Дверь открыл Жалел. Он так распахнул ее, что едва не сшиб гостя. В проеме вагончика, словно в черной раме, высилась его напряженная фигура. Джандос шутливо поднял руки вверх:

— Сдаюсь, сдаюсь! Не стреляй!

Жалел улыбнулся: несколько вечеров подряд в клубе крутили заграничный боевик, в котором герои стреляли друг в друга через плечо, не поворачивая головы, и выглядело все это довольно лихо.

— В доме все спокойно, сэр! — ответил ему в тон Жалел. И уже серьезно: — Проходи, проходи! Рад, что зашел.

Он посторонился, пропуская гостя из тамбура в крохотную комнату. Джандос огляделся. В углу горбилась незастеленная

раскладушка. Маленький откидной стол завален исчерканными листами и схемами. На полу в пиалах с недопитым чаем мокли окурки.

Жалел вошел следом, зябко поежился:

— Сырость. И похолодало. Ты не снимай куртку. Тепла особого нет...

Но Джандос уже разделся, по-хозяйски выпрямил согнутый гвоздь, криво торчащий у притолоки, повесил на него куртку и старенькую, в пятнах, кепку. Пригладил ладонью седеющие волосы.

— Отопление не действует?

— Действует. Возиться неохота. Придешь с работы, пока то да се — ночь. Как старики уехали, так и...

Жалел говорил, а сам искал глазами, куда бы посадить гостя. Наконец шагнул к раскладушке, быстро застелил ее, накрыв сверху цветастым покрывалом.

— Садись сюда. Есть хочешь? Сейчас что-нибудь организую...

Джандос не сел — рухнул на жалобно скрипнувшую кровать, блаженно вытянул ноги. Последнее время он сильно уставал. Дни летели один за другим, и он почти не замечал их. Кажется, только что брился и вот опять стоит у зеркала, водит по щекам электробритвой. Значит, еще день пролетел.

Время измерялось не по часам, не сутками, и даже не неделями — несделанной работой. Ложась спать, Тлепов перебирал в памяти то, что не сумел закончить, повернуть, распорядиться, проконтролировать... И каждый раз поражался: опять не успел! Давно пора запасти картошку на зиму, но некуда ссыпать — недостроено овощехранилище. Детсад готов, а мебель для него не заказали. Нет леса — и срывается строительство глиноузла. А без него — зарез! Но главное — водопровод. Восемнадцать километров построили, еще каких-то три с половиной осталось — и не хватило труб. Где их взять — вот задача? И все надо, надо, надо... Растет поселок, все больше становится в нем людей, и то, что вчера еще казалось вполне достаточным, сегодня не годится, мало, узко... Узку слишком тесно в той одежде, которую спроектировали для него раньше. Масштабы не те! Кто предполагал, что разведка выйдет на новые структуры — в Тасбулат, Кургамбай, Тенге? База

снабжения растянулась. Уже временными дорогами не обойтись. Ясно, что нужен железнодорожный путь от моря в глубь песков.

И все проблемы неотложные, тянуть с ними нельзя. Наступающая зима ничего не простит, все припомнит... Вот почему Тлепов влезал в каждую мелочь, не жалея ни сил, ни времени. От того, как они подготовятся к зиме, зависело главное: подсчет запасов нефти!

Джандос постоянно себя ограничивал: книги, музыка, кино подождут. Сейчас не до них. Вот станет полегче — тогда... При одной мысли об этом — мечтательно улыбался: начнется другая, чудесная жизнь. Но все чаще закрадывалось сомнение: когда? Наступит ли такое время? Успеет ли? А если другой жизни не будет? Тлепов отгонял сомнения, стараясь не думать ни о чем, кроме работы. Размышлять о себе он не то чтобы разучился, — сознательно не хотел. Главное — Узек! Это его жизнь, его боль, его радость.

— А знаешь, печка-то наша пошла,— не скрывая удовлетворения, произнес Тлепов.— Гудит, ревет, трясется, но пар дает как надо!

— Ну?! Я уж думал — пустая затея. Столько мороки было...

— Замучились. Пар есть — давления нет. Увеличим обороты — температура падает. Если бы не Михаил Михайлович — не знаю, что и делали бы. Золотой старик! А ты один? Родичи-то где?

— В Майкудуке. У отца друг заболел. В больнице лежал, теперь дома. Не встает.—Жалел протяжно вздохнул: — Рак...

Тлепов промолчал, считая, что в таких случаях лучше ничего не говорить, нежели произносить обычные сочувственные фразы, которые, в сущности, никого не утешают. Те, кто не понимал Джандоса, принимали эту сдержанность за черствость, тогда как на самом деле он был человеком душевным, отзывчивым к чужой беде.

— Когда слышишь такой диагноз — теряешься.словно смертный приговор,— медленно проговорил Жале

Глаза их встретились, и будто живая трепетная нить протянулась между ними. Она связала их незримо, освободив от привычной скованности, с которой Тлепов и Бестибаев обычно держались в

отношениях друг с другом. Отчего она возникла? Из-за разницы в возрасте или, скорее, в жизненном опыте? Но сегодня она исчезла, не мешая быть им самими собой.

Тлепов тряхнул головой:

— Знаешь, иногда представляю, каким буду в старости. Беспомощным, развалившимся человеком? Ни желаний, ни страстей. Один опыт, накопленный за жизнь, который делает человека мудрее, но и расчетливее, осторожнее. Одним словом, гнетет...

Жалел слушал, а сам пододвинул к раскладушке низенький круглый столик, застелил газетой, поставил сковородку с дымящейся тушенкой и предложил:

— У меня есть немного коньяка, нарушим сухой закон, а?

— Нарушим! — весело согласился Джандос. — Выпьем за энергичную старость. За такую, как у Алексеенко. Или у твоего отца... В чем-то хотел быть как они. Как прочно жили, так и живут. Основательные мужики...

Они чокнулись, выпили. Жалел до дна. Джандос пригубил.

— В старину, когда рождался ребенок, его напутствовали: “Пусть век его будет долог, а час кончины — краток”. Глубокий смысл... — Он смотрел нежными, грустными глазами.

— Хорошо сказано: час кончины краток. Не хотел бы болеть долго. Мучиться самому и мучить других. Лучше сразу. Как Жихарев...

— Да... Какой геолог был. И человек... Душа! — Джандос, прищурясь, разглядывал стакан, покачивая его в руке. Поднес к губам:

— Светлая память! — Выпил не морщась. — Тоже так считаю: разом и навсегда.

— Да хватит об этом, — спохватился Жалел. — Накличем еще беду...

Джандос не отозвался, наклонил голову, словно что-то гнуло его или давило на плечи. Увидел книжку, лежавшую на полу рядом с раскладушкой, поднял, открыл наугад:

— “Зайди в мой дом, со мною подыши. Открой себя, как открываешь двери, сними одежды пыльные с души, доверься так, чтобы тебе доверить...”

Он читал медленно, вдумываясь в каждое слово.

— “Если поэт — прочти мне для души Саади о дороге дальней!”

Жалел, слушал. Стихи захлестывали душу.

— “Где жив один, найдется жизнь для двух, не обойди тот дом, где одиноко”.

Джандос захлопнул книгу, повторил:

— “Не обойди тот дом, где одиноко!” — Прикрыл глаза вздрагивающими веками.— Что за тайна в поэзии? По отдельности — слова как слова. Ничего особенного. Но поставит их рядом поэт и... Вот и жизнь так же... Дни один за другим несутся, — не углядишь. Кажется, все одинаковые. Но задумаешься, оглянешься,— бог ты мой, ведь ни одного дня похожего на другой и не было...

Он криво усмехнулся:

— Вот часто слышишь... Выйду на пенсию, куплю домик с садом. Буду копать в земле и заживу. Словно и не жил? Сад... Дом... Еще значки собирают. Или спичечные этикетки. Слово специальное придумали: филуменисты! И для чего? Зачем человеку собирать этикетки, а?

Джандос сделал предостерегающий жест, видя, что Жалел хочет перебить.

— Не хочу сказать, что это плохо. О другом. О смысле твоей... только твоей единственной жизни. Мне кажется, что она прожита достойно тогда, когда человек отдал ее всю, до последней минуты, любимому делу. Нужному делу. Конечно, возраст есть возраст, и для многих профессий такое невозможно. Но в абсолюте! Когда-нибудь, в будущем, медицина, в конце концов, сумеет сделать именно так. И речь тут не вообще о продлении жизни, а о продлении жизни творческой, деятельной. Честное слово, такому ученому, который бы вылечил человечество от старости,—поставил бы самый замечательный памятник. Представь только,—Джандос вытянул руку,— ты выбрал профессию в юности или еще раньше — в детстве! — и предан ей всю жизнь! Сколько же можно сделать чудесного! И как счастлив, будет человек!

— А неудачники? — бросил Жалел.— Они-то за что страдать будут? Это же каторга: всю жизнь тянуть лямку, ненавидя работу.

А он мечтает, к примеру, значками заниматься... Или каких-нибудь макроподов в аквариуме разводить...

— Неудачников не будет! — быстро ответил Джандос.— Наука определит генотип, проанализирует другие данные: психологические, эмоциональные, физические... И подскажет, чем человек должен заниматься.

— У-у-у, да ты за однолюбов! — оживился Жалел, вспомнив статью из какого-то журнала, где автор доказывал, что человек, если он хочет чего-нибудь добиться в жизни, должен посвятить себя одной, пусть узкой специальности.— А если человек увлекается живописью или стихи пишет... Как тогда?

— Серьезный вопрос! Могу сказать свое мнение: в принципе, конечно, человек должен развиваться гармонично. Но на практике каждое дело требует человека целиком. “Землю попашет, попишет стихи...” Такое возможно, но до определенного опять-таки предела. Балуетесь стихами — одно. Но если поэзия — жизнь? Возьми Пушкина, Есенина или Абая... Тут уж надо выбирать: или паши, или пиши... Любое занятие не терпит любовницы. Если, конечно, серьезно к нему относиться. Другого пути нет.

Он помолчал. Жалел сидел, незаметно разглядывая Тлепова. Он давно замечал, что лицо Джандоса разительно менялось к вечеру: глаза глубоко проваливались в глазницы, виски желтели, западали щеки. Достается ему, а уже не молод; ранения сказываются. Однажды они плескались под самодельным душем, и, когда Тлепов разделся, Жалел, поразился изуродованному телу: страшный шрам перерубал Тлепова пополам. Как он только выжил после такого?

— Все эти увлечения, или хобби, как еще их называют,— не что иное, как форма заполнения духовной пустоты. Своего рода бегство от жизни. От ее проблем. Элементарная боязнь...

— Не понимаю,—откликнулся Жалел.—Да ты поешь, поешь. Тушенка совсем остыла.

Джандос оглядел стол, словно впервые его увидел, выбрал лепешку. Сначала понюхал:

— Какой запах! Мать испекла?

— Да. Перед отъездом наготовила всего... Как бы я с голоду не умер...

Джандос отщипнул кусочек лепешки, смакуя начал жевать.

— И детстве больше всего их любил. Возьмешь еще теплую, сунешь за пазуху и к лошадям. На целый день. Кони меня и к геологии пристрастили. Начал замечать, где, какая и почему именно в этом месте трава растет, что им нравится. Потом стал задумываться над тем, как образовались земля, реки, моря, горы...

— А меня камни привлекали,—вспомнил Жалел.— Недалеко от гор Каратау рос. Целый корджун камней насобирали. К отцу заехал как-то знакомый геолог, я ему показал коллекцию, ну и заболел минералогией... Но ты не договорил про хобби. При чем тут душевная пустота?

— Сейчас-сейчас, поясню мысль.— Он потер ладонью висок.— Ну, предположим так... Малкожина ты знаешь?

— Знаю, конечно.

— О чем он мечтает? Как ты думаешь?

— Мечтает? — удивился Жалел.—Трудно сказать...

— Ну, все-таки? Как, по-твоему?

— Любит власть... Может, министром хочет стать. Или... Нет, не берусь гадать.

— С Ерденом, как ты знаешь, я учился, потом воевали вместе... Так вот его мечта — он мне сам как-то признался — именно дом с садом. Малкожин как раз из тех людей, для которых, как я понимаю, земля или там филателия — вроде последнего убежища. Послушаешь их — всю жизнь только и мечтали разводить цветы, выращивать какие-нибудь необыкновенные огурцы величиной с оглоблю. Ерден, например, в придачу к дому хочет еще телескоп завести, на звездное небо любоваться...

— Разве плохо? Я бы и сам взглянул. А то ходишь, уткнувшись в землю, и на небо не посмотришь. Нет, я тоже не прочь...

— Не прочь? Но что другое, кроме работы, может оправдать твою жизнь? Предан овощеводству — выращивай тыквы и помидоры. Астрономии — наблюдай за небом. Если ты всю жизнь мечтал об этих занятиях как о чуде, то за каким чертом подался в геологи? — Джандос строго смотрел на него, будто испытывал.— Зачем обманывать себя и других, что нет для тебя работы важнее и любимее? Наконец, если уж смотреть с другой точки зрения:

занимать чужое место? В институте и потом в геологической партии, экспедиции, управлении или министерстве... Везде не на своем месте...

— Утрируешь,—не согласился Жалел.— Способности у каждого свои. Разное воспитание, возможности. Наконец, судьба. Все это нельзя так просто сбрасывать со счета. Что же касается Ердена... —Он немного помолчал, потом с неожиданной горячностью продолжал: — К нему несправедливы. Он — человек долга, преданный делу не меньше других. Только по-своему. А дом и сад... Ну что же, у каждого свое...

— Спорить не стану, — сухо вато заметил Джандос.— У меня другие соображения, но навязывать их не хочу...— И закончил философски, как бы черту подвел: — Спор — это вроде войны. Только средства другие. Противники выступают вооруженные стрелами иронии, копьями доказательств или в решающий момент взрывают, словно петарды, неожиданные аргументы, чтобы оглушить противника. Если разговариваешь с другом — зачем спорить? Советуйся, размышляй...

— Вот что! Если не поешь,— шутливо пригрозил Жалел,— начну спорить. Куда годится?! Одну лепешку жуешь! — И, видя, что гость потянулся к сковороде, предложил: — Сейчас подогрею. Один момент!

Он подхватил сковороду и понесся к двери. В тамбуре мать устроила что-то вроде крошечной кухоньки. В идеальном порядке хранила припасы: лук, картошку, муку, крупы... Казаны большие и маленькие, самовар, чайники, миски... На кирпичках стояла электроплитка, а рядом керосинка, на тот случай, если отключат электричество,— случай в Узেকে довольно частый. Подогревая тушенку, мелко кроша в нее лук — вспомнил, что Джандос его любит,—Жалел припоминал свой разговор с Малкожиным, который вдруг странно пересекся с мыслями Тлепова о Ердене, с рассуждениями о том, ради чего стоит жить. Он поймал себя на мысли, что ему приятно снова и снова вспоминать разговор с Малкожиным, и не сразу понял почему...

Ерден пришел в гости незадолго до своего отъезда из Узека. Он совершенно покорила отца вежливостью, обходительностью,

вниманием, а главное, Бестибай нашел в нем отзывчивого слушателя. О, как это непросто — уметь слушать! Немало на свете болтунов, что заговорят любого до полусмерти, но слушателей... Попробуй, найди среди своих знакомых хоть одного, который бы выслушал тебя до конца. Так нет же! Ты еще и рта не успел раскрыть, а тот яростно брызгая слюной, рассказывает о себе и детях, о соседях и болезнях... Хоть затыкай уши и беги! Но куда там, болтун вцепился в тебя мертвой хваткой, и, пока не переслушаешь все его нудные истории, не отвязаться от липучего языка.

Ерден умел слушать. Быть может, это качество перешло к нему по наследству от отца-муллы, который на своем веку узнал столько всякой всячины от людей, что почти перестал говорить что-либо, кроме молитв. Во всяком случае, Ерден помнил его наставление: “Молчание, сынок,—половина богатства”.

Малкожин буквально впивался в говорящего, проникался его мыслями, чувствами, как хороший актер. Собеседник всегда улавливал это и потому говорил с ним откровенно, не чинясь и не стесняясь. Как бы ни спешил Ерден, как бы ни надоел ему говорун — он никогда не перебивал его: пусть человек выскажется, но если начнешь торопить или расспрашивать — напрасно потеряешь время.

Бестибай быстро понял, что гость в их доме — посланец самого аллаха. А старик любил рассуждать, и было ему что вспомнить. Они долго беседовали. Об истории Мангышлака. О геологах, с которыми довелось работать Бестибаю. О славном роде жанбоз. О том, какая жизнь была здесь до революции. О колодцах. О лучших скакунах... Любознательности Ердена, казалось, не будет конца, и Жалел почти уверился, что Малкожин действительно хотел познакомиться с отцом и потому пришел. От этой догадки как-то легче стало, словно он ждал весь вечер чего-то тайного, не совсем чистого, от чего на душе было совсем погано. Засидевшись в гостях допоздна, Ерден попросил его проводить — он плохо видел в темноте. Ночь была безлунная. Пахло пылью, нагретым за день камнем, иссохшими травами. Они двигались в чернильной тьме: Жалел чуть впереди на правах хозяина, Малкожин сзади.

— Замечательный у вас отец,— донесся до него голос Ердена.—Человек прямой, собеседник интересный... Сегодняшний разговор с ним — праздник. Уходить не хотелось...

— Осторожнее! Канава,— сухо предупредил Жалел.

— Где?

— Левее. Берите левее...

Но было поздно: Ерден ввалился в канаву и, чертыхаясь, выбирался из нее, держась за протянутую руку Жалела. Ладонь у Малкожина была горячей, цепкой.

— Безобразие! Весь поселок перекопали. И куда Тлепов смотрит? Завтра же с ним поговорю.

Он говорил громко, решительно и сурово. Жалел шел, отрывисто предупреждая о колдобинах и ямах: их и впрямь хватало. Глаза его, привыкшие к темноте, различали силуэты домов, перекрестья рам, в которых темно-синими пластинами проглядывали стекла.

“Да, расстроились к зиме. Успели! Никто в палатках да юртах зимовать не будет. Значит, легче теперь будет приживаться народ... Теперь бы котельную пустить — и короли!”

Малкожин поравнялся с ним, вкрадчиво сказал:

— Знаете, о чем сейчас подумал? Несмотря на разницу в годах, мы с вами, Жалел Бестибаевич, похожи. Может быть, поэтому мне и хотелось познакомиться с вашим отцом. Думаю, что это он передал вам и прямоту, и вдумчивость, и серьезное отношение к работе, и требовательность...

Последнее слово произнес с нажимом, с особым выражением, которое тем не менее Жалел не мог уловить. Стараясь скрыть непонятное, глухое раздражение, Жалел бросил:

— Все дети похожи на родителей. Между прочим, отец мне — неродной...

— Да-а-а? — протянул Ерден удивленно. Вздохнул: — А я думал...

Они молча прошли мимо столовой, где горел огонь, и слышались женские голоса, плеск воды — видно, думывали посуду. В отличие от Жалела, ступавшего неслышно, Ерден топал шумно, дышал тяжело, будто взбирался в гору.

“Да он же пожилой, изработавшийся человек,— с жалостью подумал Жалел.— Зачем же я вместе с другими неприязненно и с предубеждением отношусь к нему?..”

Ерден как будто угадал, о чем размышлял Жалел.

— Требовательность к себе и к другим, — задумчиво произнес он, — дается нелегко. Сколько баталий приходится выдерживать. Сколько нервов и сил надо потратить, чтобы доказать очевидные вещи. Вы меня понимаете?

— Да, нелегко убедить в своей правоте, когда идешь против течения, — согласился Жалел.

— Конечно, любят добреньких, сладеньких, тех, кто гладит по головке. Я знаю, что про меня говорят, — с неожиданной обидой произнес Малкожин.— “Опять Малкожин за свое: “План! План!” Надоело!” Но разве я требую безусловного выполнения производственного задания для себя? Нет! В этом меня никто не смеет упрекать. Действую так, как диктуют интересы государства.

Жалел перебил его:

— Случается ведь, что люди, любящие по любому поводу или без повода произносить патриотические речи, на самом-то деле преследуют свои, не очень-то благовидные цели... Вот и перестаешь верить таким людям.

— Что ж... К большому кораблю всегда пристаёт больше ракушек. Снять их — и вся недолга. Двадцатый съезд — яркий для нас пример.

Они почти дошли до барака, и Ерден, мурлыкавший какой-то давнишний мотив, остановился.

— Вспомнил сейчас один случай. Дело было в войну. На Северо-Западном фронте. После боев отвели нашу часть на переформировку. Мылись, чистились, латали одежду. Пришли награды. Построились, слушаем приказ. Вызывают из строя офицера, чтобы вручить орден Красной Звезды. Выходит, благодарит и отказывается от награды. Говорит, что не заслужил... А вот его товарищ боевой достоин Красной Звезды. И просит отдать орден товарищу. Представляете?

— Я не воевал... Трудно понять. Но удивительно, конечно. А что же дальше-то?

— Дальше... Орден вручили другому, а я до сих пор вспоминаю свой поступок.

— Так это были вы?

— Да. И думаю, что поступил правильно. Надо стараться всегда быть честным и перед собой, и перед людьми. В любых обстоятельствах...

Ерден проговорил все это непосредственно, искренно. Задумался, словно припоминая что-то.

— Наша работа на Мангышлаке — тот же фронт. Разведка Узека требует немалого мужества, дерзости, самоотверженности. Да, собственно, кого убеждаю? Мы ведь с вами единомышленники... Не так ли?

— Работаем, насколько хватает сил и мозгов,— неопределенно ответил Жалел. Его всегда коробили подобные заявления. “Делай свое дело как можно лучше,— считал он,— а уж об остальном предоставь судить времени...”

— От каждого многое зависит. И, прежде всего, как он понимает и выполняет свой долг. Потому и твержу: “План! План любой ценой!” Для нас план — это боевой приказ Родины.

— Любой ценой? Значит, заранее расписаться в том, что не можешь как следует наладить дело? Правильно вас понял?

— Совершенно с вами согласен.— Малкожин пришел в несвойственное ему и непонятное для Жалела волнение.— Именно неумение организовать дело! Тлепов не совсем та фигура для Узека. Не те у него масштабы для такого известного месторождения. Поймите меня правильно: Джандоса знаю давно и хорошо. Уважаю его. Но дело, наше дело — оно прежде всего... Тлепов, как бы точнее выразиться... Ну, вы понимаете... Каждая птица садится там, куда донесли ее крылья. Нужен другой человек. Молодой, энергичный. С большим кругозором и знаниями. Руководитель другого уровня. Пора жесткого руководства прошла и, надеюсь, больше не вернется.

Жалел изумленно слушал: он-то имел в виду вовсе не Тлепова, когда говорил о плане любой ценой, а именно Ердену. И вот как все повернулось: будто он, Жалел, подал мысль, что Тлепов уже не тянет.

Ерден доверительно наклонился:

— Вуду разговаривать с министром и доложу о ваших соображениях.

Он взял Жалела за локоть, словно придерживал.

— Я вовсе не о том,— смешался Жалел.— Хотел только сказать, что план планом, а люди...

— Скромность, конечно, украшает, — перебил его Ерден,— но до определенных границ. В министерстве вас ценят. Внимательно следят и доброжелательно опекают... Думаю, все будет хорошо.

— Что вы имеете в виду?

Они стояли близко, словно заговорщики, и Жалел почувствовал, как между ними незримо проползло что-то скользкое, нечестное, от чего пахнуло холодом на его душу. Ему показалось, что Малкожин улыбается: тонко, язвительно.

— Не спешите! Всеу свое время! — в голосе Ердена уже звучали повелительные нотки.— Надо хорошенько обдумать, а потом...

— Что обдумать? — попытался уточнить Жалел.

Ерден не ответил, сказал на прощание, что рад был познакомиться с его семьей и еще больше тому, что понимают друг друга. Он шагнул к бараку и через несколько шагов растаял: тьма поглотила его.

“Что же произошло? Выходит, невольно дал повод подумать, будто Тлепов... Ерунда какая-то. Недоразумение! Завтра же поговорю с Ерденем, и все станет на свои места...”

Он шел домой, браня себя за безволие, за то, что не нашел сразу решительных слов.

С Малкожиным он так и не поговорил. Сначала что-то помешало, потом уехала Тана, и было совсем не до Малкожина. Да и о чем, собственно, идет речь? Случайный разговор...

Жалел вернулся в комнату, поставил скворчащую сковородку.

— Попробуй!

Тлепов положил на тарелку немного мяса, взял помидор, не спеша разрезал его на мелкие ломтики.

— Искусство приготовления пищи — древнейшее и благороднейшее занятие,— говорил он, склонившись над тарелкой,—

Пожалуй, ты немного неправ: можно быть геологом и хорошим поваром. Одно другому не помеха. Но в остальном...

Жалелу была видна только часть лица Тлепова: глубокая складка падала от носа к строго очерченным губам. Лоб, щеки и даже шея резко подсечены усталостью и нездоровьем. Белки глаз схвачены красноватой паутиной, вплетенной в корешки глубоких морщин, идущих от век.

“Да, Джандос и в самом деле сдает... Старые болячки дают о себе знать. Узек такая махина, что любого высосет. А колесо будет раскручиваться все быстрее, быстрее, набирая скорость. И никому нет дела, какой ценой достается его неустанное, стремительное и безжалостное движение. Ерден человек дальновидный и на всякий случай ищет Тлепову преемника. Что-же в этом предосудительного?”

Так думал Жалел, глядя на гостя, спокойно и с удовольствием ужинавшего в его доме, не признаваясь себе, что намек Малкожина ему польстил. В его возрасте получить под начало Узек — да о таком можно только мечтать! Нет, он человек не конченный. Тана еще услышит о нем и пожалеет...

— Человек, прежде всего, существо работающее. Если он бездельничает, то начинает гнить и разваливаться. Когда-нибудь самым страшным наказанием будет именно запрещение трудиться. Точно, точно. Я уверен в этом! — рассуждал Тлепов. — Вот почему все эти хобби...—слово “хобби” Джандос произнес тягуче и презрительно, — для людей слабых. Пусть они прикрываются чем угодно: увлеченностью, интересом, склонностями, но суть одна — они не любят по-настоящему свое дело, недостаточно искренне ему преданы. Сколько людей — столько и оправданий: виновата семья, обстоятельства, недруги... Мало ли что можно придумать, чтобы оправдать собственное безволие! Все это отговорки. Уверен: сложишься так, как они желали бы, — все одно ничего бы не добились. Работать творчески, к примеру, как твой брат или Михаил Михайлович Алексеенко, они не могут. Не способны отдаться без остатка своему ремеслу. Так, чтобы взяться. — Джандос сжал в кулак руку, — и уже не отступать. Пусть ходит чуть живой. Пусть вот-вот рухнешь от усталости. Пусть кажется, что еще одно усилие —

и вообще отправишься на тот свет. Пусть! Вопреки всему делаешь самое главное в своей жизни — свою работу! Каких бы усилий она тебе ни стоила. Выдерживают такое не все. Но тем большего уважения они достойны. Так ведь?

— Пожалуй... Но не каждому дано испытать такое всепоглощающее чувство. Это вроде любви... Любят все, но так, как Меджнун или Козы-Корпеш,— единицы.

— Согласен. Задача в том, чтобы дать раскрыться каждому человеку. Без Лейли не было бы Меджнуна. И без Джульетты — Ромео. Гения по-настоящему может понять только гений.

— Но ведь найти себя — мало, — упрямо возразил Жалел. — Сколько погибло и губится талантов.

Джандос усмехнулся:

— Талант не все. К нему нужен характер. Такой, чтобы выдержать и бремя успеха, и груз поражений или непризнания. Последнее, кстати, бывает чаще. Характер должен быть равен таланту. И тогда человек не сломается, не раскиснет, не станет зависимым от обстоятельств. Кстати, это касается и любви, коли ты завел о ней речь. Это чувство проверяет человека. Выворачивает его наизнанку, как, может быть, ничто другое. Разве что война...

— У нас сегодня не разговор, а прямо заседание генерального штаба...

— А жизнь — не увеселительная прогулка, — покачал головой Жалел, и по лицу его переместились свет и тень, так что оно показалось вырубленным из какого-то желтовато-красного металла. Непреклонная твердость стояла в его глазах, и что-то защемило, защемило у Жалела внутри: Тлепову во сто крат тяжелее дается разведка Узека, чем ему. Потому как у него всегда есть надежда: Джандос прикроет, посоветует, поправит. А вот его, Тлепова, кто поддержит? И сразу же поправил себя: а Халелбек? Алексеенко или Тюнин? Вот же их опора...

Голос Джандоса звучал мягко, тихо, как бы издалека, и в том, что он сейчас говорил, была большая, настоящая правда.

— Работа и любовь — две стороны жизни, от которых зависит все остальное. Я, например, не верю, что тот, кто сподличал в любви, не поступит так же и в своем деле.

Тлепов брезгливо сморщился.

— Не хочу сказать, что от любви не бывает несчастья. Нет! Но только от человека зависит: сумеет он устоять или... Но в победе над собой или над обстоятельствами и заключается подлинное счастье. Безвольный не может быть счастлив. Да и что это за счастье, если оно сваливается с неба, а не заработано горбом?

Все то, о чем Джандос сегодня доверительно говорил, Жалел чувствовал раньше подсознательно, а теперь видел отчетливо и ясно. Его охватило то давнее, забытое и блаженное состояние, когда в детстве после болезни — у него была скарлатина, и он почти месяц лежал в больнице — отец привез его на джайляу, и после серых больничных стен, после спертого недужного воздуха он вдруг очутился посреди весенней степи. Пылало солнце. Переливался голубой-голубой воздух. Огромный конь, густогривый, коричнево-красный, вез их. Отец держал повод мощной, уверенной рукой и был весел, курчав и тоже огромен, как конь. Потом, помнится, Жалел сидел на земле, сомлев от воздуха, солнца, простора; перебирал цветы, которые светились, как таинственные сосуды. Отец принес целую охапку белых ромашек, и среди них была одна, особенно большая и крупная. Как звезда. Она уже отцветала, белые лепестки-крылышки держались еле-еле, и едва подул ветер, как они разлетелись, истаяли в небе.

Он не то чтобы вспомнил — и степь, и цветок, и себя, сидящего на земле, а увидел как бы со стороны: худой мальчик в голубой рубашке смотрит вслед улетающим лепесткам. “Наверное, цветы, как и любовь, венчают путь человека, если он шел правильно...” Жалел не успел до конца додумать эту мысль — голос Тлепова, настойчивый и убежденный, донесся до него:

— Есть поразительное растение — жузгун. Да ты видел его...

“О чем это он? Жузгун... Растение, похожее на проволоку...”

— ...Иногда я думаю, что наша экспедиция — вроде этого растения: вцепилась в пустыню, и ничто ее скovyрнуть не может. Ни жара, ни пыльные бури, ни безводье. Не говоря уже о тяжелой нефти...

— И чего ты жузгун вспомнил? Ни цветов, ни листьев. Какое-то ботаническое недоразумение.

— Да без этого недоразумения нас бы давно барханы задавили — и охнуть не успели.

— Хорошо-хорошо, понимаю, что каждая травинка — нужна. И жузгун твой тоже...

— В природе, друг мой, все взаимосвязано, — назидательно произнес Тлепов. — И человек как бы захватывает в себя всю природу, как вселенную. Потому в нем и намешано всего: растения, моллюски, рыбы, обезьяны... Слышал такое слово: э-во-лю-ци-я?!

— Значит, мы с тобой непонятно кто? То ли растения, то ли рыбы, то ли моллюски? — насмешливо спросил Жалел.

— Конечно! Вот почему, когда идешь по степи, так хорошо и покойно на душе. Мы соприкасаемся с природой — иными словами, видим жизнь: вот бархан ползет, жузгун его останавливает. Ветер несет песок... Все живо! И мы как бы соучаствуем в этой жизни.

“Верно! То же самое я чувствовал по утрам на холме”, — подумал Жалел, а вслух все так же иронически произнес:

— Согласен. Но чего во мне больше, к примеру? Растения? Птицы? Обезьяны?

— Сейчас определим, — серьезно сказал Джандос.

Тлепов уставился на него, буравя взглядом и как бы действительно стараясь разглядеть в нем нечто скрытое: панцирь? плавники? крылья? Смотрел долго-долго. Взгляд его становился все задумчивее, словно вдруг увидел в Жалеле то, чего вовсе не ожидал.

— Ну? Так кто же я? — поежился Жалел. — Или что?

— Изучаемый организм классификации пока не поддается, — деланно весело сказал Тлепов, поднимаясь с раскладушки. — Пора мне...

И чему-то улыбнулся.

В один из вечеров Жалел решил навести в доме чистоту и порядок. Верно говорят: любую работу радостно делать, была бы охота. Азартно перемыл посуду, вычистил, выскреб казаны, кастрюли и чайники, выгреб накопившийся мусор — откуда он только берется? — надраил полы. Возясь в тамбуре, наткнулся на пучок сухих былинки. Хотел выбросить, да что-то остановило: то

ли привлекли красивые шарики, прилепившиеся к стебелькам, то ли бросились в глаза бледно-зеленые накрапы, просвечивавшие сквозь восковой покров умершего растения...

— Ух ты! Жузгун! Откуда взялся?

Провел по одеревеневшим стеблям пальцами, потрогал крошечные плоды — они были покрыты седыми жесткими щетинками и слегка кололись. Слабый запах увядшей травы почудился ему, и он даже понюхал былинки, но они ничем не пахли: смерть уже выжгла и запах.

“И все-таки жизнь, наверное, еще таится в плодах”—Подумал Жалел, собирая в ладонь семена. Вышел на крыльцо, подбросил: “Летите!”—и ветер подхватил их, как когда-то ромашковые лепестки на джайляу.

Он представил, как помчатся по степи волосатые шарики, обгоняя песчинки и друг друга, и будут носиться долго, до самой весны, пока не настигнет их влага, не прибьет к земле и семена не прорастут. Но сколько же случайностей подстерегает живую хрупкую ткань! Песок душит растение, сжигает солнце, ветер уносит из-под него почву. Сколько гибнущих растений встречается в пустыне: тяжелая зеленая крона лежит на песке, и ветер шевелит обнаженные корни, словно мертвые волосы.

Но если повезет, то жузгун сможет выжить. Всеми своими веточками, отростками, стебельками жузгун задерживает возле себя песок, напоминая солдата, закапывающегося в землю под обстрелом. И если не утихнет ветер, то, глядишь, растение снова спряталось в песок. Только зеленые верхушки, как клювики, выглядывают из желтого сугроба.

Теперь все подчинено одному: успеть! Не дать задушить себя! Жузгун растет тем стремительнее, чем быстрее засыпают его барханы. Каждый отросток выбрасывает придаточные корешки,—недаром у растения еще одно название: семиколенник! —опутывая бархан со всех сторон. Проходит время, и недавно грозная, огнедышащая, курящаяся на вершине песчаная гора приостанавливает свой бег по пустыне, побежденная гибким, настойчивым и терпеливым растением.

Жалел положил иссохшие былинки на место, раздумывая о

полушутливых-полусерьезных словах Джандоса о том, что в каждом человеке есть что-то от растения, невольно улыбнулся: “Уж если кто и похож на жузгун — так сам Тлепов!”

Он представил Джандоса, казавшегося значительно старше своих пятидесяти четырех лет и все же сумевшего сохранить в себе что-то мальчишеское. Молодость, как бы взятая в раму, на которой безжалостное время оставило борозды, морщины, складки... Зато взгляд лучился странным, затаенным блеском. Это были глаза геолога — вечного кочевника, привыкшего целыми днями видеть небо, солнце, безоглядный пустынный горизонт. Он схож со взглядом моряка или рыбака, проплававшего много лет,—такой пронзительный свет, отраженный от моря, видится в них. И не только в глазах заметен этот отблеск. Он читается в каждом движении, жесте, шаге, невольно передается другим. Те, кто окружают Тлепова, нередко попадают под его обаяние, быть может, неосознанно подражая ему в собранности, прямоте или в спокойной устоявшейся силе.

Жалел на мгновение поставил Тлепова рядом с Малкожиным и поразился их несовместимости. Он увидел длинный, приносящийся нос Ердена с нервными и крупными, как у породистой собаки, ноздрями; любезную и вместе с тем неуловимую презрительную улыбку, наконец, гладкие, пухлые ладони, которые постоянно находятся в движении: ищут, перекалывают с места на место, поглаживают, переворачивают, ощупывают. Безразлично что — ручку, бумагу, книги, — лишь бы был под руками какой-нибудь предмет.

И вместе с тем, как бы ни отличались друг от друга Тлепов, Малкожин, Алексеенко или Халелбек, все они, в том числе и он сам, впряжены в одну арбу. Вся жизнь их сейчас в Узеке и для Узека. Вся? У Тлепова — бесспорно. Ведь он гол как сокол: ни семьи, ни родных... Только работа. Он связан с Узекем столькими корнями, так врос в него, что представить их порознь просто невозможно.

А Ерден? Он, конечно, по-своему предан делу, болеет за разведку, но существует отдельно, сам по себе. Это как в той альпинистской связке, о которой рассказывал ему приятель, увлекав-

шийся горными восхождениями: идут вместе, тянут сани с грузом, но один только делает вид, что упирается изо всех сил, хотя для блезиру пыхтит и надувается не меньше товарищей. Если же последить за ним, то заметишь: веревка от саней, что перекинута через плечо хитреца, время от времени провисает...

Пожалуй, так и Ерден. Узек — всего лишь эпизод в его жизни или средство для достижения цели. Но какой? Почему-то не задумывался об этом раньше. Действительно, должен же быть и у Ердена свой интерес. Иначе бы он столько не шумел и так бы не вел себя.

Неожиданная мысль, еще не вполне оформившаяся, вдруг поразила его, и Жалел даже остановился: Ерден же его купил! Поймал на крючок, посулив место Тлепова... Жалел сжал кулак.

“Он же ясно дал понять: Джандос, по его мнению, не тянет. Следовательно, вопрос только во времени: сколько еще Тлепов продержится. Надо же такое придумать: Тлепов не тянет! Это Джандос-то, выкладывающийся до конца? Начиная с колышка. Без воды, без жилья. Без дорог... И вот не тянет... Так считает Ерден, и, пожалуй, в министерстве ему поверят. Он курирует Мангышлак, и кому, как не ему, лучше знать обстановку на полуострове? Кроме того, никто не посмеет обвинить его в пристрастности или недобросовестности: ведь сам Малкожин и рекомендовал Тлепова начальником Узекской экспедиции. Так вот в чем тонкий расчет: когда Джандос выложится — убрать его. Дескать, свое оттрубил. Нужны свежие люди. А Тлепова сейчас оторвать от Узека — все равно что чабана от отары, которую он выходил, вынянчил в снег, стужу, бескормицу... Берег пуше глаза, недосыпая, выбиваясь из сил... Убрать Джандоса — все равно что убить: второго Узека в его жизни уже не будет, годы не те. И ведь Ерден наверняка прикроется интересами дела, скорейшей разведкой месторождения и прочим...”

Взбудораженный, разгоряченный Жалел стоял посреди вагончика, не зная, что делать. Подошел к темному окну. За ним ничего не было видно, словно все залито черной водой.

А он-то хорош! Распустил перья, когда Ерден похвалил его. И даже себе в этом не признавался, что был рад. Как же, из главного

геолога превратиться в начальника экспедиции! А Тлепов? Ну, в душе мечтать-то ведь можно... Вот чем оправдывался...

Он прижался лбом к холодному стеклу: гладкая твердая поверхность успокаивала.

...Джандос, наверное, даже и не подозревает, какой дамоклов меч висит над ним. Вкалывает день и ночь... В то время как Ерден ожидает его промаха, ошибки, неудачи. И уж тогда... Нет, не бывать такому! Надо предпринять что-то. Кому-то рассказать. Но кому? Джандосу? Тот невозмутимо пожмет плечами, обронит: “Мышиная возня!” — и пальцем не пошевелит, чтобы защититься. Он же гордый. Посчитает ниже своего достоинства обсуждать все эти дела.

Попросить командировку в Алма-Ату и потолковать с Ерденем? Смешно. Он же весь в панцире, в броне. Непробиваем. Его и смутить-то даже вряд ли удастся. Да и какие, собственно говоря, у него аргументы? Случайный ночной разговор? Еле уловимый намек, который можно истолковать и по-другому: обычная любезность, которую, прощаясь, гость говорит хозяину. Интуиция? Ну, это уж вовсе не доказательство. Ерден спокойно ответит: “Не надо придумывать, молодой человек! С чего вы взяли, что Тлепова собираются снимать? Мне, по крайней мере, об этом ничего не известно. Были высказаны кое-какие соображения? Ну и что из того? Они вовсе ничего не означают...”

Так, или примерно так, ответит Ерден и оставит его в дураках. Нет, нужно что-то другое. Если снимут Джандоса, он уйдет вместе с ним. Кем бы его ни назначили. Пусть наказывают, понижают... Будь что будет!..

Он прошелся по комнате. Нестерпимо ломило виски. В горле стоял сухой ком.

...Уж не заболел ли? Еще не хватало свалиться... Но что же придумать? А если... Написать министру? Ведь он как будто неплохо относился к нему. И какие у министра основания не доверять ему? Ерден, конечно, может напеть, но все ж таки он, Жалел, работал в министерстве, и его знают не со слов Малкожина. А что? Идея. Только надо спокойно обдумать, четко и доказательно сформулировать...

Он присел к столу, взял лист бумаги, ручку, написал первую фразу: “Пусть Вас не удивляет мое письмо, но обстоятельства сложились так, что вынужден обратиться лично”. Зачеркнул. Надо, чтобы в первом предложении уже была суть дела. Слова никак не выстраивались. В голове стоял тонкий звон, словно таяли льдинки. Почему-то мешал Малкожин. Виделась его бесплотная усмешка; слышался вкрадчивый голос: “Торопитесь, спешите, молодой человек! Я и раньше вам советовал: спокойнее! Все придет в свое время...”

Может, и впрямь он домыслил за других? Воображение услужливо, и, кажется, он все же нездоров. Разве можно сочинять такую бумагу в горячке? Хотя бы дождаться утра, собраться с мыслями и уж тогда...

Как говорил Малкожин: “Надо стараться быть честным перед собой и другими”. Только интересно: сам-то Ерден следует этому в жизни или у него припасена для себя более удобная житейская мудрость? Но как же тот случай на фронте, когда орден по настоянию Ердена отдали товарищу? Или и тут ложь? Нет, похоже на правду. Ерден не мог солгать в таком... Тогда как же совместить всё? Выходит, Жалел просто-напросто собрался кляузничать? Хочет оговорить уважаемого человека?

Жар и сомнения сжигали его. Жалел сидел за столом неподвижно, устало прикрыв воспаленные глаза. Чистый лист лежал перед ним.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Малкожин возвращался из командировки с сознанием хорошо выполненной работы. С утра он закруглил последние дела, и они сложились именно так, как рассчитывал, затем неторопливо, со вкусом пообедал в ресторане — не в общем зале, где столы застелены липкой клеенкой и кисеей висели мухи, а в чистой боковушке, отведенной специально для значительных гостей. Под рокот вентилятора, на хрустящей скатерти Ерден съел несколько ломтиков осетрины, салат из помидоров, крошку с плавающими в ней кусочками льда, потом какие-то необычные, по особому заказу изготавливаемые каспийские колбаски, оказавшиеся действительно вкусными, и даже выпил сто граммов армянского коньяка, что позволял себе не часто.

Вернувшись в номер, темноватый и неуютный, заставленный разнокалиберной старомодной мебелью, Ерден не спеша собрался, почитал вчерашнюю “Правду”, немного полежал на двуспальной, скрипучей, как седло, кровати, а потом, взглянув на часы, решил подождать машину на улице. Настроение у него было самое благодушное, с несколько философским направлением. Сытый, порозовевший, он прохаживался перед гостиницей, ожидая машину, которая должна была доставить его тело к самолету, ибо душой Малкожин уже был дома. Представлял, как прилетит, войдет в квартиру и его встретит обрадованная жена, а за ней, смешно переваливаясь, выбежит внучка, которую он очень любил. Ерден откроет портфель, вручит малышке заранее приготовленный подарок — куклу, и ему будет хорошо и покойно. Он наконец-то дома. С каким же наслаждением погрузится в ванну, отмываясь от этой потной, пыльной, нелегкой для его лет командировки, требующей постоянного напряжения, осторожности и гибкости.

Он будет лежать в голубоватой воде, наблюдая за бликами, играющими на кафельных стенах, вдыхать острый лесной запах: Ерден любил принимать хвойные ванны, способствовавшие, как уверяли врачи, поднятию тонуса организма; до мелочей обдумывать завтрашний день и главное событие — доклад министру об

узекских делах. Дюжина листов, вчерне исписанных с двух сторон, лежала в портфеле, и если не обманывает чутье — а оно еще не подводило Ердена,— все должно пройти удачно. То, что рано или поздно последует после доклада, Ерден представлял так ясно, так отчетливо, словно это уже произошло и приказ, в котором он назначался заместителем министра геологии республики, был подписан. Конечно, возможны варианты, уточнения, отклонения или даже изменения в общей линии поведения: жизнь есть жизнь, всего не предусмотреть, будь хоть семи пядей во лбу, но конечный результат,— в сущности, важен только он, промежуточные этапы не в счет,— не вызывал у Малкожина сомнений. Да и разве не заслужил он этого поста всей своей работой? Сколько сил, старания, расчета приложил, чтобы выйти на финишную прямую. Еще только запахло в воздухе организацией Узекской экспедиции, а он уже многое обдумал, предусмотрел, вычислил. Разве не с его помощью Тлепова сделали начальником? Пусть ерепенится, пусть делает вид, что не подозревает, кому обязан назначением, но факт остается фактом: если бы не он, Ерден, однокашник и фронтовой товарищ, сидеть бы тебе, милый дружок, на прежней должности в Жетыбае на вторых ролях, пока не отправили бы на пенсию или не перевели еще в какую-нибудь дыру, почище Жетыбая.

А взять сумасброда Бестибаева? Разве не из его отдела вылетел этот птенец, уже мнящий себя орлом?! Все-таки удивительна жизнь: назначение Бестибаева в свое время не очень обрадовало Малкожина. Он считал, что на должности главного геолога Узeka должен быть свой человек, а Бестибаев слишком ершист, неуживчив, не предскажешь, какой фортель выкинет. Одним словом, злой человек или добрый, но, прежде всего, думай о себе. Конечно, на коллегии, когда обсуждалась кандидатура Бестибаева, он не стал с пеной у рта доказывать, что молодой геолог не совсем подходит — мало опыта, а работа ответственная,—позволил только вскользь усомниться, но сумел сделать это так, что все обратили внимание и запомнили: Ерден не очень-то приветствует назначение Бестибаева в Узек. И разве ему не виднее? Разве не под его началом трудился молодой инженер?

И опять позиция Малкожина была выигрышной. Потянет

геолог — прекрасно! Значит, не напрасно работал под руководством Ердена, набираясь ума-разума. Провалит дело — тоже хорошо: Малкожин в свое время предупреждал, обращая внимание коллегии на поспешность выдвижения Бестибаева на столь ответственный пост. Но к его мнению тогда не прислушались. Вот и результат. Так кого же винить? Во всяком случае, Ерден здесь ни при чем.

Но оказалось, что лучшей кандидатуры, чем Бестибаев, и придумать нельзя. Связка Теплов — Бестибаев идеально дополняла друг друга: опытный, дальновидный, уравновешенный Джандос и энергичный, способный, горячий Жалел теперь играли на руку Малкожину. Хотели того или не хотели, но оба, не жалея ни сил, ни времени, ни нервов, делали все от них зависящее, чтобы план — нереальный, завышенный, фантастический — был выполнен. Да, случай — лучшая сводня...

При одной мысли об этом Ерден довольно улыбался. Он прохаживался перед гостиницей — низким, одноэтажным, похожим на барак домиком. Двадцать шагов вдоль палисадника в одну сторону, потом точный, четкий, как в танце, поворот — асфальт был положен только перед фасадом, и дальше шел пыльный переулок, — и снова двадцать шагов до скамейки, где громоздился распухший, тяжелый как утюг портфель и лежал стального цвета макинтош.

Кроме гостиницы в переулке лепилось с десятков старых домов, а на углу, за оплывшим дувалом, располагалась какая-то база. Сбоку от мощных, прямо крепостных ворот, воздвигнутых из железных прутьев и ракушечника, висела выцветшая, неразборчивая вывеска, и Ерден хотел было подойти, поинтересоваться, но, взглянув на облако пыли, поднятой тяжелыми грузовиками, беспрестанно въезжавшими и выезжавшими из ворот, а потом переведя взгляд на светлые брюки и начищенные желтые полуботинки, передумал.

Редкие прохожие попадались Ерденоу навстречу. Он их никогда прежде не встречал, но лица казались ему знакомыми: сколько людей перевидал он за свою жизнь! Ведь это только кажется, что они разные. Молодые, старые, красивые, уродливые, высокие, малорослые, умные, глупые, толстые, худые, добрые, злые... Мало ли слов придумано, чтобы подчеркнуть непохожесть, индивиду-

альность каждого. На самом же деле различия внешние. Люди везде одинаковы: в Алма-Ате, Узеке, здесь, в Форту-Шевченко или где-нибудь на Огненной Земле... В этом Ерден давно убедился и часто развивал эту мысль перед близкими или друзьями. Идея об одинаковости людей нравилась ему, потому что хорошо отвечала собственному взгляду на жизнь. Ерден считал, что человек существо однообразное и, если приглядеться, в своей массе довольно бестолковое. Неглупый человек при желании всегда может использовать других в своих интересах. Для этого нужно не так уж много: рассматривать людей с точки зрения извлечения из них пользы для себя, да еще вглядываться в каждое событие, переворачивая его, как карты, чтобы выбрать козыри.

Да, люди бестолковы. Вместо того чтобы двигаться к цели по прямой, они идут окольными путями, юлят, изворачиваются, пытаясь прикрыть истинные намерения выдуманными или вовсе ложными. Суровая же истина состоит в том, что каждый хочет жить хорошо. Иметь дом, семью, положение в обществе и быть материально обеспеченным. У кого же не хватает ума понять эту очевидную истину — стараются навести тень на белый день, толкуя об идеалах, долге, совести. Глупцы!

Размеренно выбрасывая ноги в сверкающих ботинках, Ерден ходил по тротуару вдоль фасада гостиницы. Двадцать шагов в одну сторону. Двадцать — в другую. А мысли тем временем по-прежнему бежали по избитой колее, которую проложила для них вся его жизнь.

Да, чудаки и идеалисты. Чего с них спрашивать? Вот он, Ерден Малкожин, человек современный, деловой. Разве не гениально он рассчитал, когда предложил с самого начала, без всяких скидок на организационный период, дать Узеку напряженный производственный план? Да одна эта идея украсила бы самого пронизательного человека. Она зиждилась на доскональном знании обстоятельств и характеров людей, которым предстояло воплощать идею Малкожина в жизнь. Суть ее состояла в том, чтобы заставить Тлепова, Бестибаева и вообще всех, кто собрался в Узеке, прыгнуть как можно выше, с предельным напряжением сил. Но разве такое не отвечает той задаче, которая поставлена перед ними: освоить

месторождение как можно быстрее?! Разве можно отыскать в ней нечто порочное?! Конечно же нет. Другое дело, что лично для себя сумеет извлечь из рекордного прыжка Ерден. Но это уж, извините, никого не касается. Да и потом, что здесь криминального? Разве он сам не крутился весь этот год как белка в колесе, чтобы его идея не погасла? Разве сидел он сложа руки, ожидая, когда изюм положат ему в рот? Нет, нет и нет. Так пусть и эти голубчики в Узеке поработают, чтобы чертям стало жарко. Пусть Джандос разбивается в лепешку, чтобы вывести экспедицию из прорыва. Пусть Бестибаев из кожи вон лезет, разрабатывая оптимальные варианты разбуривания Узека, спорит с самим Салимгиреем, отстаивая свою точку зрения. Кстати, совсем неплохо, что старичка щелкнули по носу. При случае всегда можно об этом напомнить... Пусть! Именно Ердену предстоит снять урожай с поля, которое он так тщательно подготовил, искусно засеял, истово ухаживал за робкими всходами, оберегая от разных напастей. Конечно, ему самому пришлось нелегко. Мотался по жаре и пыли, недосыпал, недоедал, нервничал. Это в его-то годы, когда он уже дважды дед...

А мангышлакские гостиницы? Да только от них можно рехнуться. Вода бывает рано утром или поздно вечером. Случается, что ее нет сутками. Ерден очень переживал, что не может толком вымыться. И сейчас, при одном воспоминании о перенесенных муках, зачесались спина, грудь, ноги, хотя вчера он все-таки исхитрился вымыться до пояса под жестяным умывальником,

Ерден на мгновение остановился, посмотрел на часы: “Пора бы уже быть машине. Вечно этот беспорядок...”

Ерден научился принимать мир таким, каков он есть. Если надо, он мог не видеть, не слышать, и три обезьяны, вырезанные из кости, прикрывающие руками глаза, уши и рот, как некий символ давно стояли на письменном столе Ердена. Но беспорядок... Вот с ним Малкожин никак не мог смириться. Его бесило, что он, в то время как все делает основательно, не кидается, очертя голову, ничего не обещает встречным и поперечным, ни за что не берется с кондачка... Тогда как другие... Кошмарный ужас! Опаздывают, не держат слово, наобещают с гору, а сделают с песчинку, лезут с

излияниями, раскрывая душу, в которой, по сути дела, нет ничего, кроме комка грязи... Все зло в мире от беспорядка. Будь его воля, Ерден всех выстроил бы по ранжиру, подвел под параграфы, расписал в железных инструкциях, как и что полагается делать в тех или иных случаях жизни. Это была бы самая замечательная книга, которая когда-либо появлялась на свет. Книга Порядка. От нее было бы больше прока, чем от всех этих томов, миллиардами стоящих на книжных полках.

За спиной Ердена раздалось хриплое рычание — это грузовик во дворе базы. Потом залязгало, заскрежетало. Мотор заработал ровнее. Ердену даже показалось, что он ощутил, как задрожала земля под мощными колесами, и с тревогой взглянул на гостиницу и домишки: не рассыпались? не развалились? — но все было на месте. Грузовик с прицепом, вырвав из ворот, пытался развернуться, загородив дорогу, а две другие машины, подъехавшие к т-образному перекрестку, уже отчаянно сигналили, и шоферы, высунувшись из кабин, орал: “Сдай назад! Ослеп, что ли? Куда выворачиваешь? Давай, давай!” Лица у них были потные, перекошенные, злые. Ерден, не прекращая движения, краем уха слушал перебранку. Конечно, любое дело — игра. Надо суметь предвидеть, рассчитать, заслужить свой выигрыш. Решаешь наугад, ставишь не на ту карту — выкладывай денежки. Один раз ошибся. Другой. Третий. И все. Проигрался. Выходи из игры. Когда-то Ерден превосходно играл в преферанс, и, подумать только, сидел за картами ночи напролет. Но потом и это увлечение прошло. Он и сам бы не мог толком объяснить почему, но в глубине души, пожалуй, был рад: карты как-то вышибали из устоявшегося ритма, а это было противно его натуре.

Шоферы чертыхались, препирались, размахивая руками. Каждый отстаивал свои права, не желая сдвинуться с места. “А мне-то что? Будем стоять!” — “Да мне плевать!” — “А мне тем более!”

Кроме карт, какое-то время вносивших остроту в его пресноватую жизнь, в душе Ердена жила горькая тайна, с которой свыкся настолько, что если бы она исчезла, то мир потерял для него частицу своей прелести. Эта тайна шла из тех далеких лет, когда

он был молод и еще не умел сдерживать порывы. Да, и у него случилось пылкое увлечение. Быть может, даже любовь. И ему пришлось вкусить от той сладостной боли, которую романтические души называют страданиями любви. И он мучился, когда любимая предпочла другого, потому что считал: ее выбор неверен, а с ним она будет счастливее.

Но мало мечтать. Сумей добиться. Ерден сумел — и жена Джандоса Тлепова стала его женой. И он доказал ей, что у него доброе, верное сердце, а главное — он нежнейший и преданнейший семьянин. Именно эти узы всего надежнее соединили их, а вовсе не его юношеское чувство. Ерден неколебимо верил в нерушимость своей семейной жизни, и, если вспоминал, что его супруга когда-то пусть считанные дни, но была замужем за Тлеповым, в нем шевелилась неясная тревога или что-то похожее на ревность. Словно до сих пор они, все трое, были связаны незримыми нитями, и иногда ему даже хотелось поговорить с женой или, при случае, с Джандосом: не переживают ли они подобные чувства? Но всякий раз Ерден вовремя останавливал себя. Ведь в неколебимости семьи — его вера, его главное богатство, его жизнь.

А на перекрестке тем временем началось столпотворение. Подъехали новые машины, запыленные, ободранные, вернувшиеся, как видно, издалека. Из кабин повыскакивали новые водители. Они подходили к сгрудившимся машинам, врезались в спор, давали советы, подначивали, насмешливо или яростно огрызались. Профессия наложила на них неизгладимое клеймо. И, наверное, они узнали бы друг друга, встретившись на другой планете. Загорелые лица были иссечены морщинами, обветренная, сожженная солнцем кожа будто иссохла и пропиталась пылью, бензином, железом. Казалось, сами сердца у них бьются в стальном ритме моторов, а они, даже находясь вне кабин, все равно плотно, крепко впаяны в дерматиновые сиденья, настороженно прислушиваясь к пульсации раскаленных двигателей. Уже остановились прохожие поглазеть на пробку. Выползли древние старики и старухи, дрожащие, сгорбленные, с клюками. Не слыша один другого, бормотали: “Ни днем, ни ночью покоя нет. Сколько писали, чтобы убрали этот свинюшник. Никакого толку. Ездют, ездют. А зачем? Куда?”

Свара разгоралась. Воздух прямо гудел от резких возгласов. Ерден брезгливо наблюдал за происшествием.

Вот так всегда случается, когда нет порядка. Жизнь проста для того, кто вовремя умеет вывернуться, пойти на компромисс, используя любую ситуацию к своей выгоде. Что толку орать друг на друга, как эти бестолочи?! Уступи, если у тебя на плечах голова, а не дырявый казан. Уступи, а потом видно будет. Зачастую ты и окажешься в выигрыше. А упрямец — в дураках.

Ему чудилось, что, зная тайные пружины, двигающие людьми, он торжествует над этим хаосом, состоящим из многих и многих человеческих судеб, воле, желаний. Вот и сейчас, когда рядом с ним на раскаленном пяточке, где сгрудились машины и скрестились разнообразные характеры, он, в сущности, далек от этой суеты. Пыльная провинциальная улица всего лишь декорация, на фоне которой он вышагивает. Тогда как находящаяся за тысячи километров Алма-Ата более реальна, ибо там свой, привычный мир, где, как ему казалось, он мог манипулировать людьми, словно марионетками, снова и снова убеждаясь в правильности своих взглядов и, в конечном счете, в своем превосходстве над другими.

На тот случай, если Тлепов надсадится и завалит план, Малкожин держал в голове запасной вариант: надо срезать производственное задание. Причин для этого достаточно: сложные геологические условия, молодой, только-только складывающийся коллектив, неритмичная работа, непредвиденные обстоятельства, трудности со снабжением, да мало ли что можно найти, когда запахнет жареным. Такое не в новинку. Конечно, пожурят, посетуют, повздыхают, но план все-таки скостят. И не из любви к Ердену, не исходя из объективной оценки его деятельности как куратора Мангышлака — это дело десятое... Тут вступали в действие более высокие соображения. Зачем министерству расписываться перед вышестоящими инстанциями в собственной беспомощности? Зачем объясняться по тому поводу, что Узекская экспедиция, которая у всех на виду, о чьих делах и успехах столько пишут в газетах, говорят по радио, вдруг оказалась в отстающих? Каждому понятно: такое признание обойдется себе дороже. Стало быть, подкорректируй план, не поднимая шума, доводов же для

такого решения — целый вагон. Но похоже на то, что Тлепов не подведет. Нет, конечно, ему нельзя позволить въехать в министерство на белом коне. Джандоса надо вовремя снять или осадить. Фактов для этого достаточно. Но пока вопрос утрясается, согласовывается, увязывается, дела в Узке будут крутиться. Придет зима. Холода и снег наверняка собьют темпы, и тогда надо снова приехать в Узек, нажать, потому что план, скорректирован он уже или нет, но в любом случае должен быть сделан. Только выполнит его не Тлепов, а он, Ерден.

Нет, не зря так настойчиво Малкожин продвигал Джандоса на пост начальника Узекской экспедиции. Хорошо знал: сколько ни грузи на этого осла — будет везти, надрываясь из последних сил, пока не дойдет до цели или не упадет бездыханным. А ведь иные близорукие доброхоты предупреждали: “Чего стараешься? Зачем Тлепова продвигаешь? Разве позабыл, как он критиковал тебя, когда работали вместе в институте минерального сырья?” Ерден отшучивался: “Кто старое помянет — тому глаз вон”. Но на самом деле ничего не забыл, прекрасно помнил, как Тлепов, носясь со своими проектами теснее сблизить науку с производством, перебаламутил коллектив. Еле-еле удалось тогда от него избавиться. Правда, и самому пришлось перейти в министерство...

Отдавая про себя должное самоотверженности, преданности делу и какой-то чистой бескорыстности Жандоса, он по-своему даже сочувствовал ему, потому что Ерден вовсе не был жестоким или холодным человеком: “Ну и чудак! Будь посообразительнее — далеко бы пошел. Пашет-пашет всю жизнь, а даже кандидатскую не защитил. На его материалах люди попроворнее уже докторами стали...”

Сам Ерден давно был кандидатом наук и теперь готовился к защите докторской по актуальной теме: “Разведка нефтяных и газовых месторождений Мангышлака”. Что бы с ним ни случилось, считал он, степень доктора всегда подстрахует.

“Но что же с машиной? — уже всерьез забеспокоился Ерден. — Давно должна прийти. Куда она запропастилась?”

Он двинулся в гостиницу, подошел к стойке, за которой сидела сонная дежурная, и попросил разрешения позвонить. Сначала

телефон был занят. Потом почему-то никто не поднимал трубку. Наконец секретарь управляющего трестом промурлыкала: “Я вас слушаю...” Ерден назвал себя и попросил выяснить насчет машины. Секретарь удивилась: “Товарищ Малкожин?! Вы разве не в аэропорту? Машина уже минут сорок как ушла к вам...” — “Ушла? Что за ерунда? Я же опаздываю на самолет!” Трубка замолчала. “Не беспокойтесь, пожалуйста,— наконец ответила секретарь.— Сейчас все выясню и пришлю вам какой-нибудь транспорт...” — “Спасибо. Жду около гостиницы. И, пожалуйста, поторопите водителя. Как бы не опоздать”.

Ерден снова вышел на улицу. Тяжелый портфель оттягивал руку, и Малкожин не пошел дальше, а остановился у крохотного палисадника, в котором торчали какие-то скрюченные деревца и жухлые травы. Пробка на перекрестке за это время почти рассосалась. Последние грузовики разъезжались, и только в воздухе, казалось, потрескивали отголоски свары, затеянной шоферами, словно электрические разряды удаляющейся грозы.

“Да поживей ты! Возишься как жук в навозе!” — “Иди ты знаешь куда?” — замысловатое ругательство донеслось до Ердена, но он будто и не слышал, занятый своими мыслями.

“Нет, людская необязательность взбесит кого угодно,— негодовал он.— Назначено время, место. Человек ждет, спешит, нервничает, а шофер исчез, будто провалился сквозь землю. Куда мог деваться? Случилось что-нибудь? А-а-а, левачит, поди...”

Ерден так углубился в себя, что пропустил мимо ушей длинный, пронзительный сигнал, которым шофер грузовика, подававший машину назад, предупреждал прохожих. Аккуратно примериваясь, грузовик пятился задом, одним колесом переваливая на тротуар. Ерден почувствовал опасность только в тот момент, когда неодолимая и тупая сила вдруг вжала его в палисадник, а над головой нависли громадные ящики. Все так же медленно, как бы на ощупь, облезший борт вдавливал Ердена в доски, которыми был огорожен гостиничный садик. Ни крикнуть, ни загородиться, ни вывернуться. Портфель, который он держал в руке, впился в бок, и в его кожаном чреве что-то хрустнуло и зазвенело. Уже и дыхания не хватало. “Всё! Неужели конец?! Как глупо...” Он даже

не успел по-настоящему испугаться. Треснули ветхие, источенные временем доски, и Малкожин грохнулся наземь в жесткую колючую траву. Видно, шофер услышал треск, потому что через мгновение Ерден увидел над собой испуганное скуластое лицо. Оно лоснилось, словно покрытое холодным жирным потом.

Человек что-то говорил, губы его шевелились, но Ерден понял не сразу: “Сигнал! Сигнал! Я же давал!”

Ерден стал подниматься, как бы собирая себя по частям. Человек помог ему. Его жилистые руки поставили Ердена на ноги, суетливо стали поправлять на нем галстук, стряхивать пыль с пиджака...

Внезапно Ерден ощутил, что его колотит будто на морозе. То, что он испытывал сейчас, состояло из взрывчатой смеси, в которой перемешались ненависть к этому идиоту, едва не задавившему его, радость, что все обошлось, жгучая досада на глупейший случай...

— Вы что? Ослепли? Куда едете? — задыхаясь, прохрипел наконец Ерден.

Шофер, человек лет сорока, плотный, с небольшим брюхом, переваливающимся через ремень, испуганно рыскал глазами.

— Не заметил. И шел-то тихо-тихо. Как чувствовал. Вот ведь невезуха...

Он бубнил, а сам твердой ладонью все стряхивал и стряхивал пыль с костюма Ердена, стараясь перехватить его взгляд: “Что за мужик? Начнет базарить или можно договориться?”

— Да не трогайте меня! — взвизгнул Ерден. Отклонился, поискал глазами портфель. Серый, сплюснутый, словно мяч, из которого выпустили воздух, портфель лежал рядом. Ерден, кривясь, наклонился — грудь немного саднило, — поднял портфель.

— Помяло? — шофер жалостливо скривился. — Ух ты! Давай в больницу двигать... — Ерден не ответил.

— Или домой. Ты где живешь?

Он с тревогой, испугом и участием смотрел на седовласого, раздраженного и вместе с тем жалкого человека, топтавшегося перед ним. Из лопнувшего по шву портфеля высовывались какие-то тряпки, бумаги.

Ердену вдруг стало пусто, худо, скверно. Затошнило. “Ради чего всё? Чтобы в один прекрасный момент вот такой мерзавец отправил к праотцам?”

Он весь как-то моментально обмяк, словно лишился последних сил. Если бы шофер его не поддержал, то Ерден, наверное, снова бы упал в жесткую, как стальная стружка, траву.

— Ну ничего-ничего,— приговаривал шофер, дружески обнимая за плечи.— Сильно болит? Вот угоразило...

И тут Ердена коснулось шоферское дыхание: сладковатый запах перегара, табака и еще чего-то мерзкого донесся до него.

“Пьянь! Эта пьянь едва не искалечила, чуть не убила!” — подумал он, наливаясь злобой. Теперь негодование Ердена обратилось на всех шоферов сразу. Если бы вовремя пришла машина, которую он ждал, чтобы ехать в аэропорт, ничего бы не произошло.

— Да вы пьяны! — в бешенстве заорал Ерден, и так громко, что шофер даже вздрогнул.

— Кто пьян? Я? Скажешь тоже... Ха...— торопливо, но не без робости проговорил шофер.

— Да! Пьяны! Сейчас докажу. Поехали в милицию. Немедленно! Там разберемся!

Сжав губы, с побелевшим от гнева и переживаний лицом, он двинулся к грузовику. Шофер болтался сзади; Ерден слышал шаркающие шаги, сопение за спиной. Потом до него донеслось:

— Ну, погоди. Слышь?! Погоди минутку. Прошу...— тянул шофер каким-то тонким, жестяным голосом.— Будь человеком? Слышь...

Не обращая внимания, Ерден дошел до машины, протянул руку, чтобы открыть дверцу кабины, и взгляд его упал на часы... Бог ты мой! Двадцать пять третьего! Самолет улетает в пятнадцать сорок две. Времени в обрез, а ему предстоит еще разбираться с этим мерзавцем. Не успеет...

Он только на мгновение представил, как будет сидеть в милиции, объясняя дежурному, что произошло. Потом начнется составление протокола, бесконечное выяснение обстоятельств и деталей происшествия. Наверное, потребуется обследование врача.

Придется ехать в поликлинику. Значит, он останется в этом унылом городишке еще на сутки. А может, и больше. Мало ли что... Вернется в надоевший номер. Да и в министерстве придется объяснять, что произошло. Ведь он уже дал телеграмму о своем вылете из Форта. “Что же делать?”

Открыл дверцу, кинул на сиденье портфель, в котором что-то жалобно зазвенело.

“Что это? А-а-а... Наверное, кукла. Раздавил...”

Снова волна негодования накатила на Ерден.

— Садись! — рявкнул он.— Быстро!

Никакого движения. Повернулся. Водитель стоял рядом, протягивая макинтош с видом самого покорного и почтительного внимания:

— Вот... Позабыли...

Только сейчас Ерден немного разглядел человека, с которым его свел случай. Глаза у шофера смотрели подобострастно и вместе с тем хитровато-нагло. Они как бы говорили: “Ну, чего шумишь? Бывает... Ну, извини. Или ты не человек?” Лицо шофера обтягивала плохо выбритая, свинцовая кожа.

“Пьет! И сильно”,— определил Ерден. Уродливая гримаса исказила его губы. В ней сквозило не только злорадное торжество, гнев, презрение, но и что-то еще, едва уловимое. Снисхождение? Возможно... Во всяком случае, шофер в момент уловил перемену и, не давая передумать, заканючил:

— Вчера получка была... Ну, сам понимаешь... С корешами... Водка, пиво. Перебрал.

Шофер униженно сгорбился, заискивающе добавил:

— Семья у меня... Трое девчонок...

Ерден строго посмотрел на водителя.

“Трое детей... Лжет, поди. В сущности, какая разница?! Черт с ним, с этим пьяницей. Надо в аэропорт ехать”.

Облегченно вздохнув, как всегда, когда принимал решение, залез в кабину:

— Поехали! В аэропорт!

Шофер с тупым удивлением уставился на него, не сразу сообщив, что опасность миновала.

— Лады! — откликнулся он с готовностью. Нырнул в кабину, радостно хлопнул дверцей, включил зажигание.

— Да не гони, не гони! — осадил Ерден.

— Ясно, ясно,— успокоил шофер.— Доедем как надо.

Шофер склонился над баранкой, ловко и точно управляя тяжелой машиной. Он уверенно оттирал менее удачливых или не таких опытных водителей, ловил в боковом зеркальце их взгляды, в которых привычно читал зависть и неприязнь. Поводя из стороны в сторону толстой шеей, шофер косился на пассажира, и, как это часто бывает с натурами, привыкшими ловчить, уже с уважением думал о человеке, от которого зависел. Неожиданный пассажир сидел прямо, поджав тонкие губы, выпятив твердый подбородок и пристально глядя в лобовое стекло. Лицо у него было непроницаемое, усталое, тронутое пустынным загаром.

“Серьезный мужик. Сразу угадал!” — думал шофер, по привычке дергая головой и щуря кошачьи глаза, когда обходил очередную машину. При этом он старался вести грузовик так, чтобы пассажира трясло как можно меньше. “С ходу не просквозишь, но договориться всегда можно...” — окончательно составил он свое мнение о Ердене.

Они мчались в аэропорт, словно люди, хорошо и давно понимающие друг друга, а потому не считающие нужным произносить пустые слова.

“Свой мужик. Другой бы такую бочку покатыл — не расхлебался,— думал шофер, косясь на соседа.— А этот.. Повезло”.

Так они молча и ехали, и только в аэропорту, куда шофер пошел вслед за Ерденем, он, передавая портфель, который услужливо нес, заговорщически блеснул глазами:

— Спасибо! Не забуду... Если приедете в Форт снова и что-нибудь понадобится... Ну, мало ли что?! Клещев моя фамилия. Третья автобаза. Да меня все знают.

Ерден будто не слышал, только еще сильнее выпятил подбородок, презрительно поджал губы. Но мозг автоматически запомнил: “Клещев. Форт-Шевченко. Третья автобаза”.

Клещев все так же предупредительно проводил Ердену до самого трапа, что-то шепнул бортпроводнице, и та, улыбнувшись,

остановила других пассажиров, пропуская Ердена вперед. Уже сидя в самолете, безразлично поглядывая на ватные облака, проплывающие за круглым иллюминатором, Ерден почему-то вспомнил об этом и, когда бортпроводница проходила мимо, подозвал ее:

— Клещев этот? Кто он вам?

— Клещев-то? Да никто... Просто... — она замаялась. — Пробивно-о-ой мужик! А вы его хорошо знаете?

— Не очень, — сухо ответил Ерден.

Откинувшись в кресле, прикрыв веками глаза, Ерден пытался задремать. Но сон не шел. Все эти дни, проведенные в командировке, словно спрессовались в один миг, тяжелый, тускло-серый, как булыжник. Перебирая в памяти события, он чувствовал только страшную усталость и какую-то неуверенность. Откуда она шла — он не мог бы объяснить.

Обычно, когда становилось не по себе, Ерден пытался отвлечься работой. Сунулся в портфель за бумагами, и руку царапнули осколки раздавленной куклы.

“Черт!” — ругнулся Малкожин, вспомнив Клещева и промокающая платком кровь.

Уже осторожнее разыскал черновик докладной записки. Она почти не пострадала, если не считать, что листы пропахли кремом для бритья, вытекшим из расплющенного тюбика. Запах крема все стоял в ноздрах, отвлекая от чтения, и Ерден отложил докладную.

Не читалось, не спалось.

Он стал глядеть вниз. Под крылом проплывала земля, такая голая, однообразная, словно сожженная кислотой. Глаз тщетно пытался отыскать среди этой пустыни хоть какое-нибудь яркое пятно. Но даже заходящее солнце казалось мертвенным.

Ерден отвернулся, снова закрыл глаза, стал вспоминать дом — вечное свое прибежище, успокоение, приют, где царили мир и покой, созданный им. Мысли о доме немного успокоили.

“Заеду в магазин, выберу внучке новый подарок, — думал он с нежностью о малышке. И без всякой связи — почему-то о диссертации: — Надо форсировать защиту. Зачем тянуть. Мало ли что. Все под богом ходим...”

И вдруг всплыло свинцовое лицо Клещева с кошачьими глазами. Оно виделось так явственно, что Ерден завозился, задвигался.

“Да провались ты, пьяница! Не к ночи будь помянут! — пробормотал он.— Явился некстати!”

Как все игроки, Ерден Малкожин был немного суеверен.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

С невеселыми думами ехал Бестибай в Майкудук, но, едва замаячили у горизонта родные холмы, заметно ожил. Да и как не встрепенуться?! С каждым поворотом дороги что-нибудь да всплывало в памяти. Здесь, у желтого бугра, волки задрали верблюжонка, из-за которого потом лютовал Сары: спина до сих пор помнит его камчу. У этого колодца поил скот. Сколько воды из него утекло, а колодец жив, и чабан, что попался в пути, к нему и гонит отару. А вот у того поворота, где разбегаются дороги — одна идет в Хиву, другая на Эмбу,—подждал короткой летней ночью Петровского, чтобы настичь кош Туйебая, уходившего на юг. Та ночь и для него могла быть последней...

За поворотом вспыхнул и погас, словно язык пламени, высокий красный камень. Бестибай обрадовался ему, как старому знакомому: значит, до зимовки осталось двадцать верст. Когда-то у камня победители скачек получали из рук аксакалов награды. Если бы в той байге конь был порезвее! Пятнадцать рублей! Целое богатство по тем временам. Но награда досталась Басикаре, а он, проклиная весь свет, убежал тогда в степь и, в отчаянии катаясь по земле, зажав рот рукавом рубахи, беззвучно рыдал, пока и слез не осталось. Казалось, никогда не избыть, горя, не пережить неудачу. Разве понимал тогда, что все проходит и — не успеешь оглянуться — жизнь промелькнет, словно тот красноватый камень, что остался позади. Из-за чего он так горевал? И почему помнит о той детской печали, которая не стоит и навозной лепешки? Не потому ли, что печаль, как и жизнь,— твоя и с тобой? И, коли горюешь или вспоминаешь об этом, значит, живешь. Да и кого из людей на этом свете минуют беды и несчастья? Кого ни возьми — у каждого свои заботы: у кого сурпа жидкая, у кого жемчуг мелкий.

Может, на том свете и царят вечное блаженство да покой?! Но кто знает, что там? Почему-то из загробного мира еще никто не возвращался...

Чем ближе подъезжал Бестибай к Майкудуку, тем больше проникался смирением. “От старости нет лекарств,— вздыхал

старик.—Вот и Басикара... В самом Фортгу лечился у докторов, а толку ни на волос. Сколько ни раздувай погасшую искру — не вспыхнет”. Да и разве сам он не похож на такую же чадящую головешку? Скоро и ему придется спуститься туда, куда смерть тащит друга. Но, коли аллах милостив к нему и держит на земле, — живи, пока живется. Жени сына, дождись внука, а дальше... Не зря говорится: хорошее бывает посредине между плохим...

Бестибай уверился, что не застанет Басикару в живых,— уж больно плох он был еще в больнице! — и потому решил про себя: придет и сразу пойдет на кладбище, привяжет к тугу длинную белую тряпочку и оставит на могиле большую пиалу. Пусть и в том, другом мире Басикаре будет во что одеться, из чего пить шубат. “Эх, Басикара, Басикара... Как сказал пророк, смерть — это чаша, все люди осушат ее. Могила же — врата, и все войдут в них”.

Несмотря на мрачные раздумья, жизнь и степь казались особенно прекрасными. Бестибай глядел вокруг и не мог наглядеться. Он любил осеннюю пору, когда земля замирает в предчувствии морозов и снега. В такие дни — чего скрывать! — особенно хорошо чувствовать себя живым.

Прозрачен и чист воздух, дышится легко, а простор томит, словно жажда. Не усидеть дома, и, как ни ворчит жена, бывало, с утра уже седлаешь коня и едешь в гости.

Бежит конь по замерзшей степи, и видно далеко-далеко. Сначала юрты похожи на птиц, присевших отдохнуть перед дальним перелетом, потом на шлемы батыров, а подъедешь поближе — словно высятся верблюжьи горбы. Сын хозяина принимает повод, а ты приветствуешь старого друга, долго держа ладонь у сердца. Руки здоровы, ноги здоровы. Бараны, верблюды, кони — все здоровы. Слава аллаху!

Журчит неторопливая беседа. Вносится дымящееся блюдо с бешбармаком. Ах, какое мясо! Жирное, сладкое. Тронешь пальцем — жир бежит, словно вода из родника. А сурпа?! Драгоценный напиток, восстанавливающий молодость, льется в горло. Чаша за чашей. И не замечаешь, когда и кто ее наполняет. Как хорошо-то, о всевышний! Да славятся его щедрость и благоволение!

Бестибай представил все это и даже зажмурился, а когда открыл глаза, увидел впереди всадника, трясущегося на каурой кобыле. Его длинная сухая спина торчала, как рыба кость.

“Кто это едет? Похоже, что Искак. Хоть и ел всю жизнь за троих — все равно был тощий как палка. “Бездонный желудок!” — так его прозвали. Но Искак давно переехал из Майкудука на Бузачи. Неужто вернулся? — раздумывал Бестибай, издали стараясь угадать, чья же это худая спина, на которой чапан висит как пустой мешок, маячит впереди.— А может Рыскулбек? Когда работал секретарем исполкома, такой толстый был, что на лошадь не мог взобраться — на машине ездил. Сняли с должности — высох с огорчения и стал как щепка...”

Тем временем грузовик поравнялся с всадником, и Бестибай повернул голову, чтобы разглядеть, кого же послал аллах на пути. Глаза чуть не выпрыгнули из орбит: “Басикара?!” Но разве услышишь слабый человеческий голос за ревом мотора? Машина промчалась, а Басикара и головы не повернул. Что ему эта гремящая, плюющаяся дымом арба, коли он в седле!

Какое-то время Бестибай сидел неподвижно, будто застыл, и все так же глядел назад, где пылил всадник.

Старик опомнился, когда друг скрылся за бугром, ткнул в бок дремавшую старуху, а шоферу сказал повелительным тоном: “Останови! Приехали!”

Шофер резко затормозил, махнул рукой на прощанье, и машина, заурчав, унеслась. Бестибай стоял на земле, но казалось, это вовсе не твердь, а болото, вроде того, что остается, когда море отступит. Басикара разглядел друга еще издали, что-то насмешливо крикнул, но ветер отнес его слова, и Бестибай их не разобрал. Басикара коснулся лошади плетью — кобылка быстрее задвигала ногами. Но всаднику этого показалось мало.

“Э-э-э, дочь греха!” — как в молодости, крикнул Басикара и сильнее огрел каурую плетью. Он лихо подскакал к Бестибаю, но, едва кобылка остановилась, Басикара, позорно сгорбившись, теряя посадку, съехал на шею лошади. Стараясь скрыть слабость, насмешливо глянул на приезжих, стоявших с корджунами и узелками.

— Вернулись?! Сыты, выходит, узекской жизнью? К старому тандыру потянуло?..

Бестибай и не придумал, что ответить: ослаб и обмяк. Надо же — друг жив, а он уже схоронил его в мыслях. Чего только не придет в голову на старости лет..

— Куда едешь?! — только и мог выдавить из себя.

Басикара будто и не слышал вопроса, поигрывая камчой, твердил свое:

— Вижу-вижу, что лепешки в Узеке не слаще майкудукских! Что это ты побледнел да отощал? Слышал, что возишь воду для казанов. Уж не на себе ли?

Бестибай и правда последнее время, чтобы не сидеть без дела, доставлял на верблюдице воду к столовой.

— Похоже, что арба ездит на тебе, Бестибай. Хотя чего спрашиваю? Твой родич Сары такой же вернулся. Щеки как мел, глаза потухли, еле-еле языком ворочает..

“И сюда дошел слух о неудачном сватовстве,— тоскливо подумал Бестибай.—Теперь Басикара не отстанет. Словно каракурт, будет жалить и жалить...”

— Постой-постой... Ты сказал, что Сары в Майкудуке?..

— Ха! Хороши родственники! —затрясся Басикара.— Разве он тебе не сказал, что едет сюда? Или в Узеке так повелось: невесты убегают от женихов, на стариках, как на ослах, воду возят, а сваты не разговаривают друг с другом? — издевался Басикара.

Что мог сказать в ответ Бестибай? Зашелестел рукавами чапана, воздел ладони к небу, как всегда делал, когда слышал или видел что-либо выше своего разумения. Все так же глядя не на друга, а в небо, где наметился тонкий, словно бумага, месяц, смиренно спросил:

— Значит, Сары здесь?

Басикара едва не свалился с каурой, услышав вопрос. Задыхаясь от кашля, произнес:

— Так он тебя и ждет! Давно след простыл... А может, и ты за лошадью пожаловал? Сары, видать, к кокпару готовится... Давай и ты! Догоняй свата!

Он хрипло захохотал, представив старого, сухонького, как лист, друга среди могучих кокпарщиков. Смеялся долго, время от времени вытирая большим пальцем бегущие из глаз слезы, а когда наконец отсмеялся, сполз с седла и сразу сделался старым, больным и немощным. И без того жидкая бороденка цвета полыни совсем поредела. Лоб, мокрый от пота, блестел, как кость. Не легко давалось Басикаре его молодечество, и жена Бестибая, смиренно не вмешивавшаяся все это время в разговор — пусть старики почешут языки, коли охота! — наконец не удержалась и язвительно заметила:

— Да ты, Басикара, видно, совсем оглох. Врачи в Форту на весь Мангышлак кричали: “Больной сбежал!” — а ты не слышишь? — голос ее дрогнул от злости. — Вот мы и приехали напомнить тебе... — прошипела она старику в самое ухо: — В больнице тебя ждут!

Басикара не захотел, чтобы последнее слово осталось за женщиной.

— Это все враки! — серьезно ответил он. — Врачи сами заболели, когда я выздоровел. Вот и кричат, зовут меня, чтобы я их вылечил... Пошли в кибитку — расскажу...

Вот так встретились старые друзья, и, пока шли к зимовке, Бестибай осторожно расспрашивал о Сары. Нет, вовсе не шутил Басикара! Сары действительно приезжал в Майкудук, купил коня и куда-то подался. Для чего ему конь? И что-же все-таки произошло с Сары? Еще Бестибай не выпил первой пиалы чая и кусочек сахара не успел растаять у него на языке, а он уже спрашивал у друга, что тот думает обо всем этом.

— Послушать тебя, так весь Мангышлак только и судит о расстроившейся свадьбе. Радоваться надо, что так случилось. Конец показал, какое было начало...

— Что говорить... Ворона хоть и за море летала — вороной осталась. И все-таки Сары что-то задумал. Но что?

— Солнце еще не укатилось в пески, а у меня уже голова разболелась от твоих вопросов, — сердито сказал Басикара. — Ищешь на небе, а находишь на земле. Помнишь старинную

историю о том, как кызылбасы¹ разбогатели, а в Ханбалыке² девушки остались без кос? Так и мы с тобой сегодня.

— Что за история?— из вежливости спросил Бестибай. Мысли его были далеки от красноголовых и тем более от Ханбалыка.

— Ну, слушай... Через Мангышлак в давние времена возили шелк кызылбасам. Шел он из Китая, и ни в одной другой стране его не было. И вот хитрые кызылбасы решили сами делать шелк. Но как? Из чего? И тогда шах отправляет послом в Ханбалык своего сына, наказывая ему не возвращаться, пока не узнает тайну. Конечно, джигит хорош собой: глаза ярче звезд, брови как два лука, а уста — цветок персика. Ни одна красавица не могла устоять, когда видела его на белом коне, в богатой одежде и с саблей у пояса. Дочь китайского царя тут же влюбилась в него. Женщина есть женщина. Покажи ослу лепешку, и он побежит за ней хоть на край света... Да-а-а... И вот между двумя поцелуями джигит выпрашивает у девушки, из чего получают шелк. Она рассказывает про тутовое дерево и показывает маленького червяка: он-то и выпускает из себя тонкую нить. “Ага! — смекает джигит.— Тутовое дерево растет и у меня на родине, а вот червяка — нет..”

Басикара шумно отхлебнул из пиалы, прищурил глаз.

— Ну и свадьба была, когда решил китайский царь выдать свою дочь за кызылбасского посла! Говорят, что сто стрелков окривело, так старательно целились они в золотые кольца! Тысяча борцов выдернули ноги и руки у тысячи богатырей, а десять тысяч всадников переломали ноги своим коням, когда спешили на свадьбу! А уж баранов да быков съели столько, сколько ни на одной свадьбе! Из одних обглоданных костей можно было новый Ханбалык построить! Но все без толку!

— Как так? — удивился Бестибай, теперь уже захваченный рассказом.

— Да так... Царь Ханбалыка сказал: “Пока живете у меня — все вам будет. А захотите уехать — чесоточной овцы не дам”.

¹ Иранцы носили красные тюбетейки. Бас — голова. Кызыл — красный.

² Пекин.

Джигит говорит жене: “Нехорошо. В твоём ауле свадьба была, а в моём — нет. Давай поедём к моему отцу, а приданого нам не надо. Возьми с собой только того червячка, что прядёт шелк”. Задумалась жена, но делать нечего: муж есть муж! Спрятала шелкопрядов в длинных косах, и, как ни трясли служанки её платье, червячков не нашли. Так царю и сказали: “Ничего ваша дочь с собой не взяла”.

Царь успокоился, отпустил молодых, а потом вдруг узнал, что кызылбасы тоже шелк начали ткать, разгневался, приказал служанок утопить, а всем женщинам в наказание велел остричь волосы. С тех пор китайки стригутся коротко, говорила моя бабушка, от которой слышал эту сказку...

— Значит, кызылбасы разбогатели, а женщины виноваты,— улыбнулся Бестибай.

— Так и мы с тобой: Сары жеребца купил, а у нас головы болят. Лучше расскажи, много ли керосину нашли в Узёке? По радио только и говорят: “Там новую дыру провертели. Из другой нефть ударила!” — въедливо спросил Басикара. Сам же подвинулся поближе, чтобы лучше слышать.

Бестибай отставил пиалу, уселся поудобнее. Пришел его черед, но он не спешил рассказывать, оттягивая торжественную минуту. И только тогда, когда Басикара нетерпеливо заерзал, начал негромко и важно:

— Есть много путей, чтобы найти под землей нефть. Одни идут по степи с молотками на длинной палке и собирают камни. Другие едут на машинах, опутывают песок проводами и пускают электричество. Третий, как ты верно сказал, вертят в земле дыры, и оттуда течет то гнилая вода, то нефть, то свищет вонючий воздух... Путей много, но Халелбек и Жалел знают все...

Бестибай остановил торжественный взгляд на блюде с изюмом, взял несколько ягод и положил в рот.

— Они разговаривают с учеными на их языке и даже в темноте могут начертить то, что видят под землей. А уж книг прочитали столько, сколько не увезти ни на одном верблюде. Сидят, думают ночами, теребя волосы, а Жалел ещё пишет толстую книгу, потому

что знанию стало тесно в его голове. Большой начальник из Алматы был в гостях и сказал по секрету, что ту книгу будут помнить не в одном поколении.

— О чем же эта книга? — спросил недоверчиво Басикара.

— О нефти! Где она прячется на Мангышлаке и как ее найти!

Бестибай переждал, пока друг привыкнет к словам, какие он сказал, и продолжал:

— Машин в Узекe стало как песка, и всем находится дело. Они жуют камни, покуда не подавятся или пока вовсе не останется в округе ракушечника.

Басикара смотрел на друга и не узнавал его: столько в его голосе чувства, что можно подумать, не о железе или камнях рассказывает, а о породистом скакуне, которому цены нет. Да что там скакун! В каждом слове Бестибая больше сердца и крови, чем в любовной песне! Будто рядом с ним сидит не старик, в руке которого дрожит пиала, а пламенный джигит, ослепленный страстью.

— Кхе-кхе-кхе! — притворно закашлялся Басикара. — Живота толстого не нажил, а пояс уже распустил. — Насмешка забулькала в его горле, как вода в кумгане. — Послушать тебя, так вся наша степь теперь крутится вокруг Узека, словно отара вокруг колодца. Ты смотришь на землю и видишь только следы от машин. А где же будут бараны и верблюды? Или забыл, какого мы рода и чем занимались всю жизнь?

Но разве перебеешь певца, который слышит только самого себя? Бестибай и внимания не обратил на замечание друга. Захлебываясь в словах, он рассказывал о том, как Халелбек управляет сразу двумя машинами, которые грызут землю в разных местах, и снова выходило так, что нет дела важнее и благороднее, хоть обойди весь Мангышлак!

— Халелбека наградили орденом! — говорил Бестибай, сладко жмуря глаза. — А про Жалела написали в газете, что голова у него — из чистого золота...

Жизнь Узека, которая отсюда, из полутемной, старой кибитки, казалась поистине сказочной, билась в его рассказе, как живое

горячее сердце. Басикара сидел на кошме, подложив под ноющий живот подушку, и видел перед собой не дастархан, не вечернюю звезду, заглядывающую в подслеповатое оконце, и даже не жаркий огонь очага, у которого, примостившись, хлопотала старуха, помешивая в казане мясо. Нет, не в кибитке сидел он сейчас, а в Узеке! Он был там, где среди пустынных просторов раскинулся шумный поселок, где люди, съехавшиеся со всей страны — и как только они понимают друг друга?! — работают день и ночь. Строят каменные дома. Громят стальные вышки. Прокладывают новые дороги, летящие сквозь пески как стрелы. А скоро — об этом он сам слышал по радио — от берега Каспия по пескам пойдет поезд! Подумать только: садись в дом на колесах, пей чай, словно в юрте, а тебя везут через весь Мангышлак.

Да, пока он валялся в больнице на мягкой койке — упаси бог снова туда вернуться! — воистину удивительные дела происходили в степи. Прошлой осенью в Узеке, кроме старого колодца, вырытого еще в те времена, когда по “Шелковому пути” ходили караваны из Ханбалыка, да черепах, тащивших на себе костяные юрты, да живых песков, в которых шныряли ящерицы и пауки, ничего не было. Редко-редко проблеет, трясая курдюками, отара, зальются собаки, подгоняя отставших овец, — и снова тихо. Только ветер звенит в зарослях жузгуна, трогая стебли, словно струны домбры. И так было сотни лет, тысячи... А теперь? Город в пустыне. Подумать только! Если бы обо всех чудесных переменах рассказывал не Бестибай, он бы не поверил: языком болтать всякий может! Но друг отродясь не лгал. Да и сколько он его знал — Бестибай никогда не говорил того, чего не видел собственными глазами. Узек — город! Что по сравнению с ним сам Форт, который отсюда, из Майкудука, всегда казался громадным муравейником, где людей больше, чем овец или верблюдов. Бегут, мельтешат, суетятся. И чего слоняются? Почему не работают? Куда ни пойдешь — в контору, столовую, магазин — или просто посмотришь вдоль улицы, — везде люди. И ладно бы женщины! Мужчины! Полные сил джигиты бродят взад-вперед, и нет у них других забот, кроме как ходить по асфальту или сидеть на скамейках

под тенистыми деревьями, будто уже попали в рай. Басикара хотя и любил иногда съездить в Форт, но всегда с радостью покидал его: что делать степняку среди домов, которые сжимают со всех сторон как в ущелье? А сколько ненужных предметов в ларьках и магазинах! Как подумаешь — для чего все это людям? — только диву даешься! То ли дело родные места! Как красивы знакомые с детства холмы! А какой воздух, небо, простор! Какой покой вокруг! Не найти другого места на всем белом свете! Конечно, если бы у него были сыновья и работали в Узеке, как у Бестибая, он бы подумал-подумал да, наверное, и перебрался бы под старость к ним. Но что гадать? Всевышний не отметил его печатью и не дал сына. Что проку от пяти дочерей, которых вырастил?! Известно: счастье женщины у чужой кошмы... С ними уйдет его род... Заглохнет...

Бестибай, увлеченный своими мыслями, не замечал смертельной тоски в глазах друга. Хлопая себя по колену, он звал его в Узек, на свадьбу Жалела, которая непременно состоится весной.

— Да-да, весной! — твердил Бестибай. — Роза и соловей нашли друг друга. Так зачем же садовнику им мешать? Или они не из одного рода? Достойного и славного рода жанбоз! Или Сары не хочет счастья своему ребенку? Это я тебе говорю: весной будет свадьба!

“Весной!” — повторял про себя Басикара, представляя гремящие ручьи, снег, превратившийся в розовые облака, и голубое небо, к которому тянется зеленая трава. Голубой, розовый и зеленый мир, прекрасный как счастье жениха и невесты.

“Весна-то придет. Но будем ли мы с тобой на этой земле...”

Басикара покачивал головой, словно соглашаясь с другом. Не спорил, не разубеждал, даже по привычке не посмеивался над доверчивым и наивным, как ему казалось, Бестибаем.

“Пусть тешится, коли охота. Старый человек как младенец: желаний больше, чем разумных мыслей”.

“Раз Басикара молчит, значит, думает так же, как и я”, — радовался Бестибай, распаляясь все больше. Весь гнев его теперь обратился на Сары.

— Жеребца завел. К скачкам готовится. Совсем рехнулся на склоне лет. Ладно, это его дело, но зачем мешать молодым? Зачем ворошить прошлое? Да, было время, когда и не здоровался с такими бедняками, как мы. Проедет мимо — бровью не поведет. Будто не человек перед ним, а бараний катышек. Но сколько ни сжимай камень — вода из него не потечет. Будь хоть трижды Сары — прежнее не воротишь...

Как бы ни были близки между собой люди, как бы хорошо они ни понимали друг друга, как бы ни догадывались о чувствах и переживаниях, все равно никому не дано знать доподлинные мысли и стремления другого человека. Басикара видел Сары в Майкудуке, отметил его неподвижный, отрешенный взгляд, темное, словно обугленное лицо и сжатые губы, превратившиеся в лезвие ножа. Сары остался, каким и был, — жестоким, властолюбивым и злобным человеком. Вот жизнь и выжгла на нем свою тамгу.

Басикара был уверен: о примирении с Сары, а тем более о женитьбе Жалела на его дочери и речи быть не может. У кого нутро черное, у того и лицо черное...

Так думал Басикара, а вслух громко сказал, прервав друга:

— Давай-ка, тамыр, быстрее примемся за дело! — Но по виду его нельзя было понять, о чем он говорит...

— Быстрее? Хочешь сказать, что свадьбу не надо откладывать? Зимой сыграть? — удивился Бестибай. — Не-е-е-ет. Зима есть зима.

— Кто о чем, а голодный про баламын¹, — усмехнулся Басикара. — Разве не слышишь? — он втянул воздух широкими ноздрями. — Мясо готово!

Поднялся, принес кумган с теплой водой, слил другу на руки. Потом провел широкими костистыми ладонями по лицу:

— Разговоры разговорами, а не вспомнить ли нам, как сидели прежде за дастарханом. Бывало, баран мог встать в наших животах на все четыре ноги.

Басикара приговаривал, а сам склонился над блюдом, разделявая мясо острым узким ножом.

¹ Мучная болтушка.

— Теперь, конечно, не то. В наших желудках и полбарана не поместится. Поешь, а вместо живота все та же яма. Хребет можно прощупать, что спереди, что сзади.

Он протянул Бестибаю бараний глаз.

— Вот тебе, чтобы лучше видел,— сказал он с намеком и повыше засучил рукава.

То, на что решился Сары, требовало от него осторожности, терпения, точного расчета, а главное — ловкости. Рисковать, тем более сторяча, в таком деле — нет, на это он не пойдет. Безумные головы — сколько он перевидал их в прошлой разбойной жизни, когда батрачил по кочевьям — склонны, чуть что, хвататься за нож или айбалту. Им кажется, будто, проткнув брюхо врага или разможжив ему башку, они навсегда освободятся от хлопот. Глупцы! Главные заботы впереди. У каждого мертвеца есть родичи, есть друзья, которые не сразу, но отплатят той же монетой. Кровь всегда рождает новую кровь, так же как зло новое зло.

Необузданных храбрецов Сары называл про себя “свинными головами”. Уж очень они напоминали этих нечистых животных, вечно раздраженных, прожорливых и глупых. Возомнив себя барсами, лезут “свинные головы” напролом, а кончают одинаково: как падаль валяются в пыли с переломанными костями, ножом под лопаткой или перерезанным горлом. Всегда находится на них ловкач, который быстро — и глазом не моргнешь! — отделит “свиную голову” от тела, да так, что и сапоги не забрызгает. Сделает все шито-крыто: не только друзей, даже двух коз, которые стали бы бодаться из-за покойника, не сыщешь.

Видел он и таких воителей, что, собравшись за дастарханом и, вылавливая самые жирные куски, хвастаются силой и удалством, без умолку мелют языками, поминая к месту и не к месту подвиги дедов и прадедов: Шакпак-ату, батыра Шопана и даже самого хромого Тимура, который, если верить преданию, родился в дырявой юрте, но сев на коня, саблей и копьем добыл себе дворец да полмира в придачу. Но этих говорунов днем с огнем не сыщешь, едва доходит до настоящего дела, когда и впрямь надо рискнуть если не головой, то хотя бы шкурой. Дастарханные

воители почему-то всегда опаздывают, являются не туда, куда было назначено, или заболевают, наввернув на себя столько кошм, что под ними и не сыщешь героя. Сары и не искал. Зачем в опасном предприятии такие храбрецы, что смелы за столом да возясь с женщинами?..

Нет, он и в молодости имел холодную голову, умел выбрать настоящих джигитов. А что касается болтовни, то скорее небо превратится в жернова, нежели он скажет лишнее за столом, в сердцах или даже другу: тайна которую знают двое,— знает весь мир.

За это и уважали Сары на Мангышлаке, хотя и не любили. “Пусть ненавидят, лишь бы боялись”,— внушал Туйебай. А он знал, что говорил.

Ушло, ушло безвозвратно прошлое: комком грязи стали женщины, гнилыми стеблями мужчины. Воистину настали годы злосчастья, о которых предупреждал Туйебай. Чего бы сейчас, кажется, не отдал, лишь бы на день, на час вернуть прежнюю власть и силу! Но рухнуло одно, за ним рушится другое. Годы сделали волосы белыми как хлопок, а тело превратилось в глину. Сам же он как безумный на развалинах, не знает, где восход, а где заход, солнца. И нет рядом никого, кто помог бы вернуть достоинство и честь.

О всевышний! Почему ты не позволил ему тогда уйти с Туйебаем, наставил на другой путь! Зачем предопределил мучиться от бессилия и ненависти?

Сары перебирал свою жизнь и не видел в ней добра. Таился, скрывался, изворачивался — и все ради детей. А с чем остался? С опозоренной дочерью? С ученым сыном, который как червяк копается в бумагах, позабыв, когда ставил ногу в стремя!

Горе! Горе! Как опять не вспомнить мудрого Туйебая, который, узнав, что новая власть хочет уравнять кость белую и кость черную, обронил: “Если взять верблюдицу богатства и рассечь на семь частей бедности — будет ли она давать молоко! Чем остаток жизни собирать сухой помет — лучше умереть в один день за богатым дастарханом!” И приказал ничего не жалеть: резать самых лучших баранов, лошадей и верблюдов, устроив такой той, что

его еще долго помнили в степи. А потом, взяв с собой, что мог увезти, пошел в Туркмению, надеясь откочевать за кордон к кызылбасам.

Судьба отвернулась от Туйебая, и он сгинул где-то в Сибири. Не лучше ли было разделить его участь, чем ждать, когда из души вырастет трава? А может, это наказание, ниспосланное за то, что изменил законам пророка? Был камнем, а стал болотом. И в чем нашел успокоение? В подчинении? В смиренной жизни? Дошел до того, что согласился отдать свою дочь за сына этого голодранца и болтуна Бестибая? И вот возмездие за все! Сын Ажигали, волчонок, которого он спас от смерти, надругался над его дочерью. То, что зло рождает зло,— это Сары давно знал, но чтобы истинно доброе дело обернулось ужасным несчастьем — такого не мог припомнить. За что же так жестоко карает учитель! Неужели его справедливый гнев не обрушится на обидчика и придется уйти на тот свет неотмщенным?! Помоги! Помоги!

Верно говорят: не унести две ноши — позор и стыд. Они крепче цепей, тяжелее пут. За эти дни Сары прожил свою жизнь не один раз — столько ненависти открылось в душе. Все неудачи, унижения, разочарования, обиды, копившиеся с давних пор, раскаленным железом жгли душу. Один путь теперь лежал перед ним, и другим идти он уже не мог, если бы и захотел...

Оставив Тану в Шетпе и сказав ей, что хочет навестить родные места, Сары поехал за лошадью: без нее нечего было и пытаться осуществить задуманное. Он знал, какой конь ему нужен, и однажды даже увидел его во сне: жеребец, раздувая широкие с отдушинами ноздри, стоял перед ним, но Сары никак не мог дотянуться до поводка... ..С раннего утра до заплудня ездил он по степи от кочевья к кочевью, где издавна паслись лучшие табуны, подобранные и воспитанные гордыми мастерами. Сары помнил время, когда хорошая лошадь ценилась на Мангышлаке едва ли не выше всего на свете, теперь же наступили скудные годы: редкие косяки встречались в пути, и тот конь, которого он искал, не попадался. Разговаривая с табунщиками, Сары обстоятельно и неторопливо объяснял, что ему нужно, но те только горестно покачивали круг-

лыми тельпеками. Почти сразу после того, как машины в армии вытеснили лошадь и конница окончательно потеряла свое значение, в упадок стало приходиться тысячелетнее искусство. По чьему-то распоряжению кровных скакунов гнали на мясокомбинат, и кони, которым цены не было, пропадали бесславно.

Сары терпеливо выслушивал жалобы, но что ему чужие печали? Своих полон корджун — не развязать... Угрюмо прощался, спешил дальше. Уже отчаявшись подобрать коня, Сары встретил старого Бекмурада, которого знал, когда еще был мальчишкой. В свои девяносто с лишним лет чабан неугомимо ходил за отарой, лучшей на сотни километров,— его овцы, выращенные многими годами сурового и точного труда, давали праздничный, с золотистым отливом каракуль сур. Бекмурад долго разглядывал и выспрашивал Сары, наконец, признав в нем родича, которому действительно нужен верный конь, посоветовал съездить под Майкудук, где, по слухам, у одного хозяина ость добрый скакун. Сары немедля двинулся туда, нашел владельца и, когда увидел вороного жеребца, его сухую, жилистую голову, мощную, без впадин грудь, мускулистое подплечье, широкий скаковой сустав, сотворил благодарственную молитву, а Бекмураду пожелал долгой жизни. По счастливому совпадению скакун был продажный — хозяин переезжал в город, а то бы ни за что не расстался с любимцем, которого выпестовал покойный отец. Сары медленно осматривал драгоценность. Лицо его было непроницаемо, и хозяин — молодой, не успевший растолстеть человек — с беспокойством пытался уловить: понимает ли покупатель толк в конской охоте и даст ли настоящую цену? Но если бы с Сары заломили даже вдвое больше, он бы все равно заплатил, потому что за этого скакуна сколько ни отдай — будет мало.

Конь стоял перед ним, переступая ногами. И уже один взгляд, бойкий, энергичный, в котором как в зеркале отражался характер жеребца,— так же как уши, ноздри, спина — говорил о многом, и прежде всего — о породе. Сары разглядел копыта. Они имели форму стаканчика, ровные, неслоистые, без трещин. Стрелки в нижней поверхности копыт были широкие и полные, как и положено...

Сары попросил сына хозяина пройти шагом, рысью и галопом. Звякнули стремяна, парень легко вбросил гибкое тело в седло, и Сары даже глаза прикрыл — такая бессильная тоска, такая всепоглощающая зависть охватили его: будь он как этот парень — обидчик уже давно бы ползал у его ног. Всадник тихонько что-то произнес, отдал повод, и песок вскипел под копытами. Какой жеребец! Живая, стройная сила! Садись в седло и снова познаешь счастье, независимость, простор, и — главное — упрямую злость. Да, он не ошибся: это его конь.

Не торгуясь, Сары выложил столько, сколько запросил хозяин, купил еще новое оголовье и в тот же день отправился в Узек. По пути, у старого заброшенного зимовья, он отыскал жердь, смазал ее маслом, высушил, снова смазал, и опять просушил, потом вывалял в золе и еще несколько раз промазал маслом. Получился соил, Сары сел на коня и, держа соил у бедра, пустил вороного рысью.

Впереди он наметил небольшой бугорок и теперь скакал к нему, впившись острым, прицеливающимся взглядом. Сары взмахнул соилом, чтобы концом коснуться песчаного бугорка, но сила в руках и движения были не те, что когда-то, и соил вместо песка чиркнул воздух да еще и вырвался из ладони.

“Свиноед!” — ругнулся Сары. Он тяжело сошел на землю и, стреножив вороного, долго и горестно сидел и смотрел на степь. Тусклая протяжная равнина, теряющаяся в дальних буграх, лежала перед ним. За буграми голубел горизонт.

“Сильные приходят — слабые уходят, — думал Сары. — Черная судьба! Неужели не пересилить ее?”

Он поднял соил, лежавший у ног, сделал несколько кругообразных движений кистью правой руки, потом левой: сухо хрустели больные суставы. В былые времена соил в его руках сливался над головой в один сплошной сверкающий круг.

“Когда наносишь удар, чуть отдергивай назад! — учил его отец. — И держи соил под углом...”

Они скакали к туго спеленатой кошме, лежавшей на дороге, и, когда до нее осталось мгновенье, отец страшным, неуловимым

для глаза движением, чуть подавшись вперед, нанес удар — кошма подскочила, вздохнула, плоско шлепнувшись на прежнее место. Сары смотрел с восхищением, свист раздираемого воздуха еще стоял в ушах, а отец уже снова мчался к кошме, и снова свист, невидимый удар и мягкое падение войлока.

Ничего не забылось, хоть и пролетело столько лет. Старая кровь, которую не дано выбирать и которая текла до него в стольких жилах и густела неведомо где и на каких насилиях и зверствах, не давала ему успокоиться. Воспоминания о прошлом, надежда, что он сумеет совершить задуманное, жили в нем. Ничего другого он не видел и не признавал. Даже великий степной закат, полыхавший перед ним малиновым, оранжевым, багровым, Сары не замечал. Он сидел неподвижно, уставясь в пустоту безжизненным взглядом, пока не услышал тревожное ржание, и только тогда лицо его приняло осмысленное выражение. Стреноженный конь неловко, боком скакал к нему. Остановился, задышал в лицо, глядя умными выпуклыми, блестящими глазами. Знакомо пахло чистой шерстью, сухой травой, острым конским потом. Сары сурово и ласково, как делал прежде, почесал жеребцу холку, освободил от пут и, хлопав по выгнутой шее, взгромоздился в седло. Конь шел под ним легко, уверенно, и с каждым шагом Сары чувствовал возвращение силы, казалось ушедшей навсегда. Подтянул повод, сжал коленями конские бока и поскакал: до захода солнца нужно было успеть добраться до жилья. Густая тень бежала рядом с всадником, изгибалась, взлетая по склонам холмов, и снова выпрямлялась, когда под копытами стелилась равнина. Ослепительно просиял солончак, потом медленно сузился, превратившись в серебряную щель. Громадное солнце плавилось у горизонта, уже касаясь краем земли и поджигая ее.

Как встарь, лежала перед Сары степная дорога, только вела она не к родному дому. Сары смотрел вдаль и видел перед собой лишь одно — ненавистное лицо обидчика.

Сначала Сары рассчитывал остановиться у Бестибая: не зря же собирались породниться? — но на двери знакомого зеленого вагончика висел замок. Соседи сказали, что старики где-то гостят,

а Жалел заболел и лежит у брата. Пришлось Сары искать пристанища за Узекон у знакомого чабана. Но прежде чем перебраться к нему на зимовку, Сары решил хотя бы издали увидеть врага. Надвинув на глаза тымак, уткнувшись носом в чапан, сидел он у столовой (самое бойкое место в поселке, которого никак не миновать!) — зорко всматривался в проходящих и терпеливо ждал, когда пройдет Ажигаленко.

Он увидел его перед заходом солнца и закаменел, разглядывая врага. Парень шел как ни в чем не бывало, сопровождаемый юрким человечком в тельняшке и пиджаке. Человечек забежал вперед, как бы пятился задом и подобострастно заглядывал в глаза, бормоча слова, которых Сары не понимал:

— Раздел, раздел вчера чувака! — восхищался человечек. — У шоблы глаза на лоб полезли, когда кинул туза. Теперь не будут зарываться... Фрайера-а-а!

Ажигаленко не отвечал, молча шел серединой улицы, казавшейся узкой для такого громадного тела. Сары повидал батыров за свою жизнь, да и сам в молодости не был тщедушным, но этакого великана, как сын Ажигали, пожалуй, встречать не приходилось. Увидев и оценив выгнутые коротковатые ноги, широкую выпуклую грудь, крутые плечи, в которых утопала голова, Сары почувствовал себя на мгновение косточкой, способной уместиться на ладони этого батыра.

“Неужели он когда-то помогал мне чистить конюшню, спал в моем доме, а потом донашивал шаровары и рубахи Бегиса?”

Сары, как хищная птица, прикрыл веками глаза, чтобы и взглядом не выдать себя. Но и в полной тьме он все равно ясно видел Ажигаленко, его длинные обезьяньи лапы, в которых, как перепелка, билась дочь.

“Почему в жизни столько зла? Почему оно сжирает людей, а они — друг друга?”

Косматые брови старика сошлись вместе, образовав как бы одну сплошную линию. Сары чувствовал тяжесть ножа, висевшего на поясе под чапаном... Слишком далеко. Даже если добежит — не успеет ударить...

Он сдержался, не кинулся на обидчика. Все так же неподвижно, ссутулившись, пряча глаза, сидел у столовой, пока не затихли шаги тех, двоих, что шли мимо. Только ветер завывал по дороге пыль, обрывки бумаги, щепочки.

“Когда я увижу, что ты лежишь мертвей мертвого, свинья?”

Старик поднялся. Лицо у него было ледяное, безжалостное. Медленно, через силу, прислушавшись, как вздувается и опадает сердце, добрал до коня, упрямо и твердо вставил ноги в стремя. На фоне неба всадник казался бесплотным. Просто темная фигура, вырезанная из жести и не отбрасывающая тени. В волчьей неукротимости Сары было что-то такое, что передавалось другим, приковывало внимание, и, пока он ехал через поселок на видном вороном жеребце, в траурных боках которого перекатывалось круглое солнце, все, кому он повстречался, останавливались, смотрели вслед: “Ну и дед! Откуда такой взялся?..”

Теперь оставалось вернуть телу хотя бы воспоминание о прежней силе и ловкости. Конечно, он понимал: как ни старайся, в прежнюю кожу не влезть, но и начинать такое дело без подготовки — значит совсем ума лишиться. Нет, его голова еще не похудела.

Сары смастерил из кошмы чучело и с раннего утра уезжал с ним в степь, бросал на землю и на всем скаку старался попасть соилом в белый крест, выведенный на войлоке. Сначала ничего не получалось: руки были как не свои, а тело болело, словно его долго били палками.

Чабан, у которого он жил, вечером помогал ему сойти с седла и, как ребенка, вводил в юрту: ноги уже не держали Сары.

— Э-э-э, разве так можно,— качал головой чабан, усаживая его на торе.— Охота охотой, но и себя побережь надо... Годы-то не прежние...

Сары отмалчивался. Хоть он и сказал чабану, что готовит жеребца к зимней охоте, но ведь солгал самую малость: тот, кого предстояло затравить, и был зверем...

Упругая злая сила не давала покоя старику, и, когда после бесплодных попыток впервые на всем скаку с одного удара свалил чучело, что-то вроде улыбки отразилось на чугунном лице старика.

Похлопывая жеребца по шее, Сары повторял и повторял одно и то же расчетливое движение, стараясь, чтобы тело делало все механически. Старик пускал коня то рысью, то галопом, тренируя его на разных аллюрах. Бросив повод, висел на стремянах, перебрасывая увесистый соил из одной руки в другую. Все послушнее делались мускулы, тверже рука, острее глаз.

Сары упрямо шел к цели, но не торопился: если сильно чего-нибудь хочешь — сумей выждать. Наконец уверился: “Пора!”

Ажигаленко жил, не подозревая об опасности. Да и кто встанет поперек дороги? Эти работяги, что вкалывают как полоумные день и ночь? Или шестерки, которым моргни — травой стелются под ноги? А что до того случая с девушкой-инженером — так о чем речь? Прошло-проехало. Жаль, конечно, что нет ее в Узке, а то, глядишь, и уговорил бы снова...

Однажды, возвращаясь из Форта, куда ездил проветриться да заодно стребовать давнишний карточный долг, Ажигаленко перед самым Узком увидел на бугре черного всадника. Показалось, человек на вороном коне смотрит в его сторону. Даже какая-то угроза почудилась парню, и он мотнул головой: “Чего только не привидится с похмелья!” Когда же снова взглянул — всадник исчез, растворился, словно его и не было. Но в памяти осталось: черный человек на лошади, от которого исходит какое-то беспокойство.

Спустя несколько дней он шел вечером через такыр, чтобы спрямить дорогу: она делала петлю, обтекая склад, где хранились горюче-смазочные материалы. На этом складе Ажигаленко числился разнорабочим, но появлялся там не часто. Тут же, как нарочно, кто спутал: пришел с утра и упирался всю смену да еще после работы прихватил пару часов — пришли бензовозы, и солярку надо было перекачать в цистерны.

Ажигаленко шел не спеша. Такыр глухо звенел под ногами. Солнце золотило глину, и она казалась червонной. Что-то заставило его оглянуться, хотя он не услышал ни звука. Даже топот копыт почему-то не донесся до него. И мысль, которую он отчетливо запомнил, была полна удивления и любопытства: скачет вороной конь, а ни следов, ни звука...

Черный всадник с соилом мчался прямо на него, беззвучно, неостановимо, как дух, и это было самое непонятное: “Откуда взялся? Чего хочет?” И вдруг вспомнил: “Он! Это он был тогда на бугре!..”

Несущийся конь и человек в тымаке заполнили его сознание громом копыт, когда было уже поздно. Бежать?! Но куда? Пески, ложбины, ползучие барханы еще, быть может, и укрыли бы его, но голый как бубен такыр...

Взгляды их встретились: горящий — старика и затравленный — Ажигаленко.

“Это же глаза Туйебая! Он смотрит на меня! А вовсе не его внук!”

В последний миг рука изменила Сары, и дубинка, просвистев мимо головы, ударила парня по плечу.

— Она же была твоей сестрой! — выкрикнул Сары с болью и яростью, пролетая мимо скорчившегося от боли человека. — Твоя сестра! Сестра! — хрипел Сары, поворачивая коня.

Он хотел подскать и объяснить этому червяку, извивающемуся на земле, за что мстит, но Ажигаленко видел только зловещего старика, опять летящего на него, играющего смертельным соилом.

— Свинья! Прочучу тебя! Прочучу! — рычал старик, напрасно стараясь распалить себя. Не осталось в нем прежнего: ни злости, ни ненависти. Глаза Туйебая все так же неотрывно глядели на него: “Что ты делаешь, Сары?! Он же твой родич! Мой внук! Пожалей щенка!”

Сары поравнялся с парнем, безвольно опустил соил. Ажигаленко тут же воспользовался оплошностью: схватился за узду, всей тяжестью повис на ней и остановил вороного. Извернулся, проворно и цепко обхватил шею коня, а другой рукой дотянулся до широкого пояса Сары. Теперь только оставалось сбросить старика на землю...

Сары увидел холодные глаза парня. Они смотрели как бы из маски, через две прорези, в которых тлел безжалостный огонек. Глаза были близко-близко, и Сары, медленно сползая с седла, понимал, что это конец.

“Кого пожалел?! Этого звереныша... Обесчестил дочь, а теперь прикончит тебя!”

Словно кто-то хлестнул старика по лицу. Изогнулся, кинул повод и, мгновенно перебросив соил в левую руку, коротко, с оттяжкой ударил. И еще. Еще. Красная пелена застлала глаза. В лицо брызнуло что-то теплое. Ослепленный яростью, Сары ничего не видел, только влажный и длинный звук, когда человек хватается остатки воздуха, донесся до него. Парень провалился вниз, цепляясь слабыми пальцами за гриву, а жеребец вдруг испуганно фыркнул, рванулся вперед, подминая под себя и топча копытами бесчувственное тело. Рука Ажигаленко, запутавшаяся в поводе, не отпускала коня. Весь в мыле, хрипя и кося глазом, вороной мчался через такыр, волоча за собой мертвеца.

Поздно ночью у одноэтажного домика, где помещалась Узекская милиция, остановился всадник. Он посидел в седле, словно раздумывая. Потом спешился. Привязал повод к крепкому некрашеному штaketнику и, уходя, неожиданно прижался лицом к конской гриве. Затем, твердо и тяжело ступая, преодолел ступени, вошел в коридор. Справа за открытой дверью горела сильная лампа. Молодой лейтенант, отложив иллюстрированный журнал, который листал, поднялся навстречу, уважительно здороваясь и разглядывая вошедшего. Перед ним стоял высокий кряжистый старик с темным будто опаленным, лицом и густой бородой, в которой сверкали серебряные нити.

— Садитесь, отагасы¹,— предложил лейтенант, пододвигая стул. И добродушно добавил: — Что случилось, аксакал?

Он ждал, что старик заявит о пропаже барана или, на худой конец, верблюда. Вошедший пасмурно глядел на него, помолчал и, так и не присев, негромко сказал:

— Убил человека. Вот пришел... Делайте что хотите... Лейтенант засмеялся, потрогал жидкие усики — предмет его постоянной заботы и расстройства:

¹Почтенный.

— Вы убили?! Сколько человек? Двух? Трех? — Но старик так глянул на него, что лейтенант сразу посерьезнел:

— Что за шутки?

— Разве человека убивают в шутку?

— Не понимаю. Расскажите, что произошло...

Старик поднял громадные ладони, провел ими по лицу. Руки у него были широкие, загорелые, в шрамах. Как у чабана или табунщика. В электрическом свете рукав чапана казался вымазанным суриком.

“Кровь!”

Не только рукав, но и грудь, плечи отливали красным, будто на улице шел кровавый дождь. Дежурный уже пристально взгляделся в старика, и что-то подсказало ему: дело серьезное. Он снял трубку, нервно накрутил номер: за все время существования поселка о таких делах и не слыхали... Потом нетерпеливо постучал по рычагу, с досадой подул в трубку и, не дождавшись ответа, бухнул кулаком в перегородку:

— Казбек?! Почему трубку не берешь?

Из-за стены не сразу, но откликнулся басовитый голос:

— Слышу-слышу, что случилось, Идрис?

— Зайди ко мне. Срочно!

Он повернулся к старику, все так же безразлично стоявшему посреди кабинета, словно ничто в мире уже не касалось его.

— Начнем по порядку... Фамилия. Имя. Год рождения...

Солнечный луч лежал на лице Жалела, и если открыть, а потом быстро закрыть глаза, то золотистый блик рассыпался мгновенными разноцветными искорками. Его забавляла эта детская игра, да и время бежало быстрее. Оно как бы исчезало, или, скорее, он сам исчезал во времени, чувствуя только солнечное тепло, и по мере того, как луч перемещался, он поворачивался вслед за ним, пока тот не пропадал. “Значит, кончился еще один день...” — думалось ему.

Жалел выздоравливал медленно. Но он был молод, тело его постепенно обретало прежнюю силу, и однажды, проснувшись

утром, понял, что болезнь уходит. И вместе с ней уходит опустошение тех дней, когда одиночество и безнадежность грызли его. И еще он знал, что выздоровеет и поедет за Таной. Ему казалось, что она все это время думала о нем, звала его, глядя на него заплаканными, грустными глазами.

“Как же я мог ее отпустить? — удивлялся он сам себе.— Что на меня нашло?”

Он улыбался своим мыслям и торопил время. Быстрее бы выздороветь и поехать в Шетпе... Быстрее бы!

Ему хотелось поговорить о своем намерении с кем-нибудь, и однажды, когда Халелбек сидел у кровати, Жалел сказал ему об этом. Брат как-то странно взглянул на него и ничего не ответил, но и не осудил. Будто Жалел и не говорил ничего.

— Тут вот какое дело...— сказал он после некоторого раздумья.— Помнишь здорового парня, Ажигаленко его фамилия...

— Бывший уголовник?!

— Да, бывший...— со значением сказал брат. Жалел не понимал, о чем идет речь.

— При чем тут он?

Брат медленно произнес:

— Этого парня убил отец Таны.

— Старик?

— Да. Старик!

— Не может быть! Что он — спятил?

— Не думаю. Сам пришел в милицию. Сказал...

— За что же убил?

— Случайно. Не хотел... Да тот набросился на него...

— Набросился! Что творится! Старик одной ногой в могиле...

Нет, он сумасшедший, да и все.

— Бывают разные обстоятельства...— Халелбек не договорил. Встал, прошелся по комнате.— Между прочим, этот Ажигаленко — внук Туйебая. Сары же когда-то был его правой рукой. Что Туйебай скажет — то и творил.

— А-а-а... Кто это помнит? Было и былшем поросло. Парень, поди, и понятия не имел ни о Сары, ни о своем деде...

— Возможно. А если Сары сводил старые счета? Вспомнил какую-нибудь давнюю обиду, которую нанес ему отец Ажигаленко?

— Дикость! — раскипятился Жалел. — В наше время мстить за старое. Вот что скажи: каким бы мерзавцем ни был этот парень... Ты знаешь: я к нему симпатии не испытывал. Но отнимать жизнь... Да за такое старика надо судить по всей строгости. В тюрьму его! — он поперхнулся.

Халелбек промолчал. Потом задумчиво, словно убеждая сам себя, произнес:

— И все же иногда бывают смягчающие обстоятельства... Эти уголовники... Да они хуже зверей! Такие подонки...

— Согласен. Но кто дал право без суда, без закона убивать?! Халелбек будто не слышал.

— Бедная Тана! — вырвалось у него.

— Она уже знает? — дрогнувшим голосом спросил Жалел.

— Да. Она здесь.

— Приехала? И ты не сказал?! — Жалел сел на кровати. — Дай мне немедленно одежду! Халелбек не сдвинулся с места.

— Не думаю, что тебе надо встречаться с ней сейчас...

— Почему?

— Ты нездоров! — мягко и вместе с тем настойчиво сказал брат. — Да и... Мне кажется, Тана не хочет сейчас видеть никого... Поставь себя на ее место...

— Я пойду! — словно ребенок, упрямо сказал Жалел.

— Нет! Ты не сделаешь этого. Прошу тебя! Поверь: Тане и так несладко. Пожалей ее...

Жалел с недоумением смотрел на брата. Что он имеет в виду? Почему не хочет, чтобы он увиделся с Таной? Казалось, в голове у него был какой-то план, которому брат следовал твердо и решительно, но в чем он заключался — Жалел не мог понять, а Халелбек не объяснял. То, что брат знает гораздо больше, чем говорит, Жалел инстинктивно почувствовал.

— Хорошо. Я никуда не пойду, — согласился он, бессильно откинувшись на подушку. — Раз ты просишь...

Какое-то зловещее напряжение разлилось по комнате, и Жалел, чтобы хоть как-то пробить эту напряженность, попросил:

— Тогда вот что... Скажи Тане: я болен. И если она... Ну, сам знаешь. Если захочет — пусть придет...

Халелбек кивнул. Он вышел из комнаты сразу же, не взглянув на брата, и то, как устало были опущены плечи, а главное, что Халелбек спешил уйти от какого-то разговора, от его вопросов, окончательно убедило Жалела: брат скрывает от него нечто важное.

Он думал об этом, пока не задремал, согретый солнечным лучом, и проснулся от голоса Жансулу, которая кому-то говорила: “Сейчас я посмотрю. Он, кажется, спал. Да-да, каины уже лучше...”

Дверь открылась, вошла Жансулу. Наклонившись над ним, она сказала горячим шепотом.

— Пришла жена Салимгирея. Такая шикарная... Умереть!

Окинула быстрым взглядом комнату, словно отыскивая непорядок. Пододвинула к кровати стул. Взяла пиалу с остатками чая.

— Так я...— И, не дожидаясь ответа Жалела, радушно и громко сказала: — Проходите, проходите!

Уверенно простучали каблучки, и Гульжамал появилась в комнате. Она была в белой шубке и такой же шапочке; лицо ее казалось розовым лепестком на фоне мехового воротника. Не дойдя до кровати, словно споткнувшись, Гульжамал остановилась, и Жансулу все так же гостеприимно передвинула стул поближе к ней:

— Садитесь, садитесь... У нас жарко! — И тронула руки, чтобы взять шубку, которая скользнула с плеч Гульжамал.— Сейчас сделаю чай...— Жансулу вышла.

Гульжамал повернулась к нему, словно только и ждала, когда они останутся вдвоем.

— Ну, здравствуй! Что же ты надумал болеть? Она взглянула на него искоса своими блестящими, будто голодными глазами. Достала из сумочки пакет:

— Алма-атинские! Слышишь, какой запах? Лучше апорта нет яблок! Верно?

Поставила пакет на стол. Упрекнула:

— Ты даже не поздоровался со мной!

— Прости... Такой неожиданный визит... Здравствуй!

— А если не прощу?

В ее фигуре, голосе, движениях было нечто волнующее, что подкупало любого, едва он видел Гульжамал. Словно с ней входило само древнее как мир женское обаяние, и еще непосредственность и лукавство.

— Ты чудесно выглядишь,— сказал Жалел, невольно для себя вступая в игру.—И шуба такая красивая...

— Салимгирей подарил ко дню рождения... А ты,— в ее голосе прозвучала обида,— даже не поздравил. Совсем забыл. А я только и жила воспоминанием о нашей последней встрече, надеждой, что увижусь с тобой...

— По тебе не заметно, чтобы ты переживала,— он улыбнулся тонкими бескровными губами. И эта улыбка почему-то разозлила ее.

— По-твоему, я должна ходить в трауре? Да еще паранджу накинуть на себя? Ну нет! Одни трезвонят на весь мир о своих бедах...— Она сделала паузу, и гримаса, словно Гульжамал вспомнила что-то неприятное, исказила ее личико.— Другие вовсе не стремятся, чтобы об их боли стало известно кому бы то ни было. И в этом, я думаю, больше мужества и гордости... А уж порядочности — точно!

Казалось, он не слышит. Лицо его в солнечном свете выглядело безжизненным, а запавшие глаза смотрели издалека и все так же насмешливо: “Старая песня. Зачем повторяться?”

— Как себя чувствует Салимгирей? — вежливо и сухо спросил Жалел.

— Отлично! Как всегда — ни на что не жалуется. Просил тебе кланяться. Так прямо и сказал: “Поклонись от меня Бестибаеву!” И еще... Что-то насчет структурной карты. Четырнадцатый пласт... нет, вру... кажется, семнадцатый. Или четырнадцатый? Не помню сейчас уже! Сами все выясните, когда друг с другом встретитесь.

Она беззаботно махнула белой рукой, на которой кроваво блеснуло кольцо с гранатами. Большие серьги с такими же камешками — будто капельки крови прилипли к ушам — очень шли ей.

— Как это говорится на заседаниях: “Надо решить текущие вопросы”? Так вроде? Вот и пришла...

Выражение ее лица изменилось: оно стало сосредоточенным, будто Гульжамал решала, с какой стороны подступить к нелегкой для нее задаче. Не спуская с него своих внимательных глаз, продолжала:

— Ты похудел, пожелтел. Тебе вовсе не идет худоба. В отпуск не собираешься? Надо бы тебе отдохнуть... Я еду в Кисловодск — водички попить. Может, и ты?.. Похлопотать о путевке? Я так соскучилась. А ты?

— Нет! — быстро ответил он. Его уже раздражала эта игра.— Нет! — повторил он твердо.

Было непонятно, на какой вопрос он ответил и что отрицал. Но она поняла.

— А я — очень! — сказала она откровенно.— Иногда проснусь ночью, представлю тебя...

Она протянула ладонь, коснулась его щеки. Пальцы были прохладные и немного дрожали.

— И небритый... Муж-чина,— отдельно проговорила она.— Помнишь у Чехова: мужчина состоит из мужа и чина...

Он неловко дернул шей, словно хотел освободиться. Они смотрели друг на друга, и Гульжамал что-то заметила. Словно в его глазах отразилось не ее, другое лицо.

— Ты стал такой колючий, — все еще ласкаясь, проговорила она.— Но ничего. Колючки можно подстричь. Пригладить...

— Гульжамал! Не надо! — как можно мягче сказал он,— После того...—Он замялся, подыскивая слово.— Ну, когда виделись с тобой... Мне было так стыдно. Перед Салимгиреем. Перед собой. Да и тебе, наверное...

— Мне? — в голосе прозвучал испуг.— Почему мне должно быть стыдно? Перед кем? — Она защищалась инстинктивно, поженски.

— Пойми меня... Я люблю девушку. Она сама чистота. Почти ребенок... Пойми, я не могу ей лгать, обманывать...

— Но твое неземное существо улетело.— В голосе была вкрадчивость. — Так чего же казнить? Просто не понимаю...

— Я думаю, что Тана уехала, узнав про нашу встречу...

Гульжамал прищурила глаза. словно две голубенькая льдинки мерцали за густыми ресницами.

— Ты, наверное, слышал, что ее отец...

Он перебил:

— Знаю. Не наше это дело. Что-то сверкнуло в ее взгляде.

— Не наше? А почему он убил, знаешь?

— Я же сказал: не наше дело. Поговорим о другом.

Но Гульжамал уже было не удержать. Два красных пятнышка горели на щеках — признак крайнего раздражения.

— Скажите пожалуйста: не наше дело... Девушка... ребенок, сама чистота...— передразнила она.— Что ты все носишься с чистой?! Да знаешь, что говорят о твоей кгасавице? — В самой картавости, с которой она выплевывала слова, казалось, таился яд.

Гульжамал нависла над ним. Он слышал ее дыхание, аромат духов, теплый запах тела. Багровый накрашенный рот зиял, как рана.

— Она... она,— Гульжамал захлебывалась от злости,— была с этим парнем... А отец застукал. Понял?

— Замолчи! Ты врешь!

— Я, я, я вру?! Клянусь тебе — это так и было... Все говорят. Весь Узек! Что? Не нравится? Да, правда горька. Ты еще не женился на ней, а уж в рогах...

Он смотрел на нее, не отрываясь, сверля ее взглядом, словно хотел высветить ее душу: “Лжет? Или правда? Неужели правда? И все знают об этом?! Вот почему Халелбек так вел себя...”

Он словно остолбенел, застыл, заледенел. Он не мог пошевелиться, вымолвить хоть слово. Его взгляд отрезвил Гульжамал. Она тронула его за плечо:

— Жалел!

Он не пошевелился. Она прильнула к нему:

— Что с тобой? Что?

Он не то ударил, не то оттолкнул ее. Повернулся к стене. Голос Гульжамал, торжествующий, жесткий, бился в ушах: “Она обманывала тебя! Лгала! Играла в невинность... А ты ей верил, верил...”

— Уйди! Прошу тебя! — прохрипел он в стену.— Ты мне противна! Ненавижу! Всех!

Он не видел, как рука ее беспомощно дернулась, лицо исказилось. Она всхлипнула:

— Жалел! Я люблю, любила и буду любить тебя всегда! Пойми! Мне ничего и никого не надо. Я думала, что и ты меня любишь. Но ошибалась! Ошибалась! — твердила она сквозь слезы.— Ты меня не понимал и не любил. Почему? Неужели, чтобы любить друг друга, нужна семья? Разве нельзя просто любить и быть любимой?

Жалел лежал как каменный. Ему казалось, что его глаза, которые он прикрыл веками так крепко, как только мог, смотрят внутрь, в него самого, и там не видят ничего, кроме тьмы и безнадёжности.

— Жалел! Скажи же что-нибудь! — рыдала Гульжамал.— У меня тоже есть гордость! Ты думаешь, мне легко было прийти к тебе сегодня? Легко?.. Неужели для нас все кончено? Неужели нас одолели?

Он хотел только одного: не слышать, не видеть ничего и чтобы она наконец ушла, провалилась к дьяволу со своими лживыми словами, клятвами, слезами. Выручила Жансулу. Она вошла неслышно, тут же, конечно, заметила и мокрое от слез лицо Гульжамал, и отвернувшегося к стене Жалела, но не выразила удивления, словно так и должно быть. Поставила поднос с чайником, пиалами и сладостями на стол, мягко проговорила:

— Выпейте чаю! Лепешки свежие. Утром пекла.— И понеслась к двери.

Гульжамал встрепенулась:

— Подождите, минутку... Мне пора уже...

Достав платочек и зеркальце, стала осторожно промокать

глаза, даже сейчас, по неистребимой привычке, боясь размазать краску с ресниц.

— Прощай! — негромко сказала она и вышла вслед за Жансулу.

Жалел не шевельнулся. Только вздрогнул, когда хлопнула входная дверь, словно ледяной ветер дохнул из коридора.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Почему не остановил? Почему не крикнул вслед: “Брат! Прости меня. Слышишь? Я не прав. Прости...”

Не крикнул, не остановил.

“Ничего. Еще договорят, доспорят. Все впереди. Целая жизнь”.
Вечная надежда. Всегдашнее утешение.

“Если бы знать. Если бы только знать...”

Всего несколько слов. Такая, в сущности, малость. Да и слова-то обыкновенные. Но почему же кажется: произнеси их — и все переменилось бы. Они помогли бы. Выручили. Спасли. От чего? От того, что зовется судьбой? Его величеством случаем? Нелепость. Разве смерти можно втолковать, чтобы она подождала, повременила?..

Секундомер включен. Слышишь? Тик-так. Тик-так. Качается маятник. И каждое мгновение отмеряет жизнь. Твою и тех, кто рядом с тобой. Каждый шаг, каждый вздох. И все та же дорога. Одна, единственная. С нее не сойти, не повернуть...

Так он шел и думал. Или не думал, а мысли автоматически приходили к нему в который раз. Остроты прозрения не было. И конца не было. Мысли перебивались другими, обыкновенными: “Вон бежит собака... Этой зимой много снега... У ларька очередь за пивом...”

Наверное, так было нужно, чтобы хоть что-то живое сохранялось в душе. Он хотел сберечь память или, вернее, то, что казалось ему памятью, а других средств для этого не было. Или он их не знал? Брат все уходил и уходил от него по белой дороге. Такая же дорога стелилась и позади него. И ничего не изменилось. Узек на месте. Буровые — тоже. Зима. Он идет с работы. Только нет брата.

“Если бы окликнул, остановил...”

Брат уходил. В коридоре еще слышны его шаги, голос: с кем-то перекинулся парой фраз. Какие-то обрывки: “Разрыв пласта... Шарошка... Метров триста — сплошной мел”.

Собеседник говорил медленно, с кавказским акцентом: “Настоящий ишак. Уперся — не сдвинешь. У нас про таких расска-

зывают: осла спросили: “Когда до деревни дойдешь?” Ответил: “Спроси у погонщика”. Засмеялись. Потом все затихло. Брат ушел... Если бы окликнул, остановил...

И рев. Ужасный рев обрушился с неба. Будто вздохнула вселенная и все, что есть на ней, вот сейчас, сию минуту, схваченное адской, неуправляемой силой, поднимется, распадется и понесется в бездну ничтожнее пыли.

Скорее догадался, чем услышал: тарыхтит телефон! Схватил трубку. Дежурный диспетчер орал, стараясь прорваться сквозь гул, но шелест едва доносился: “Дежурный Ющенко! Говорит Ющенко! Выброс на шестьдесят третьей! Выброс... Газ!”

До сознания дошло не сразу: “Это же скважина брата!”

В трубке тонко, по-комариному зудело: “Жалел Бестибаевич? Вы слышите? Выброс на шестьдесят...”

“Машину! Машину!”—надрывался Жалел. Но Ющенко твердил свое: “Газ! Вы слышите? Выброс на шесть...”

Их прервали. Жалел постучал по рычагу. Позвонил в гараж. Занято. Он перекидывал трубку из ладони в ладонь, словно пластмасса была раскалена. Снова позвонил — снова занято. Кинул трубку на рычаг, выскочил в коридор. Он был совершенно пуст. Даже у кассы, где всегда кто-нибудь толокся, не было ни души. Торкнулся к Тлепову. Никого. И секретарши нет в приемной...

“Куда все подевались? Странно...— машинально взглянул на часы.— Двадцать семь минут второго. Перерыв. Священный час принятия пищи. Черт побери! Что же делать?”

Он на миг растерялся. Выбежал на улицу. Плотный студеный воздух раскалывался от рева. Там, где темнела буровая, билось пламя. Оно уже стерло вышку, словно ее никогда и не было. “Быстрее. К гаражу! Там возьму машину...”

Он мчался напрямик, через сугробы. Падал, поднимался, снова падал. Ноги в кожаных легких ботинках скользили, разъезжались. Барахтаясь в сугробах, он терял время. “Надо было дозвониться. Вызвать машину. А-а-а, ладно. Ближе уже...”

Кто-то, неслышно догнавший его, дернул из руки шапку — он и забыл про нее! — нахлобучил ему на голову. Что-то говорил,

но не разобрать. И лица не запомнил. Да и не вглядывался. Высокий костер у горизонта притягивал как магнитом. Он на глазах набухал то кровью, то чернотой. Ужасные узлы перекручивали его. Огненный столб тончал, тончал, вытягиваясь в струну, — вот сейчас лопнет, разорвется — и вновь распухал, будто громадные мехи раздували костер.

“И сделались пламень и огонь и пали на землю; и степь стала прахом, и твари земные испепелились...”

Если бы не рев, от которого гудела земля, далекий грифон вовсе не казался страшным. В нем даже виделась своя, зловещая красота: гигантский огнедышащий цветок распустился посреди заснеженной степи. Траурной каймой были оторочены его алые лепестки, а гибкий стебель отливал то оранжевым, то золотым, то багровым.

“Быстрее! Быстрее! — шептал он, будто это могло что-то изменить. Одна мысль среди других — путаных, угарных — гнала его: — Брат! Брат! Как ты там? Господи, если ты существуешь... Если есть нечто высшее... Справедливость, Доброта, Любовь, Милосердие — помоги! Сделай так, чтобы брат остался жив. Уведи от беды!”

Безжалостный ветер дул навстречу. Наворачивался в груди ледяной ком. Подкатывал к горлу, душил.

“Быстрее! Быстрее!”

Уже у самого гаража зацепился за проволоку, упал, разодрал ладонь. Но боли не почувствовал. Из ворот вынеслась машина. Едва не угодив под колеса, кинулся навстречу, замахал руками, закричал. Грузовик затормозил так, что его развернуло на дороге. Но не было слышно ни скрежета тормозов, ни чертыханья шофера, открывшего дверцу, ни работающего мотора. Мир онемел. Только рев шел над степью, заглушая, придавливая все живое.

В кабине сидели друг на друге. Перемахнул через задний борт, нырнул под колышущийся тент. Машина сразу рванулась, его качнуло, но несколько крепких рук помогли устоять. Жалел и не спросил — был уверен: туда, к буровой, торопятся! Снял шапку, вытер потное лицо. Кто-то накинул ему на плечи ватник. Подви-

нулись, освобождая место на скамейке. Он сел и встретился глазами с Михаилом Михайловичем Алексеенко. Механик держал на коленях знакомый железный сундучок с инструментами. Невозмутимо и вместе с тем ободряюще механик глядел на Жалела, и от этого умудренного, всепонимающего взгляда, и еще оттого, что был теперь не один, а среди людей,— немного отпустило, отлегло от сердца.

“А может, обошлось? Почему нужно думать о худшем? Еще накличешь...”

Сунулся в пиджак за сигаретами и вспомнил с досадой: “Оставил второпях на столе...”

Перегнулся, попросил у соседа закурить. Тот протянул мятую захватанную пачку “Беломора”, зажег спичку. От курева и совсем полегчало. Даже куда-то пропали, рассосались морозные иглы, коловшие грудь.

Подлетели к буровой, или к тому, что от нее осталось: раскаленной и бесформенной гряде металла. Не цветок — чудовищный многоглавый дракон плясал на этой гряде. Вершина его терялась в вышине, а люди рядом с его неохватным пламенным подножием казались копошащимися муравьями, испуганными и суетливыми.

Жалел спрыгнул на землю, и его сразу обдало жаром, как из печи, так что пришлось заслониться руками. Огляделся, ища знакомых. Первым, кого заметил, был Тюнин. Измазанное сажей, без ресниц и бровей, сожженное лицо буровика сразу даже и не узнал — так оно было перековеркано. Тюнин куда-то бежал, почти наткнулся на него и, увидев, сделал движение, будто хотел укрыться или спрятаться. Жалел схватил его за плечо: “Где Жалелбек? Ну?”

Словно ноги не держали его, Тюнин опустился на землю. Поманил за собой, притянул близко-близко. Трясущиеся лиловые губы впились в ухо. Сначала бубнил про то, как загорелся вагончик. Как тушили... Зачем-то показывал прогоревший сапог.

Потом рыскнул глазами. Подпрыгнуло и упало сердце.

“Приехал, значит, он из поселка. Обедали как раз. Говорим, садись с нами. Каурдачок подрубаем... — лихорадочно, глотая слова,

бубнил Тюнин.— Отказался. Вроде как подрасстроенный чего-то. Может, из-за лебедки? Она еще вчера барахлила, а мы не починили. Пошел делать. Один пошел. И тут вскорости засвистело, завыло. Выскочили — он по трапу бежит. Торопится. Фукнуло — и факел! Он как споткнулся. И все... На глазах...”

Лицо его мучительно исказилось. Подгребая рукой, неуклюже, по-крабьи отполз в сторону. Плечи в обгоревшей, лохмами висевшей рубахе вздрагивали. Чадил догоравший поодаль вагончик. Синеватое дрожащее пламя перебегало по головешкам. За спиной масляно, чадно, ликующе рычала буровая. Газ, выжимаемый и выжимаемый страшным давлением, рвался наружу, победно, мстительно сжигая землю.

“И сделались пламень и огонь и пали на землю... Но почему? За что? Почему именно он пошел к этой растреклятой лебедке? Никто. Он! Один...”

Откуда-то возник Тлепов. Поил чаем из термоса. Зубы судорожно стучали о стекло. Куда-то повел. Очутились у газика. Саша распахнул дверцу, показывая на сиденье рядом с собой. Сообразил: его же хотят отправить. Ну нет! Ни за что!

Он взвинченно замотал головой. Шибанул дверцу, закрывая ее. И жизнь, и смерть, и мысль — все теперь было в одном: задавить этот вырвавшийся из подземного мрака сумасшедший смерч. Задушить. Прикончить. Загрызть. И все! А там, дальше, за этим уже ничего не было, да ничего и не надо. Только одно: он должен сейчас, немедленно врубиться... Это же скважина брата...

Джандос, видно, понял. Махнул Саше рукой, и тот умчался куда-то. Около них крутились люди. Тлепов деловито, толково распоряжался. Уже приползли бульдозеры. За ними два тягача.

“Жалел! Ты отвечаешь за трубопровод. Понял? Надо воду подтащить! Бригаду подбери сам...”

Странно, что голос Джандоса доходил до сознания, перебивая гудящее пламя.

“Сейчас это главное! Трубопровод! Вода! Вода!”

Сияло равнодушное солнце. Потом бледно светили звезды, меркнувшие перед заревом, кругами плывущим от буровой. Затем

снова солнце и снова звезды... К вечеру третьего дня его закрыли облака, повалил снег. Он падал целыми лопатами, и его было так много, словно он копился в вышине специально, чтобы вот так разом обрушиться на плюющую огнем и смрадом истерзанную землю, остудить ее, прикрыть девственно чистым покровом.

Бульдозеры наступали на огонь, растаскивали тросами налившую светом арматуру. Они работали так близко от ревущего багрового грифона, что краска на кабинах пузырилась, лопалась, и водители, выскакивая наружу, окатывали машины водой, как запаленных коней. После нескольких неудачных попыток тягачи выволокли когда-то небесно-голубые, а теперь аспидно-черные насосы. Мертвые машины беспомощно темнели на снегу, глядя слепыми отверстиями, в которых уже голубел лед. Пескоструйные пушки, доставленные из Баку, срезали торчащие трубы. Бригада Аширова пробивала наклонную скважину, чтобы перекрыть ствол аварийной.

К исходу шестых суток заработал, наконец, трубопровод. На радостях ему дали такую нагрузку, что он, сметанный наскоро и толком не проверенный на герметичность, разорвался, как гнилой шланг. Пришлось снова разрывать траншею, вырезать и латать стальные трубы. И на это потеряли почти двое суток. Жалел сам проверял каждый стык и даже заваривал (у него был диплом сварщика, и он любил эту горячую, точную работу!) последний шов. Трубопровод испытали под давлением, и на этот раз нитка выдержала. Буровики Аширова днем и ночью гнали под землю утяжеленный раствор, чтобы задавить разбушевавшийся пласт, и пожар стал понемногу задыхаться. Газ ревел все так же свирепо, но подземные мехи, накачивавшие его, начали давать сбои.

Все последние дни дул порывистый северо-восточный ветер. Он раздувал и колебал огненный столб, который, качаясь из стороны в сторону, чертил по степи гигантские зигзаги. Люди, копившиеся вокруг скважины, то вырастали великанами, такие могучие тени отбрасывало пламя на снег, то делались ничтожными, приплюснутыми, словно чудовищный грифон высосал их.

“Вовсе не боги, не герои, не великаны — обычные люди-человеки делают трудную, непостижимую работу,— думалось Жа-

лелу.— Они так же мучаются, страдают, мерзнут, как и ты. Теплов, Алексеенко, Тюнин — они из одного племени. И тебе еще много надо ломать в себе, чтобы встать с ними вровень”.

Простая мысль вдруг приобрела для него глубокое значение. Конечно, смысл ее знал и раньше, но теперь сложилось как-то так, что вроде он сам открыл вечную и такую очевидную истину. Он существовал теперь и в этом снегу, и в трубопроводе, по которому неслась вода, и в небе, и в сварщике, у которого брал маску...

Он со всеми и во всем.

Выношенный в сердце опыт, который он накопил в Узеке, уложился в этих немногих словах. Ему хотелось рассказать о том, что он пережил, и, встретив старого Алексеенко, попробовал заговорить с ним об этом. Механик, монтировавший превентор¹, только что боевыми словами крыл своего помощника, молодого слесаря, запоровшего заготовку. Жалелу показалось, что старик не понял, о чем он ведет речь. Механик подумал, почесал глыбистый лоб и, наконец, сказал: “А ты покемарь пойди... Вид у тебя какой-то замороженный. Да и то... Никак невозможно столько времени на ногах толочься...” И опять напустился на промахнувшегося в работе парня.

Жалел постоял, чувствуя теперь только одно: страшную усталость и опустошенность. Словно все распалось, разлетелось на частицы. Еле-еле передвигая ноги, он побрел к вагончику. Покурил, оцепенело сидя в углу, где были свалены спальные мешки. Движения, звуки, мысли постепенно уходили в пустоту, словно клубящееся, свивающееся в кольца пламя за окном затягивало и поглощало их. Залез в спальный мешок и как провалился. Сколько времени прошло в забытии, он не знал. Когда очнулся, в окно врывалась луна с подмороженным белым боком.

— Анализ подтвердил, что цемент строительный... Как он очутился на скважине? Из-за халатности. Мешки на складе навалили вперемежку, а лаборанты проверили часть мешков и решили:

¹ Устройство для глухого перекрытия устья скважины.

весь цемент нужной марки. Зацементировали скважину, а пробка не удержала газ. Вот и пошло-поехало...

За столом сидели Тлепов, Тюнин, Алексеенко, Аширов. Еще кто-то. Они разговаривали негромко, но все слышалось отчетливо: позвякивание стаканов, стук тарелок, скрип скамейки, вздохи и кряхтенье...

И тут он сообразил, чего не хватало. Привычного рева, подминавшего под себя все.

Тишина. Какая же вокруг блаженная и звонкая тишина!

Он приподнялся и спросил, чтобы увериться окончательно:

— Задавили пласт?

Никто не отозвался. Ни одна голова не повернулась в его сторону... Что это? Неужели не слышат? Ведь он кричал...

Он выпростался из мешка и подошел к сидящим за столом.

— Проснулся! — обрадованно сказал Тлепов.— А мы уж будить хотели. Ну рванул... Четырнадцать часов. Как из пушки! Садись с нами ужинать...

Он ответил, что есть не хочет, и не услышал собственного голоса.

“А-а-а, сорвал на морозе... Потому и...”

Ткнул рукой в сторону буровой, и Тлепов, скорее всего по движению губ, сообразил:

— Задавили! Задавили!

А Михаил Михайлович перебил:

— Придушили гадину! Двадцать три дня крутились! Это как? Вот, помнится, на Эмбе в тридцать втором... Такой выброс был — страх и ужас. Четыре месяца горело. И все четыре месяца безвылазно сидел. Верите, жена белье сменное привозила... Из Баку, Грозного, Майкопа спецы понаехали. Пожарных нагнали. Сам нарком прилетал на аэроплане. Всю зиму мучились. В одном месте забьем — в другом лезет огонь. Земля как решето стала. Народу пожглось... Четыре месяца наклонную пробивали, раствор закачивали... Да ведь техника-то не такая, как сейчас. Все вручную. Пуп рвешь, а толку нет. Машина — великое дело. С ней и черту рога обломаешь.

Жалел отчужденно сидел у стола, обводя попеременно небритые, почерневшие, словно незнакомые лица. Слова Аширова, слышанные им только что, буравили мозг.

“Цемент! Значит, никакого нарушения брат не сделал! Цемент не той марки. И все. Жизнью заплатил за чью-то халатность...”

Тоской прожгло глаза. Резко поднялся, вышел из вагончика. Ясно светили звезды. Серебрился снег, укрывший развороченную, перемолотую колесами и гусеницами, опаленную землю.

“Как же так? Сидят, треплются, чай гоняют... А брат! Брат!”

Скрипнула дверь. В освещенном квадрате двери выросла фигура и исчезла, слившись с темнотой. Жалел безразлично отвернулся. “Как же теперь жить? Ради чего? Если даже лучшие... Самые лучшие, перед которыми еще вчера готов был снять шапку и поклониться... Уже забыли...”

Чья-то крепкая рука обняла его за плечи.

— Ну что ты, что ты...— голос Тлепова доносился как сквозь вату.— Жить. Жить надо! Знаешь, как старик Алексеенко говорит? “Помирать собрался, рожь сей!” Сей! Значит... Мы с тобой, значит...

Он придушенно всхлипнул. Жалел неловко попытался высвободиться, снять с плеча руку и тут коснулся ладонью его щеки: она была мокрая от слез, как и его.

Почему не остановил брата? Почему не крикнул: “Подожди... Давай договорим...” Ведь так просто, всего несколько слов. Промедли секунду-другую, и, быть может, его еще можно было вырвать у судьбы. Не окликнул. Не остановил. Почему живет эта проклятая уверенность, что еще успеется, что еще можно поправить потом, позже?..

А время уходит. Невозвратно, как вода меж пальцев. Сжимаешь ладонь, а там пустота. В один и тот же поток дважды не войти. Сколько раз убеждался в дальновидности, благоразумии, мудрости этой истины, и все равно в решающий момент случалась какая-то осечка, закавыка, промедление. Что это? Простое стечение обстоятельств, мешанина случайностей, которыми так богата судьба, или он сам их придумывает, оправдывая себя? Но для чего? Чтобы оттянуть неприятное объяснение, избежать ссоры, не при-

знать ошибку или не хватает твердости, прямоты, мужества? Но почему — “или”? Одно вытекает из другого. Как будто проявляешь фотографию. Сначала неясные пятна, полосы, черточки. Они сливаются, сцепляются, стягиваются вместе, и вот проступает что-то очень знакомое... Да это же ты сам! Твое лицо на мокром, глянцево-блестящем картоне.

Вспомни: так было с Гульжамал. Потом повторилось с Малкожиным, едва он намекнул, что можно занять место Тлепова. И вот теперь с братом... Выходит, все эти петли, зигзаги, повороты, отступления — твоя сущность? Выходит.

Да, дважды в поток не войти...

Он словно выключался, мертвел. Шагал размеренно, механически. Кивал знакомым. Остановившись у газетного киоска. Купил журнал “Новый мир” и “Известия”. Человек возвращался с работы. Усталый, озабоченный. Но кто без забот? И разве их так уж мало у главного геолога Узека?

Возле клуба на столбе урчал динамик. У кассы за билетами на вечерний сеанс толпился народ. Передвижная бытовая мастерская принимала заказы на костюмы и платья из материала заказчика и ателье. В сапожной будке сидел грустный армянин, стучал молотком, словно время отмерял: тук-тук... тук-тук... А над всем этим висело тонкое, как стертая монета, солнце. Сталью отливала заснеженная степь. Сквозили вышки, шагавшие друг за другом. Если бы не они — не на чем было бы зацепить взгляд.

...В тот день так же светило солнце. И брат шел той же дорогой. Видел клуб, сапожную будку и этот стальной снег. О чем ему думалось? Что вспомнилось? И зачем он все-таки приезжал с буровой? Так неожиданно, странно появился. Не для того же, чтобы, открыв дверь, пошутить: “Начальник принимает? Я по личному вопросу...”

О чем хотел поговорить? Или все же предчувствие?.. Приезжал проститься? Так получается. Но откровенной беседы у них не вышло. Халелбек передумал или он перебил? Теперь не узнать. Никогда не узнать. Просто факт: за час до гибели брат приехал к нему. Совпадение? Случайность? Думай как хочешь. Спросить не у кого.

Брат сидел спиной к окну, через которое сочился жиденький зимний свет. Смотрел издалека. Будто с другого берега. Или так казалось, потому что он глядел на него против света.

— Ну что с шестьдесят третьей?

— Нормально. После тысячи метров попадались каверны, но проскочили без прихватов.

— Когда начнете испытывать?

— Сегодня. После обеда.

— Может, подъеду...

— Давай.

Проклятая шестьдесят третья! Сколько мудрили с ней. Сначала заложили в проект две с половиной тысячи метров с отбором керна. Потом передумали: дескать, сэкономим, пройдем полторы тысячи, испытаем десятый и одиннадцатый горизонты, а дальше видно будет... Сэкономили, называется...

С чего же начался разговор? Брат спросил: не собирается ли он в Шетпе? Промолчал. Как и не слышал. Брат повторил, и тут он взорвался:

— Какого черта! Лезут с советами, сочувс. Учат... И ты тоже...

Последняя встреча с Гульжамал, грязные пересуды, допрос у следователя по делу Сары, где дотошно выспрашивались подробности отношений с Таной; любопытные, жалостливые, раздражающие взгляды, которые он ловил на себе,— все-все, что накапливалось изо дня в день, захлестнуло его как лавина.

— Запомни! — кричал он.— Я не хотел говорить на эту тему — ты начал первый! И коли так, то слушай: я от тебя такого предательства, такой подлости не ожидал. Ты знал! Знал все с самого начала — и не сказал мне. Боялся впутаться? Трусил? Да этот безумный старик, что прикончил мерзавца, в сто раз порядочнее тебя...

Он несся, сам не зная куда. Лишь бы выговориться, выплеснуть муть, осевшую на душе.

— Да-да, честнее. Пусть Сары убийца, но его можно понять. Он защищал честь дочери, свою честь. А ты? Скрывал, таился, юлил. Только когда запахло жареным, пошел к следователю... Говоришь, пожалел старика? А меня? Кто меня пожалеет?..

Слова, как пена, вскипали на губах. Он уже не слышал, не помнил себя. Потом, после всего, пытаюсь восстановить, что же наговорил, всплывали только бессвязные клочья. Обидные, горькие, жалкие. Сколько выпалил бессмысленных слов! А самых важных, последних, искренних, наконец, просто человеческих, которых, наверное, и ждал брат, так и не сказал.

Зачем мучил его? Ведь прекрасно понимал, что можно целиться и бить сколько угодно: мишень громадная, неподвижная и совершенно беззащитная. Знал: брат не станет отвечать, оспаривать — и потому попадал наверняка. Жалил презрением, гвоздил нелепой злостью. Все свои неудачи и промахи, сомнения и страхи вколачивал в человека, сидевшего перед ним. А секундомер неслышно отсчитывал последние мгновенья. Работал сам по себе. В гулкой пустоте, могильной тиши. Каждым движением притягивая, подталкивая смерть. Неумолимо. Секунда за секундой. А он, захлебываясь от бессильной ярости, перемешанной со стыдом за то, что не может взять себя в руки, выкрикивал бесконечные упреки. Обвинял брата в лицемерии, жестокости, равнодушии... Бог знает еще в чем. В последние-то минуты...

Тик-так... Тик-так... Слышишь не слышишь, хочешь не хочешь, но механизм работает неостановимо. Отсчитывается и сжимается твоя жизнь. И жизнь самых дорогих тебе людей. Сколько осталось жить? Прислушайся! Год? Час? Мгновенье? С циферблата оскалится смерть. Уставилась пустыми глазницами: “Ты здесь? Ждешь? Ну-ну...”

Прежде чем уйти, уже взявшись за ручку двери, брат помедлил немного. Постоял как бы в раздумье и в этот миг был очень похож на отца, когда тот сидит по утрам у костерка и задумчиво глядит на огонь.

Негромко, с осторожностью врача, Халелбек произнес:

— Пойми, я только хотел как лучше... Для тебя, для Таны, для отца... Может, получилось не так... Но думал, что ты и Тана... Ведь вы...

Не договорил. Вышел из комнаты, тихонько прикрыв дверь, словно и впрямь в комнате находился тяжелобольной.

Главное было не в этих последних словах, не в том, что он медлил уйти, а в выражении лица и еще в голосе. Мягком, словно тоскующем о чем-то или прощающем. Так бывало в детстве, когда, провинившись в чем-то или плача от обиды, он бежал к нему, ища поддержки, утешения, ласки, потому что лучше всех понимал его всегда старший брат. Он был сильнее, добрее, решительнее. Всегда стоял рядом. Всю жизнь. И вот круг завершен. Он остался один. Брат все уходил и уходил от него. Убегала белая дорога.

Такой же путь стелился позади него. И ничего не изменилось. Только нет брата.

Ему вспомнилось, что когда-то давно он видел такую же пустую белую дорогу. Было лето: по дороге на громадных колесах катилась арба. В арбе сидел брат. Его закрывали чьи-то головы в тельпеках, и брат вытягивал шею, приподнимался, смотрел на него до последнего мгновения, пока арба не скрылась за поворотом. Куда он уезжал? И почему на арбе? Кто были эти люди, сидевшие рядом и загораживающие его? Он ничего больше не помнил. Только глаза Халелбека, мучительно долго глядевшие на него, да белую дорогу, да громадные колеса арбы, вращающиеся как сама судьба.

“Пойми, я только хотел как лучше... Думал, что ты и Тана...”

Почему последние мгновения всегда разглядываются через увеличительное стекло? Что говорил? Как вел себя? Любые слова, жесты, поступки кажутся важными, будто в них заключена тайна, которую предстоит разгадать. Но в чем тайна? В переходе от смерти к небытию? Но не в словах же она? Да и кто на свете, кроме самого человека, переходящего черту, отсекающую жизнь от смерти, может понять ее? Обычный день, каких прошло тысячи, и вдруг то, что называется жизнью, разваливается, ломается, исчезает. Те же, кто остается жить дальше, начинают домысливать: “Видно, он чувствовал что-то... В нем было такое, такое... Ну, странное...”

Нет, ничего не было. Это все ерунда. Жалкая попытка заглушить свой собственный страх. Никто не знает, когда и где обрушится, грянет неизбежное. Сегодня, завтра, через пятьдесят лет... Невозможно ничего предвидеть, невозможно вернуть.

Дважды в один поток не войти...

Он на миг представил свое окоченевшее тело, лежащее дома на столе или в мертвецкой при больнице. Близких, занятых хлопотами о том, чтобы побыстрее, как того требует обычай, зарыть его в землю...

“Что же остается после смерти?” — спросил он когда-то у Жихарева. Тот засмеялся: “Остается то, что остается...”

Как давно это было. Словно и не с ним. С другим, совсем другим человеком. И вот нет ни Жихарева, ни брата... Пройдет сколько-то лет, может быть дней или даже часов — не будет и его. Что же останется? Память? Но в ком? Отец, Тлепов, Тана... тот же Алексеенко — все умрут. Каждого пожрет ничто. Но раз так — для чего все? Значит, смысла нет.

Он бросал раздумья на полпути. Потому что дальше — это смутно понимал — двигаться было некуда. Шагни — и под обрыв... Раньше Жалел и не подозревал, что одна и та же боль может возвращаться снова и снова. Почти без изменений. Только все сильнее и сильнее. Пока вдруг не наступало безразличие и вместе с ним что-то смутно брезжило впереди, слабенько озарялось на миг, мелькало перед ним словно зарница. Это казалось необъяснимым. Но какое-то ощущение сокровенного смысла оставалось. Он отмечал про себя, что выпавший поутру снег поразительной, редкой белизны. Что дома вдоль улиц заиндевели, а степь, уходящая от поселка во все стороны, особенно плавная, мягкая. И небо сегодня удивительное: серовато-бледное, почти жемчужное и очень близкое. Сверху лился такой спокойный, рассеянный вечерний свет, что от него как бы расплывались, смазывались и люди, и машины, и дорога, и сугробы.

Ничто, оказывается, не утрачивалось — все возвращалось к нему. И та голубоватая верблюжья колючка — он глядел на нее как на диковинку, прилетев из Алма-Аты. И мир света, чистого песка, белого камня, открывшийся перед ним по дороге в Узек. И красноватый холм, на вершине которого живет каменный всадник, мчащийся на врага с копьём наперевес. И тот вечер, когда впервые поцеловал Тану... И вот сейчас... Встретил по дороге Тюнина —

он вел дочку из детсада. И пока они стояли, девочка нетерпеливо переступала крохотными ножками, обутыми в валеночки. Когда они расстались, в снегу светилась маленькая, с ладонь, ямка...

Все в нем и с ним. Время — прошлое, настоящее — вовсе не было неподвижным, застывшим, как цифры на часах. На самом деле оно двигалось, дышало, билось с ним вместе, рядом и в нем. Он где-то читал, что страх смерти — это одиночество, не преодоленное человеком. Но ведь с одиночеством человек не родился, а, постепенно старея, наживает его, как болезнь. И потому одиночество, как и страх перед смертью, излечивается одним — любовью.

“Есть на свете такое, что остается навсегда”, — говорил ему брат.

Да, родина — навсегда. И любовь. И его дело... Все это живёт в нем, прорастает, прорывается, несмотря ни на что. Это неудержимо, словно весна, которая — придет срок — рано или поздно растопит вот эти снега, лежащие до самого горизонта...

Он так задумался, что не слышал, как рядом притормозила машина, как из нее выпрыгнул Тлепов.

— Жалел! Погоди...

Он поднял голову. Джандос легко шел ему навстречу в кожаном хрустящем пальто, лихо заломленной дымчатой шляпе и узких остроносых ботинках. Красно-черный шарф в крупную клетку бился на ветру.

— Вернулся? — обрадовался Жалел. — Вот хорошо! Когда прилетел?

— Да уж домой к тебе заезжал. Сказали, что ты еще с работы не возвращался. Звоню в контору — твой телефон не отвечает. Значит, думаю, бродит где-то...

Он говорил отчетливо, весело и был, как всегда, гибко-упругий, собранный будто пружина, готовая в любой момент распрямиться...

— Ну, рассказывай... Как прошла коллегия? Что решили?..

После гибели Халелбека в Узек приезжала специальная комиссия, которая расследовала аварию на шестьдесят третьей скважине.

Возглавлял комиссию Ерден Малкожин. Вскоре после ее отъезда Тлепова вызвали с отчетом в министерство. И вот он возвратился...

— А Ерден? Как вел себя? Да не тьяни, — торопил Жалел.

Короткая усмешка блеснула на губах Тлепова.

— Что Ерден... Если бы можно было...— Не досказал. Но Жалел понял, что имел в виду Джандос. Одна и та же боль грызла их.

“Если бы вернуть брата...”

Он представил на миг, что есть такое средство... Прокрутили назад время, как киноплёнку, и огненный столб, ревуший в степи, стал на глазах тончать, тончать, превращаясь в ниточку, и вот пропал. Стальной остров высится в степи. Вахта идет к вагончику, собираясь обедать, а брат еще сидит и разговаривает с ним...

Джандос сдвинул шляпу. Узкая красная полоска выделилась на выпуклом лбу. Стало заметно, как он бледен.

— Новая. Еще не обмялась,— сказал Тлепов ожесточенно.— Жмет, проклятая.

— У тебя вид... Прямо как из журнала мод.

— А что?! Знай Узек! Они думают...— Джандос неопределенно махнул рукой, затянутой в перчатку,— у нас здесь дикость... Кстати, чем закончился суд над этим стариком, отцом Таны?

— Осудили условно... Приняли во внимание возраст...— Жалел споткнулся,— другие обстоятельства. Вроде бы превысил пределы необходимой обороны. Уехали с дочерью в Шетпе...

— Бедная Тана!— вырвалось у Тлепова.— Сколько ей пришлось...

— Слушай, что же решила коллегия? — резко перебил Жалел, притоптывая каблуком зашипевший в снегу окурочок.— Не темни — выкладывай!

— В общем, выводы и наши и комиссии — подтверждены. Технология на шестьдесят третьей нарушена не была. Скважина проведена безукоризненно. Ошиблась лаборатория. Цемент не той марки... Нам с тобой и Юре Алексеенко врезали по выговору. Разрешите поздравить...

— Нашел с чем...— Жалел спрятал ладонь за спину.

— А разве не с чем? — Джандос повернулся к машине, которая стояла на обочине. Шофер, по своему обыкновению подняв капот, копался в моторе “антилопы”. — Саша! — окликнул он его. — Дай мне, пожалуйста, папку... Кажется, на переднем сиденье лежит...

Шофер принес папку. Загадочно улыбнулся:

— С вас суюнши¹. Так вроде положено по обычаю...

— За выговор-то? — Жалел пожал плечами.

— Э-э-э, не хитри... не крути, — приговаривал Тлепов, роясь в папке. — Куда же она задевалась? — Кто соль ел — воду пьет. Неужели оставил в канцелярии? Нет. Вот она! — Вытянул за уголок машинописный лист с грифом Министерства геологии республики. — Разрешите огласить?

Смысл дошел не сразу.

“Организуется нефтеразведочная экспедиция... На полуострове Бузачи... Изучить нефтеносность структур...” И дальше его фамилия.

— Ну-ка, дай взглянуть.

— Изучай, изучай.

— Так неожиданно...

— Неожиданно? — Джандос подмигнул. — Письмо министру писал?

— Да. Но Бузачи... Просто высказал свои догадки...

— Вот все и сошлось. Командуй новой экспедицией. Жалко, конечно, тебя отпускать, но... Уж очень заманчиво. Бузачи! Я бы и сам туда поехал, да Ерден на дыбы встал...

— Ерден?

— Ну конечно, он. Твою кандидатуру рьяно отстаивал. Дважды брал слово. Говорил, что ты зарекомендовал себя с наилучшей стороны как специалист и как руководитель. В общем, тебе можно доверить новую экспедицию, новый регион. А против меня так же настойчиво возражал... Правда, оговорился. Если, мол, Бестибаев найдет на Бузачи нефть, то тогда Тлепова пошлем ее добывать...

¹ Подарок за добрую весть.

— А что министр?

— Ставил тебя в пример другим: все скважины, пробуренные в Узеке, дали нефть или газ. Говорил, что вот так — принципиально, заинтересованно, вдумчиво — надо относиться к порученному делу... В общем, ты в министерстве на коне. Советую ковать железо, пока горячо. Поезжай в Алма-Ату — с ходу выбьешь и средства, и материалы, и технику. И кроме того, — Джандос криво ухмыльнулся, — Ерден поможет. Пока не ушел...

— Он уходит? Вот это новость! А куда?

— На научную работу. Собирается защитить докторскую по Узеку. Между прочим, просил передать тебе: ему нужны кое-какие материалы... Так что ты задействован в его работе...

Жалел даже присвистнул:

— Пока мы здесь надсаживались, он на нашем горбу...

— А ты как думал? Ерден своего не упустит.

— Слушай, давно хотел тебе сказать. — Жалел как в ледяную воду кинулся. — Было у меня одно неприятное дело. Вроде как прокололся. Ерден предложил мне твое место... Ну не так чтобы прямо. А намекнул... Я сразу не сообразил, вернее...

— Не продолжай. Знаю! Просто ждал: скажешь ты или нет? — Набрякшее усталостью лицо Джандоса разгладилось, повеселело.

Они помолчали. Словно исполнили долг. Жалел помялся, но уж больно подходящий момент был, чтобы узнать. И он негромко спросил:

— Одно для меня непонятно. Почему Ерден так упорно выступает против тебя? Причем не открыто, а как бы втихаря копает...

Джандос скользнул глазами, выругался. Никогда Жалел не слышал от него грубостей, а тут...

— Наши отношения — длинная история, — начал он резко, без предисловий. — Учились вместе. Футбол гоняли. В политбоях участвовали. Влюбились в одну девушку... Потом война. Пока воевал — жена к нему ушла. Ее не виню. Да и его тоже. Жизнь есть жизнь. Я считался пропавшим без вести, а ей жить хотелось. В войну бабам тоже было несладко. Может, даже тяжелее, чем нам, на фронте...

Он как бы оправдывал ту, вовсе незнакомую Жалелу женщину. Как бы еще раз пытался доказать — ему? себе? — нет ее вины в том, что не дождалась.

— В общем, обычная история... Потом нас снова судьба свела. Работали в одном институте. Не поладили... Знаешь, как в романах? Конфликт хорошего с еще лучшим...

— Да, Ерден говорил, что ты хотел приблизить науку к производству. А он будто бы не спешил. Хотел, чтобы институт больше занимался чистой наукой. Но все-таки, отчего же такая неприязнь? Скорее ты должен был...

— Сначала тоже не понимал, — невесело ухмыльнулся Джандос. — Пока Малкожин сам не раскрылся. Он всех одной меркой меряет. И себя, и меня, и тебя... Дескать, одним миром мазаны: свое благополучие дороже чести и совести.

Тлепову явно был неприятен этот разговор, но он почему-то не уклонялся от него, не обрывал. Может, потому, что хотел выговориться, отвести душу. Он был все так же собран, четок. Даже галстук поправил, словно перед докладом. Только лицо его побелело еще больше...

— В общем, за долгие годы столько всего накрутилось, что вспоминать не хочется. Но главное — это я уж потом скумекал — он ждал от меня... Ну, не подлости, а как бы потоньше, по-малкожински... Ну, положим, подножки или подвоха... Началось же вот с чего. После войны хоронили однополчанина. Ерден, соответственно, тоже был. Он, что касается своих заслуг, очень любит подчеркнуть: воевал, был ранен... Помнится, и речь тогда сказал. О боевом братстве... О том, что война до сих пор бьет и бьет... Как надо изложил. На поминках я разговорился с отцом товарища, которого схоронили. Тот меня спрашивает: “Верно ли, сынок, что ты работаешь под началом Малкожина? Да-да, того самого, что так красиво говорил на кладбище...” Я кивнул: “Что тут такого?” А он снова спрашивает: “Не прижимает он тебя?” — “В каком смысле?” — “Ну по работе или...” Не стал скрывать: “Есть маленько. Чего не случается?! А почему вас это интересует?” — “Гнилой он человек... Сын мне рассказывал об одном случае. Был

бой. После боя вручали награды. Назвали и Малкожина. А сын видел, как в бою Малкожин струсил: лег в воронку и лежал, пока все не кончилось. Ни разу даже не выстрелил... Сын предупредил его: возьми награду — тут же все расскажу. Ерден сообразил: дело нешуточное. Трибуналом пахнет. Тем более что парень этот был боевой офицер, и все его уважали за прямоту и искренность. Ерден вышел и отказался от ордена...”

— Он мне рассказывал об этом,— вырвалось у Жалела.— Только немного по-другому...

— Что он сам решил? Дескать, недостойн награды? И потому отказался?

— Да.

— Это я тоже слышал от него... И поверил, думал, что старик напутал. Но потом, наблюдая за Ерденом, понял: прав был аксакал. Так, наверное, все и было, как рассказывал ему сын... Остальное понятно: Малкожин догадывался, что мне известно о его военных “подвигах”, и старался потопить, скомпрометировать. На тот случай, если я вдруг захочу публично раздеть его. Элементарный ход.

— И вы никому об этом не говорили? Молчали все эти годы? Но почему? Таких, как Малкожин, надо разоблачать...

— Сначала, как я говорил, не поверил, что Ерден струсил. А потом... Потом получилось бы так, что свожу с ним личные счета. Как бы действую оружием Ердена. Вот ведь как повернулось... Да и его жена...

Джандос снял перчатку, провел ладонью по лицу, словно умываясь.

— Да хватит о нем... Лучше давай прикинем, с чего тебе начинать в Бузачах. Кого из буровиков ты хочешь прихватить туда? Выбирай, пока я добрый...

Они поговорили еще немного и расстались. Жалел уже подошел к дому, в котором они жили все вместе: Жансулу с детьми, мать, отец и он,— взялся за калитку, и тут как осенило: “Так вот почему брат ни словом не обмолвился о том, что случилось с Танной?! Он, как и Джандос, считал: нож свою рукоятку не режет... И по-другому не мог”.

Слабея, он опустился на скамейку.

Он же прямо сказал: “Хотел как лучше...” А лучше — значит по-человечески. И в этом высшая правда, а вовсе не в том, чтобы разоблачать, громить или сочувствовать, утешать...

Вспомнилась Тана. Ее тяжелые волосы лежали у него на руке. Громадные глаза светились счастьем.

“Мне кажется, что я все придумываю,— она приникла к нему.— Люди живут вовсе не сердцем, а разумом... Стало быть, расчетом. Разве только поэты говорят искренне. О себе. О всех нас...”

Он слушал ее, наслаждаясь солнцем, радостью, чистотой. Ее тонкая ладонь легла ему на глаза, просвечивая живым дрожащим светом...

Что же он сделал? Как мог оставить ее после всего?..

Он сидел на скамейке оглушенный. Надо было что-то предпринять. Куда-то немедленно мчаться.

Та уверенность, что все еще в его жизни будет: чудесные открытия, долгое счастье, верная любовь,— снова, как тогда, на вершине холма, с которого однажды утром увидел идущую по дороге Тану,— возвращалась к нему. Счастье казалось так близко. Не хватало немного. Какой-то малости...

Каждый год в Узек, в один и тот же зимний день, приезжают двое: мужчина и женщина. Они чем-то неуловимо похожи. Горячими темными глазами? Порывистостью движений? Изяществом? Трудно сказать... Но так нередко бывает с людьми, живущими вместе долго и счастливо.

Прямо из аэропорта или с вокзала — в Узек уже давно пришла железная дорога — они едут в одно и то же место. Туда, где под острым углом сходятся центральные улицы молодого города — Ленина, Нефтяников и Первопроходцев,— в сквере стоит небольшой памятник. Бронзовый человек в свитере и наброшенной на плечи куртке размашисто шагает по низкому, почти сливающимся с землей гранитному постаменту.

Приезжие — а это Жалел и Тана — кладут цветы рядом с надписью, выбитой на каменной плите: “Халелбек Бестибаев. 1911 — 1961”.

Потом Жалел и Тана идут по городу, в котором когда-то давно — он еще и городом не был — они жили. Сопровождает их обычно Александр Лукич Новиков — главный механик одной из узбекских автобаз, человек в городе известный и уважаемый. Жалел и Тана называют его по старой памяти Сашей и частенько вспоминают Джандоса Тлепова, который, как явствует из их разговоров, вышел на пенсию и вернулся на свою родину — шелковистые берега Жайыка.

Новиков, судя по всему, мог бы, наверное, немало рассказать как о своих спутниках, так и о судьбе тех, кто закладывал новый город. Александр Лукич человек словоохотливый, доброжелательный и, кроме того, считается в Узеке первым местным краеведом, скрупулезно собирающим все, что касается истории этих мест, еще недавно пустынных. Но рассказ Новикова, согласитесь, это уже другие страницы, другие герои.

Содержание

ГЛАВА ПЕРВАЯ	3
ГЛАВА ВТОРАЯ	16
ГЛАВА ТРЕТЬЯ	57
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.....	87
ГЛАВА ПЯТАЯ	116
ГЛАВА ШЕСТАЯ	154
ГЛАВА СЕДЬМАЯ	177
ГЛАВА ВОСЬМАЯ	207
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.....	226
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ	258
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ	274
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ	304

Есенберлин И.

Черное золото

роман

Перевод С. Смородкина

Редактор: Захаров В.Б.

Технический редактор: Трецков Е.П.

Дизайн и верстка: Баянбаев Р.М., Захаров В.Б.

Корректоры: Жусупова Б.Ж. Кибеева А.Н.

ИД «Кочевники»

Тел.: 62-85-42, 69-45-19, факс: 50-61-97,

моб. 8-333-216 69 98, 8-333-217 42 47.

E-mail: kochevniki@mail.kz

Сдано в набор 10.04.2002 г. Подписано в печать 14.05.2002 г.

Формат 70x100¹/₁₆. Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman». Объем 20,5

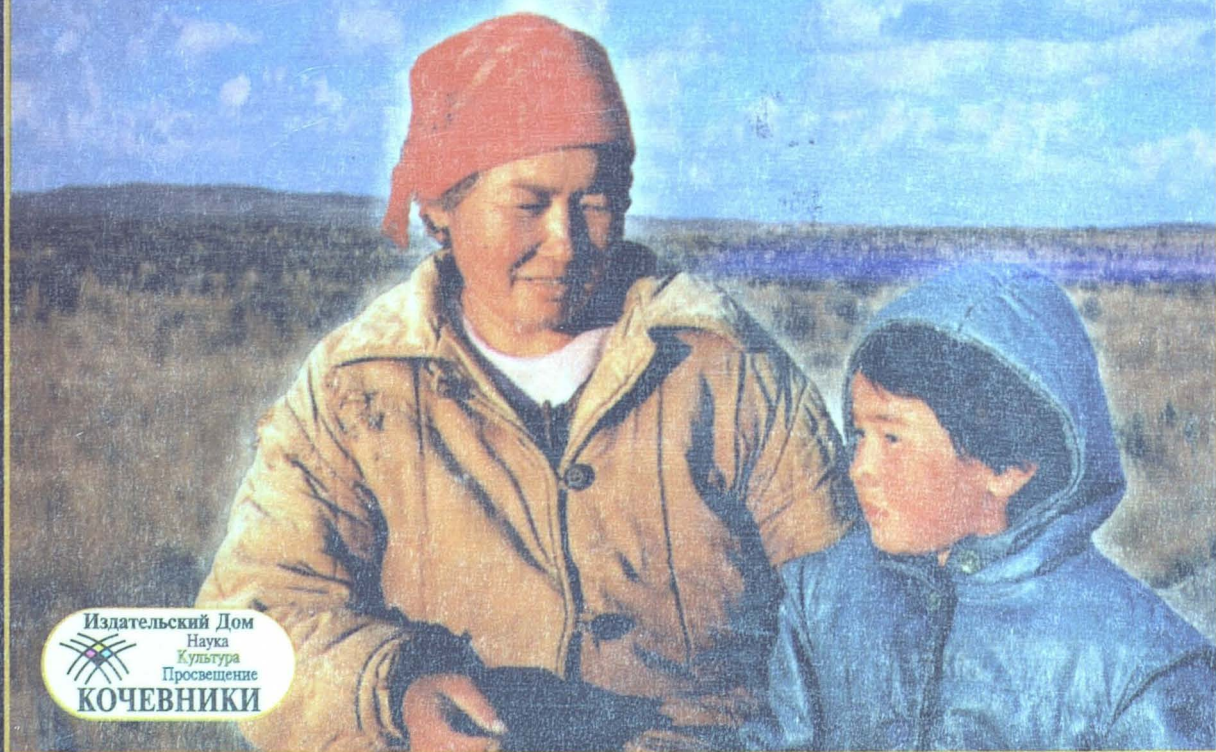
Тираж 10000. Заказ № 379

ТОО «Типография оперативной печати». 480016, г. Алматы, ул. Д. Кунаева, 15/1.

560-00

**На Мангышлаке нашли нефть!
Значит в стране будут города,
дороги, трубопроводы.
Значит, казахи в каменных домах
жить будут...**

**“Мангыстауский фронт”
Ильяс Есенберлин**



Издательский Дом
Наука
Культура
Просвещение
КОЧЕВНИКИ